

От автора романа-бестселлера «Остров»

# Виктория Хислоп

Трогательный рассказ о том, что значит семья  
в трагическое время перемен.

*Booklist*

# Мать



**Виктория Хислоп**

**Нить**

Victoria Hislop  
THE THREAD  
Copyright © 2011 by Victoria Hislop  
All rights reserved

© О. Полей, перевод, 2015

© Ю. Каташинская, карты, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа  
„Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-  
Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

*Томасу Вогиатзису, моему другу и учителю*

*Хочу выразить благодарность:  
Яну, Эмили и Уиллу Хислон;  
моей тете Маргарет Томас (1923–2011) за ее  
огромную любовь и поддержку;  
Дэвиду Миллеру,  
Флоре Риз,  
Константиносу Пападопулосу,  
Эврипидису Константиnidису,  
Миносy Матсасу за вдохновляющую музыку  
и за разрешение процитировать его «То Minore tis  
Avgis»;  
исполнителям и команде «Острова» за все,  
чему они научили меня;  
фотоархиву Музея Бенаки в Афинах;  
Греческому центру в Лондоне;  
Лондонской библиотеке за создание спокойной  
обстановки, в которой я писала эту книгу, и всем  
моим молчаливым соседям там.*

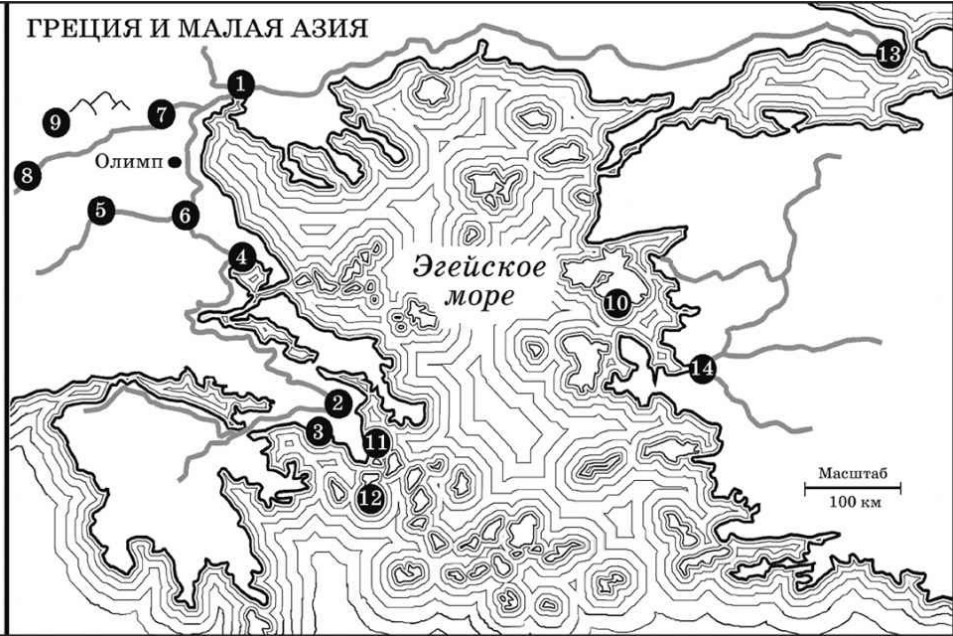
Это история о Салониках, втором после столицы греческом городе. В 1917 году его население составляли в равных пропорциях христиане, мусульмане и иудеи. Через тридцать лет остались одни христиане.

«Нить любви» – это история о двух людях, переживших самый беспокойный период в истории города, когда он был разрушен и изуродован почти до неузнаваемости целой чередой политических и гуманитарных катастроф.

Все персонажи, а также многие улицы и адреса, где они обитают, – исключительно вымышленные, однако все исторические события происходили в реальности. Последствия их Греция переживает до сих пор.

ГРЕЦИЯ И МАЛАЯ АЗИЯ

1. Салоники
2. Афины
3. Пирей
4. Волос
5. Трикала
6. Лариса
7. Верия
8. Янина
9. горы Граммос
10. Митилини
11. Макронисос
12. Йиарос
13. Константинополь  
(Стамбул)
14. Смирна (Измир)



## САЛОНИКИ



1. Улица Ирины
2. Улица Филиппу
3. Улица Сократус
4. Торговый зал Комниноса
5. Синагога
6. Дом Комниноса
7. Склад Комниноса

– Вот о чем я тебя попрошу, милая моя: представь, что ты вернулась в детство. Надеюсь, это будет нетрудно, тут главное – правильно уловить стиль. Вышей мне такую картинку, чтобы при взгляде на нее сразу приходило на ум слово «утро» – ну, знаешь, что-нибудь в таком роде – восходящее солнце и птицу, или, там, бабочку, или еще что-нибудь крылатое на фоне неба. А потом еще одну – «ночь».

– С луной и звездами?

– Да! Вот именно. Только не так, будто их какая-нибудь криворукая девочка вышивала, – добавила она с улыбкой. – Мне же их как-никак на стены вешать!

Катерине уже случалось делать почти такие же картинку много лет назад, когда мама учила ее вышиванию, и это время сразу же вспомнилось с необычайной живостью.

Ее «утро» было вышито крупными петельными стежками, блестящей желтой ниткой, а «ночь» стала темно-синей, как ночное небо. Катерину радовала эта простая работа, и она с улыбкой глядела на то, что получилось. Никто ничего не заподозрит – такое можно увидеть на стене в любом греческом доме. Даже если выдерут ткань из рамы – драгоценные страницы будут скрыты за ситцевой подкладкой. Многие так делают, чтобы прикрыть путаницу ниток с изнаночной стороны.

В этом маленьком домике собралась целая дюжина людей, однако в нем царил необычайная тишина. Все были предельно сосредоточены, тайная работа не терпела отлагательства. Они спасали свое сокровище, то, что связывало их с собственным прошлым.

# Пролог

*Май 2007 года*

Было половина восьмого утра. Только в этот час в городе бывало так тихо и спокойно. Над бухтой висел серебристый туман, а под ним вода, темная, как ртуть, неслышно накатывала на мол. Небо было совсем бесцветное, воздух крепко просолен. Для кого-то еще тянулась ночь, а для кого-то уже начался новый день. Обтрепанные студенты допивали последний кофе с сигаретой рядом с аккуратно одетыми пожилыми парами, вышедшими на привычный утренний променад.

По мере того как поднимался туман, Олимп все яснее проступал вдаль, за заливом Термаикос, и безмятежная синева моря и неба сбрасывала с себя белесый саван. Бездействующие танкеры стояли недалеко от берега, словно греющиеся на солнце акулы, их темные силуэты четко вырисовывались на фоне неба. Пара небольших суденышек уходила к горизонту.

На мраморной набережной, идущей вдоль всей гигантской дуги залива, никогда не иссякал поток дам с комнатными собачками, молодых людей с дворняжками, бегунов трусцой, роллеров, велосипедистов и молодых мам с колясками. Между морем, эспланадой и выстроившимися в ряд кафе черепашьям шагом тащились автомобили, направляющиеся в город, и водители, невидимые за тонированными стеклами, беззвучно напевали слова последних хитов.

Неспешным, но твердым, легким шагом после долгой ночи с танцами и выпивкой у самой кромки воды шел тоненький юноша с шелковистыми волосами, в шикарно потрепанных джинсах. Его загорелое лицо заросло двухдневной щетиной, но шоколадного цвета глаза были ясными, мальчишескими. У него была расслабленная походка человека, довольного собой и миром, и он тихонько мурлыкал что-то себе под нос.

На другой стороне улицы, по узенькой полоске между маленьким столиком и бордюром, медленно двигалась пожилая пара, направляясь к своему излюбленному кафе. Мужчина ступал осторожно, тяжело опираясь на палку. Лет им было, вероятно, уже за девяносто, ростом оба не выше пяти футов четырех дюймов, одеты аккуратно: он в тщательно отглаженной рубашке с коротким рукавом и светлых брюках, она – в простом ситцевом платье в цветочек, на пуговицах, с пояском на талии –



такой фасон был в моде, пожалуй, лет пятьдесят назад.

Все стулья в кафе, выстроившиеся вдоль пешеходной части на улице Ники, стояли лицом к морю, чтобы посетители могли любоваться постоянно сменяющимися картинами – людьми, автомобилями и кораблями, бесшумно скользящими то к верфи, то от нее.

Владелец кафе «Ассос» радушно встретил Димитрия и Катерину Комнинос, и они обменялись парой слов по поводу объявленной всеобщей забастовки. Поскольку у огромного процента рабочего населения сегодня фактически выходной, в кафе будет больше посетителей, так что владельцу не на что было пожаловаться. К акциям протеста здесь все уже привыкли.

Делать заказ не было нужды. Кофе они всегда брали один и тот же и потягивали подслащенный непрозрачный напиток с треугольными катаифи – сладкими булочками.

Старик погрузился в свою ежедневную газету, но тут жена торопливо похлопала его по руке:

– Гляди, гляди, любовь моя! Это же Димитрий!

– Да где же, милая?

– Митсос! Митсос! – закричала старушка.

Этим уменьшительным именем она называла обоих: и мужа, и внука. Но юноша не слышал ее за гудками и ревущими моторами нетерпеливых автомобилей, рванувшихся на зеленый свет.

Тут Митсос поднял взгляд, вынырнув из задумчивости, и заметил, как бабушка отчаянно машет ему рукой с другой стороны улицы. Он проскочил между движущимися машинами и подбежал к ней.

– Бабушка! – воскликнул юноша, обнимая бабушку, а потом взял ее за руку и поцеловал в лоб. – Как поживаешь? Какой приятный сюрприз... А я как раз собирался к вам сегодня зайти!

Лицо старушки расплылось в широкой улыбке. Они с мужем души не чаяли в единственном внуке, и он просто купался в их любви.

– Давай и тебе что-нибудь закажем! – оживленно проговорила бабушка.

– Нет, не надо, правда. Я сыт. Мне ничего не нужно.

– Ну хоть что-нибудь – кофе, мороженое...

– Катерина, мороженого-то он уж точно не хочет!

Снова появился официант.

– Мне только стакан воды, пожалуйста.

– И все? Ты уверен? – суетилась бабушка. – А позавтракать?

Официант уже отошел. Старик наклонился и тронул внука за руку.

– Что, сегодня лекций, наверное, опять не будет? – спросил он.

– Нет, к сожалению, – ответил Митсос. – Я уже привык.

Молодой человек этот год учился в Университете Салоников, готовился получать диплом магистра гуманитарных наук, но сегодня преподаватели бастовали, так же как и все остальные государственные служащие в стране, и у Митсоса получился вроде как выходной. Теперь, после долгой ночи в барах на Проксену Коромила, он направлялся домой, спать.

Митсос вырос в Лондоне, но каждое лето приезжал к родителям отца в Грецию и каждую субботу с пятилетнего возраста посещал греческую школу. Учебный год в университете уже подходил к концу, и хотя немало лекций пришлось пропустить из-за забастовок, юноша уже совершенно свободно овладел, как он сам говорил, «наполовину родным» языком.

Несмотря на все настойчивые приглашения бабушки с дедушкой, Митсос поселился в студенческом общежитии, однако в выходные регулярно приходил в их дом у самого моря, где на него изливали почти чрезмерные потоки горячей любви и нежности – неизменный долг греческих бабушек и дедушек.

– В этом году акций протеста больше, чем когда-либо, – сказал дедушка. – Но что же делать, Митсос, приходится терпеть. И надеяться, что все уладится.

Мусорщики тоже бастовали вместе с учителями и врачами, и городской транспорт, как обычно, тоже стоял. Ямы на дорогах и трещины на тротуарах уже много месяцев не заделывали. Жизнь и в лучшие времена не баловала стариков, и Митсос, глядя на бабушкину руку, покрытую шрамами, и на дедушкины скрюченные артритом пальцы, вдруг увидел, какие они оба хрупкие и слабые.

Тут его внимание привлек человек, который приближался к ним по тротуару, постукивая перед собой белой тростью. Его путь представлял собой настоящую полосу препятствий: машины, в нарушение правил припаркованные на тротуаре, неровные края дороги, разбросанные тут и там столбы и столики кафе, – и все это нужно было обходить. Митсос вскочил, увидев, что молодой человек остановился в нерешительности, растерявшись перед рекламным щитом кафе, торчавшим в самом центре тротуара.

– Позвольте, я помогу. Куда вам нужно?

Он взглянул в лицо незнакомца, юное, даже моложе, чем у него самого, с почти прозрачными невидящими глазами. Кожа у юноши была бледная, а через один глаз шел зигзагообразный, неумело зашитый шрам.

Слепой улыбнулся Митсосу:

– Ничего страшного. Я здесь каждый день хожу. Но каждый день что-нибудь да меняется...

Машины проносились мимо по короткому отрезку дороги к следующему светофору, и слова Митсоса почти тонули в их шуме.

– Ну позвольте, я хоть через дорогу вас переведу.

Он взял слепого под руку, и они вместе перешли на другую сторону, хотя Митсос чувствовал, как уверенно и решительно тот держится, и почти стеснялся, что вызвался помочь.

Они ступили на тротуар на противоположной стороне улицы, и Митсос выпустил руку молодого человека. Теперь тот словно смотрел ему прямо в глаза.

– Спасибо.

Митсос увидел, что на этой стороне дороги слепого подстерегает новая опасность. Совсем рядом был обрыв прямо в море.

– Вы ведь знаете, что тут уже море?

– Конечно знаю. Я здесь гуляю каждый день.

Прохожие, кажется, были погружены в собственные миры или поглощены музыкой, гремющей для них одних, и просто не видели, что с этим человеком что-то не так. Несколько раз его белую палку замечали лишь за долю секунды до столкновения.

– Может быть, безопаснее было бы гулять где-нибудь еще, где народу поменьше? – спросил Митсос.

– Безопаснее-то безопаснее, но там же не будет вот этого всего... – ответил молодой человек. Он махнул рукой, указывая в сторону моря и изогнутой бухты, протянувшейся перед ними довольно правильным полукругом, а затем показал прямо перед собой, на горы в снежных шапках, высившиеся в ста километрах от них, на той стороне. – Олимп. Море – все время разное. Танкеры. Рыболовецкие суда. Уверен, вы думаете, что я все равно ничего этого не вижу, но ведь когда-то видел. Я знаю, что это все есть, и до сих пор все вижу в воображении, и всегда буду видеть. И, кроме того, на что вы смотрите, есть ведь и кое-что еще, не правда ли? Вот закройте глаза.

Молодой человек взял Митсоса за руку. Митсос удивился, какие у него гладкие, прохладные, будто мрамор, тонкие пальцы, и порадовался этому ободряющему прикосновению, напоминанию, что он не один. Он понял, каково было бы стоять здесь в темноте, одинокому и беззащитному на людной набережной.

И в то же мгновение, когда его мир погрузился в черноту, Митсос ощутил, как обострились все чувства. Громкие звуки превратились в настоящий рев, а от солнца, припекающего голову, стало так горячо, что он едва не потерял сознание.

– Пойдите так, – предложил слепой, и Митсос почувствовал, как его рука на миг разжалась. – Еще хоть несколько минут.

– Конечно, – ответил Митсос, – это поразительно, как остро все ощущается. Я как раз пытаюсь к этому привыкнуть. В этой толпе чувствуешь себя таким незащищенным.

По тону ответа Митсос догадался, что молодой человек улыбается.

– Еще чуть-чуть. Тогда вы почувствуете еще много чего...

Он был прав.

Крепкий запах моря, влажность воздуха на коже, ритмичные удары волн о мол – все ощущалось сильнее.

– И вы же понимаете, что каждый день здесь все другое? Каждый... новый... день. Летом воздух такой неподвижный, а вода такая гладкая, как масло, и я знаю, что горы скрываются в тумане. От этих вот камней поднимается жар, и я его чувствую сквозь подошвы ботинок.

Они оба стояли лицом к морю. Это утро нельзя было назвать типичным для Салоников. Как и сказал молодой человек, ни один день тут не был похож на другой, но одно оставалось неизменным в широкой панораме, открывавшейся перед ними: в ней ощущались одновременно и история, и вечность.

– Я чувствую людей вокруг. Не только тех, кто сейчас рядом, как вы, но и других. У этого города богатейшее прошлое, он битком набит жителями, и они так же реальны, как и вы. Я вижу их не менее и не более ясно. Вы меня понимаете?

– Да, понимаю. Конечно понимаю.

Митсосу не хотелось уходить, не хотелось поворачиваться к молодому человеку спиной, пусть он этого и не увидит. Проведя с ним пару минут, он ощутил, как ожили в нем все чувства. На лекциях по философии он усвоил, что видимое не обязательно более реально, чем невидимое, однако на собственном опыте прочувствовал впервые.

– Меня зовут Павлос, – представился слепой.

– А меня Димитрий... или Митсос.

– Как же я люблю этот город, – сказал Павлос. – Наверное, есть места, где слепому жилось бы легче, но я бы никуда отсюда не уехал.

– Нет, я вижу... то есть понимаю, что вы имеете в виду. Это очень краси... то есть удивительный город. – Митсос поспешно поправлялся, злясь на себя за невольную бестактность. – Знаете... мне пора вернуться к бабушке с дедушкой, но было очень приятно с вами познакомиться.

– Мне тоже очень приятно. И спасибо, что помогли перейти через дорогу.

Павлос повернулся и пошел дальше, быстро постукивая перед собой гибкой белой тросточкой. Митсос еще немного постоял, глядя ему вслеп. Он был практически уверен, что Павлос чувствует спиной тепло его взгляда. Во всяком случае, надеялся на это и подавлял желание броситься за ним, пройти вместе по берегу и продолжить разговор. Может быть, в следующий раз...

«Как же я люблю этот город», – словно эхом звучало вокруг.

Митсос вернулся за столик, явно под впечатлением от этой встречи.

– Ты молодец, что помог ему, – сказал дедушка. – Мы его часто здесь видим, когда ходим гулять. Несколько раз его чуть не сбили – люди и не смотрят даже.

– Все в порядке, Митсос? – спросила бабушка. – Ты что-то все молчишь.

– Все нормально. Я просто думал о том, что он сказал... – отозвался Митсос. – Он так любит этот город, хотя ему здесь, должно быть, очень нелегко приходится.

– Это мы можем понять, правда, Катерина? – ответил дедушка. – Выбоины на тротуарах и для нас не подарок, и никто, по-моему, не собирается ничего с этим делать, несмотря на все предвыборные обещания.

– Так почему вы не уедете? – спросил Митсос. – Вы же знаете, мама с папой очень хотели бы, чтобы вы переехали в Лондон. Там бы вам гораздо легче жилось.

Стариков то и дело звали к себе и сын, живший в зеленом Хайгейте, и дочь, которая жила в Штатах, в фешенебельном пригороде Бостона, но что-то мешало им выбрать более комфортную жизнь. Митсос часто слышал, как родители обсуждали это между собой.

Катерина бросила быстрый взгляд на мужа:

– Даже если бы нам дали столько бриллиантов, сколько капель в океане, ничто не заставило бы нас уехать! – Она наклонилась ближе к внуку и твердо взяла его за руку. – Мы останемся в Салониках до самой смерти!

То, с какой страстностью были сказаны эти слова, совершенно поразило юношу. На миг бабушкины глаза заблестели, а затем наполнились слезами, но не теми старческими слезами, что часто наворачиваются на глаза без видимой причины. По ее щекам катились слезы гнева.

Некоторое время они сидели молча, а Митсос так просто замер, чувствуя только, как крепко сжато его запястье. Он лишь взглянул бабушке

в глаза, надеясь услышать какое-то объяснение. Никогда бы не подумал, что она способна на подобную вспышку, всегда видел в ней только добрую старушку с мягким характером. Как и большинство гречанок ее возраста, бабушка обычно предоставляла первое слово мужу.

Наконец дедушка нарушил молчание:

– Мы сами предложили нашим детям поехать учиться за границу. В то время это было разумным решением, но мы-то думали, что они вернутся. А они остались там навсегда.

– Я не представлял... – начал Митсос, сжимая бабушкину руку, – не представлял себе, что это значит для вас. Папа только однажды говорил о том, почему вы отправили его с тетей Ольгой за границу, но в подробности не вдавался. Это как-то связано с гражданской войной?

– Да, отчасти, – ответил дедушка. – Пожалуй, пора рассказать больше. Если интересно, само собой...

– Конечно интересно! – воскликнул Митсос. – Всю жизнь я почти ничего не знал о прошлом отца, и никто мне не рассказывал. Теперь-то я уже, наверное, достаточно взрослый для этого?

Бабушка с дедушкой переглянулись.

– Как думаешь, Катерина? – спросил дедушка.

– Думаю, он мог бы помочь нам донести овощи до дома, чтобы я могла приготовить на обед его любимую гемисту, – с улыбкой отозвалась бабушка. – Что скажешь, Митсос?

Они свернули на улицу, уходившую вверх от моря, и, срезав путь, по каким-то старинным узким улочкам вышли к рынку Капани.

– Осторожно, бабушка, – предостерег Митсос, когда они оказались у прилавков, где брусчатка была усыпана кусками гнилых фруктов и раскатившимися овощами.

Они купили блестящие темно-красные перцы, рубиновые помидоры, круглые, как теннисные мячики, твердые белые луковицы и лиловые баклажаны. Поверх всего этого в сумку с продуктами продавец положил пучок кориандра, и его аромат, казалось, заполнил всю улицу. Продукты выглядели вполне аппетитно, и их можно было бы съесть прямо сырыми, но Митсос знал, что в бабушкиных руках они превратятся в сочные острые фаршированные овощи – это было его любимое блюдо всю жизнь, с тех самых пор, как он стал помнить свои приезды в Грецию. В животе у него заурчало.

В той части рынка, где торговали мясом, пол был скользким от крови, капавшей с распластанных туш. Знакомый мясник встретил их как родных, и Катерина вскоре получила одну из бараньих голов, смотревших на них

из ведра.

– А это тебе зачем, яйя?

– На бульон, – ответила бабушка. – И килограмм рубца, пожалуйста.

Значит, потом приготовит пацас. Она умела накормить семью всего на несколько евро, поэтому ничего не покупала зря.

– Верное средство от похмелья, Митсос! – Дедушка подмигнул внуку. – Видишь, как бабушка о твоём благе печется!

Десять минут пешком по обшарпанным улочкам старых Салоников – и они оказались у дома, где жили бабушка с дедушкой. У самого входа остановились поздороваться с лучшим другом Димитрия – его кумбарос <sup>□</sup> сидел в ларьке на углу. Старики знали друг друга уже больше семидесяти лет, и ни дня у них не проходило без горячих обсуждений последних новостей. Лефтерис, проводивший дни в киоске, среди газет, разбирался в городской политике, как никто другой в Салониках.

Многоквартирный дом представлял собой невзрачное четырехэтажное здание, построенное в 1950-е. Общий коридор выглядел повеселее: желтые стены, ряд из четырнадцати запертых почтовых ящиков – по одному на каждую квартиру. Светлый каменный пол, рябой, как яйцо куропатки, недавно вымыли с каким-то едко пахнущим дезинфицирующим средством, и Митсос задержал дыхание, пока они медленно поднимались по лестнице, ведущей к бабушкиной и дедушкиной двери.

Площадка была довольно ярко освещена, тогда как в квартире царил полумрак. Когда старики уходили из дому, жалюзи всегда оставались опущенными, но, возвращаясь, Катерина поднимала их и впускала в комнаты свежий воздух. Сквозь тюлевые занавески света проникало немного. В доме всегда стоял полумрак, но Катерине и Димитрию так нравилось. От прямых солнечных лучей выцветают ткани и портится деревянная мебель, так что они предпочитали жить при слабом свете, проходившем сквозь тюль, или при свете лампочек низкого напряжения – лишь бы видеть, куда идешь.

Митсос сложил покупки на кухонный стол, бабушка быстро распаковала продукты и принялась крошить и резать. Внук наблюдал за ней, зачарованный тем, какие у нее выходят аккуратные кубики лука и ровные ломтики баклажанов. Катерина проделывала эту работу уже десятки тысяч раз, и теперь это выходило у нее с точностью автомата. Ни кусочка лука не соскользнуло с доски на стол, на клеенку с цветочным узором. Все, до последнего атома, без каких бы то ни было отходов, отправилось на сковороду, над которой поднялся пар, когда овощи зашипели в масле. На кухне Катерина управлялась с такой ловкостью,

словно была вдвое моложе, и двигалась легко и проворно, будто в танце. Она, казалось, летала над полом, от старого-престарого холодильника, который без конца трясся и гремел, к электрической плите – ее дверца прилегала неплотно, и приходилось хлопать изо всех сил, чтобы она закрылась.

Митсос засмотрелся на бабушку, а когда поднял голову, то увидел, что дедушка стоит в дверях.

– Скоро будет готово, милая? – спросил он.

– Еще пять минут, и поставлю жарить, – ответила Катерина. – Мальчику же надо поесть!

– Надо, конечно. Идем, Митсос, не будем мешать бабушке.

Молодой человек прошел за дедом в тускло освещенную гостиную и сел напротив него в обитое тканью кресло с деревянными подлокотниками. На спинке каждого кресла лежала вышитая накидка, и на всей мебели белые вязаные салфетки. Перед электрическим камином стоял небольшой экран, а на нем тонкой работы аппликация – ваза с цветами. Всю жизнь Митсос видел бабушку за шитьем и знал, что все это сделано ее искусными руками. Единственным звуком в комнате было ритмичное тиканье часов.

На полке за спиной у дедушки выстроились в ряд фотографии в рамках. Почти на всех были изображены или сам Митсос, или его американские кузены, но находилось тут и свадебное фото – его родители, дядя и тетя. А в одной рамке – парадный портрет бабушки с дедушкой. Трудно было даже сказать, сколько им лет на этой фотографии.

– Надо подождать бабушку, а тогда уж начнем, – сказал Димитрий.

– Да, конечно. Это ведь бабушка даже за мешок бриллиантов отсюда бы не уехала, да? От одной мысли о переезде так рассердилась. Я же не хотел ее обидеть!

– Ты и не обидел ее, – сказал дедушка. – Она просто очень сильно все переживает.

Вскоре Катерина вошла в комнату, а за ней потянулись запахи жаренных на медленном огне овощей. Она сняла фартук, села на диван и улыбнулась обоим своим Димитриям.

– Меня ждали, да?

– Ну конечно, – ласково ответил муж. – Это же и твоя история тоже.

И вот в полумраке гостиной, напомиавшем не то рассветные, не то закатные сумерки, начался рассказ.



# Глава 1

*Май 1917 года*

Сквозь бледный, легкий, словно газовая ткань, туман сверкало море. Приморский город, самый энергичный и самый космополитичный в Греции, жил своей жизнью. Это был город необычайного культурного многообразия, где христиане, мусульмане и иудеи, составлявшие почти равные доли населения, жили бок о бок и дополняли друг друга, словно переплетенные между собой нити восточного ковра. Пять лет назад Салоники перестали быть частью Османской империи и вошли в состав Греции, но так и остались территорией многообразия и толерантности.

Цвета и контрасты этой пестрой этнической смеси отражались в разнообразии нарядов на улицах: тут были мужчины в фесках, в шляпах и тюрбанах. Еврейки ходили в традиционных жакетах с меховой оторочкой, а мужчины-мусульмане – в длинных халатах. Состоятельные гречанки в прекрасно сшитых нарядах с намеком на парижскую высокую моду представляли собой разительный контраст с крестьянками в богато украшенных вышивкой передниках и в платках, носившими из ближайших деревень продукты на продажу. В верхней части города преобладали мусульмане, в приморской – евреи, греки же в основном населяли городские окраины, однако никакой сегрегации не было, и во всех районах жили вперемешку люди всех трех культур.

Поднимавшиеся на холм за огромной полукруглой аркой береговой линии, Салоники напоминали гигантский амфитеатр. На вершине холма, в самой высокой точке над уровнем моря, старинная стена обозначала границу города. Если посмотреть оттуда вниз, прежде всего в глаза бросались приметы той или иной религии. Словно булавки из игольницы торчали десятки минаретов; тут и там по всему городу, широко раскинувшемуся до самого залива, виднелись отделанные красной черепицей церковные купола и десятки светлых зданий синагог. Рядом с этими символами трех процветающих религий попадались и те, что остались с римских времен: триумфальные арки, фрагменты древних стен и редкие открытые площадки, где все еще стояли, словно часовые, древние колонны.

За последние несколько десятков лет город похорошел: кое-где протянулись широкие бульвары, так непохожие на соседствующие с ними

старинные запутанные улочки, что извивались, как змеи на голове горгоны Медузы, взбегая на крутой холм, в верхнюю часть города. Появилось несколько больших магазинов, хотя по большей части торговля по-прежнему шла в маленьких, не больше киоска, лавочках – семейных предприятиях, которых тут были тысячи, и все соперничали между собой, теснясь рядом на узких улочках. Помимо сотен традиционных кафенио, были здесь и кафе в европейском стиле, где подавали венское пиво, и клубы, где говорили о политике и философии.

Город был плотно населен. При таком количестве жителей, сосредоточенном в пространстве, окруженном стенами и водой, здесь необычайно сгущались крепкие запахи, яркие цвета и неумолчный шум. Крики торговцев льдом, торговцев молоком, торговцев фруктами, торговцев йогуртом – все они имели свой особый тон, а вместе сливались в один благозвучный аккорд.

Ни днем ни ночью не смолкала в этом городе все та же неизменная музыка. Здесь говорили на многих языках: не только на греческом, турецком, латыни и на языке евреев-сефардов; на улицах нередко можно было услышать и французский, и армянский, и болгарский. Звон трамваев, крики уличных торговцев, регулярные призывы на молитву, выкликаемые десятками муэдзинов, лязг цепей на кораблях, входящих в док, грубые голоса портовых грузчиков, выгружающих на берег продукты первой необходимости и предметы роскоши, чтобы утолить аппетиты и бедных, и богатых, – все это вместе составляло нескончаемую мелодию города.

Городские запахи бывали иной раз не такими сладкими, как звуки. От кожевенных заводов остро несло мочой; в некоторых, самых бедных, районах канализационные воды и гниющие объедки до сих пор сливали в море. А когда женщины потрошили пойманную накануне рыбу, они бросали там же еще теплые, остро пахнущие обрезки, на которые жадно набрасывались кошки.

В центре находился цветочный рынок, где аромат держался в воздухе еще много часов после того, как хозяева киосков закрывали их и уходили домой, а на длинных улицах цветущие апельсиновые деревья давали не только тень, но и испускали самый пьянящий на свете запах. У дверей многих домов буйно разрастался жасмин, и его белые лепестки устилали дорогу, будто снег. Весь день в воздухе плыли ароматы кухни, вместе с запахом жареных кофейных зерен поднимавшиеся от маленьких печурок и разносящиеся по всей улице. На рынке продавцы раскладывали разноцветные пряности – куркуму, паприку, корицу – маленькими островерхими горками, а над кальянами, которые курили возле кафе,

висели клубы сладкого дыма.

В Салониках в это время расположилось временное правительство, возглавляемое бывшим премьер-министром Элефтериосом Венизелосом. По всей стране прошел глубокий раскол (известный также как национальный раскол) между теми, кто стоял за прогерманского монарха, короля Константина I, и сторонниками либерала Венизелоса. В результате того, что последнему удалось взять под свой контроль Северную Грецию, союзные войска сейчас подошли к самому городу, готовясь выступить против Болгарии. Несмотря на эти отдаленные грозные раскаты, жизнь большинства людей мировая война никак не затронула. Кое-кому даже принесла обогащение и новые возможности.

Одним из таких людей был Константинос Комнинос, и в это великолепное майское утро он шествовал своей обычной важной походкой по мощеной верфи. Он приходил проверить, не прибыла ли партия тканей, и носильщики, нищие и мальчишки с тележками расступились перед ним, когда он направился прямо к выходу. Все знали, что Комнинос не отличается терпением, когда кто-нибудь становится у него на пути.

Туфли у Константиноса запылились, к тому же к подошве намертво прилип кусок свежего мультяго навоза, и когда Комнинос привычно остановился перед чистильщиком, одним из тех, что сидели в ряд перед зданием таможни, тому пришлось поработать минут десять, не меньше.

Этот чистильщик – ему было уже под восемьдесят, и его кожа была такой же темной и жесткой, как ботинки, на которые он наводил глянец, – чистил обувь Константиносу Комниносу уже тридцать лет. Они кивали друг другу в знак приветствия, но никогда не разговаривали. Это было в обычае Комниноса: все его повседневные дела устраивались без разговоров. Старик трудился, пока кожа не заблестела – отполировал оба дорогих ботинка одновременно, нанес крем, а под конец прошелся по ним быстрыми широкими мазками щетки, двумя руками сразу – руки эти так и летали туда-сюда, вверх-вниз, из стороны в сторону, словно он дирижировал оркестром.

Еще не закончив работу, он услышал, как звякнула монетка, упавшая в его лоток. Всегда одного достоинства – ни больше ни меньше.

Сегодня, как всегда, Комнинос был в темном костюме и, несмотря на нарастающую жару, не снимал пиджака. Такие привычки являлись знаком социального положения. Идти по делам без пиджака было так же немислимо, как снять доспехи перед битвой. Язык официального костюма, как мужского, так и женского, – это язык, понятный ему, язык, сделавший его богатым. Мужчине костюм придает статус и достоинство, а женщине

хорошо сшитая одежда в европейском стиле – элегантность и шик.

Торговец тканями краем глаза заметил свое отражение в сверкающей витрине одного из новых универсальных магазинов, и этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы напомнить ему: пора зайти к парикмахеру. Он сделал крюк, свернул в боковую улочку, идущую вверх от моря, и вскоре уже с комфортом расположился в кресле; тут же его лицо было намылено и все, не считая усов, гладко выбрито. Затем волосы были тщательно подстрижены, так, чтобы расстояние от края воротника до линии волос составляло ровно два миллиметра. Комнинос с неудовольствием заметил, что в волосах, которые парикмахер сдул с ножниц, поблескивает серебро.

Наконец, прежде чем отправиться в свой торговый зал, он присел за маленький круглый столик, и официант принес ему кофе и его любимую газету, правую «Македонию». Он просмотрел новости, ознакомился с последними политическими интригами в Греции, а потом быстро пробежал глазами статью о военных событиях во Франции. В заключение он провел пальцем по строчкам с курсами акций.

Война была выгодна для Комниноса. Он открыл большой торговый зал недалеко от порта, чтобы легче было вести новый бизнес – поставки материи для военной формы. Сейчас, когда в армию призывали десятки тысяч, это было грандиозное предприятие. Он не успевал нанимать новых людей и отдавать распоряжения. Каждый день требовалось все больше и больше.

Константинос выпил кофе одним глотком и поднялся, чтобы уйти. Каждый день он испытывал острое чувство удовлетворения, просыпаясь и начиная работу с семи утра. Сегодня его радовала мысль, что у него есть еще восемь часов в конторе перед отъездом в Константинополь. До отплытия нужно заняться важными бумагами.

В этот день его жена Ольга Комнинос выглянула из их особняка на улице Ники и стала смотреть на гору Олимп, едва проступающую сквозь туман. Становилось все жарче, и она открыла одно из больших, от пола до потолка, окон, чтобы немного проветрить, но ни малейшего дуновения не ощущалось. Звуки разносились далеко – слышались призывы на молитву вперемешку с цокотом копыт, стуком колес по мостовой и гудками пароходов, сигналиющих отправление.

Ольга снова села и забралась с ногами на кушетку, придвинутую к окну. Изящные туфельки на низком каблуке она носила только дома, так что их можно было не снимать. Шелковое платье, почти того же

оттенка, что и бледно-зеленая обивка кушетки, сливалось с ней, а иссиня-черные косы подчеркивали бледность Ольгиного лица. В этот унылый день Ольга не находила себе места и пила лимонад стакан за стаканом, наливая его из кувшина, который преданная служанка наполняла снова и снова.

– Принести вам еще что-нибудь, кирия Ольга? Может быть, чего-нибудь поесть? Вы сегодня совсем ничего не ели, – сказала она с ласковым беспокойством.

– Спасибо, Павлина. Мне что-то не хочется есть. Знаю, что надо бы, но сегодня просто... не могу.

– А вы точно не хотите, чтобы я послала за доктором?

– Должно быть, это просто жара.

Ольга снова откинулась на подушки, на висках у нее выступили капельки пота. Голова болела, и она приложила к ней ледяной стакан, чтобы стало полегче.

– Ну, если вы так и не поедите, мне придется сказать кириосу Комниносу.

– Это совершенно ни к чему, Павлина. А кроме того, он вечером уезжает. Я не хочу его волновать.

– Говорят, к вечеру погода переменится. Станет прохладнее. Вам хоть немного полегчает.

– Надеюсь, правду говорят, – ответила Ольга. – Такое чувство, что и буря может налететь.

Тут обеим послышалось что-то похожее на удар грома, но они сразу же поняли, что это хлопнула входная дверь. За этим звуком последовали ритмичные шаги по широкой деревянной лестнице. Ольга узнала деловитую поступь мужа и отсчитала стандартные двадцать петель вязания, прежде чем дверь распахнулась.

– Здравствуй, дорогая. Как ты себя чувствуешь сегодня? – оживленно спросил Константинос, подходя к кушетке, на которой лежала жена, и обращаясь к ней, как врач к не слишком толковому пациенту. – Тебе не жарко? – Комнинос снял пиджак и аккуратно повесил на спинку стула. Рубашка на нем была мокрой от пота. – Я зашел только чемодан уложить. Потом загляну еще в торговый зал на несколько часов перед отплытием. Если тебе нужен доктор, он придет. Павлина тут за тобой приглядывает? Ты что-нибудь ела со вчерашнего вечера? – Объяснения и вопросы следовали друг за другом сплошным потоком, без пауз. – Смотри, позаботься о ней как следует, пока меня не будет, – сказал Комнинос напоследок служанке.

Он улыбнулся лежащей жене, но она отвела глаза. Взгляд ее

остановился на сверкающем море, видневшемся в открытом окне. И вода, и небо потемнели, рама открытого двустворчатого окна захлопала. Ветер переменялся, и Ольга облегченно вздохнула, когда в лицо ей повеял бриз.

Она поставила стакан на столик и положила обе руки на округлившийся живот. Платье было превосходно скроено – так, чтобы скрыть признаки беременности, однако в последние месяцы швы на нем уже трещали.

– Я вернусь через две недели, – сказал Комнинос, легонько целуя жену в макушку. – Береги себя, хорошо? И ребенка.

Они разом посмотрели в одну сторону – в окно с видом на море, в которое уже хлестал дождь сквозь занавеску. Небо прорезала вспышка молнии.

– Пришли мне телеграмму, если будет срочная необходимость. Но я уверен, что не будет.

Ольга ничего не сказала. И не поднялась.

– Я тебе привезу какие-нибудь хорошенькие вещицы, – закончил он, словно говорил с ребенком.

Помимо целого корабля, груженного шелком, он собирался привезти жене какие-нибудь украшения – что-нибудь получше, чем изумрудное ожерелье и такие же сережки, которые он подарил ей в прошлый раз. Волосы у нее были черные как смоль, и он предпочитал для нее красный цвет. Пожалуй, лучше купить рубины. Как и сшитые на заказ костюмы, драгоценные камни – тоже признак статуса, а его жена всегда была превосходной моделью для демонстрации всего, что он желал выставить напоказ.

С его точки зрения, жизнь сейчас была хороша, как никогда. Он вышел из комнаты легкой походкой.

Ольга смотрела через окно на дождь. Наконец-то влажная жара сменилась бурей. Потемневшее небо раскалывалось от молний, а по аспидно-серому морю бежали белые барашки – взлетали на волнах, падали и разбивались в пену. Улицу перед домом Комниносов вскоре совсем затопило. Каждые несколько минут вода по огромной дуге заливала набережную. Буря была необычайно свирепой, и при виде лодок, подсакивающих на волнах в бухте, Ольга вновь ощутила ужасную тошноту, которая мучила ее в последние месяцы.

Она встала, чтобы закрыть окно, однако, почувствовав странный, но приятный запах мокрых от дождя камней, решила оставить его открытым. Воздух казался теперь почти свежим после дневной духоты, и она снова легла и закрыла глаза, наслаждаясь ощущением соленого ветра

на щеках. Через минуту она уже спала.

Теперь она была одиноким моряком на рыбацкой парусной лодке, борющейся со свирепыми волнами. Платье развевалось на ветру, распущенные волосы липли к щекам, от соленой воды щипало глаза; горизонт пуст, солнца на небе нет, и невозможно понять, куда она плывет. Паруса надувал мощный юго-западный ветер, гнавший лодку со страшной скоростью, накрывая так, что вода переливалась через борт. Когда ветер внезапно стих, паруса обвисли и захлопали.

Ольга держалась, стоя одной ногой на скользком планшире, а другой – на уключине, и отчаянно старалась не обращать внимания на качку и рев волн. Она не знала, где безопаснее – в лодке или в воде, ей ведь ни разу не приходилось бывать в плавании. Платье уже промокло, и от водяной пыли на лице и в горле она начинала задыхаться. Вода все хлестала через борт, и, когда ветер задул снова и наполнил грот, шквал наконец опрокинул лодку.

Может быть, тонуть – это не больно, подумала Ольга, уже не сопротивляясь, когда отяжелевшая одежда потянула ее вниз. Неуклонно погружаясь вместе с лодкой, она увидела бледный силуэт младенца, плывущего к ней, и протянула к нему руки.

Тут раздался ужасающий грохот – лодку ударило о скалу. Голый младенец пропал, и Ольгины судорожные вздохи сменились всхлипами.

– Кирия Ольга! Кирия Ольга!

Ольга слышала чей-то отдаленный голос, задыхающийся, отчаянный.

– Вам плохо? Вам плохо?

Ольга узнала этот голос. Значит, помощь пришла.

– Я думала, вы в обморок упали! – воскликнула Павлина. – Думала, запнулись обо что-нибудь! Матерь Божья! Думала, вы расшиблись! Внизу что-то так загрохотало.

В смятении, все еще где-то между сном и явью, Ольга открыла глаза и увидела прямо перед собой лицо служанки. Павлина стояла на коленях рядом и встревоженно смотрела ей в глаза. За ее спиной было видно, как вздувается и опадает занавеска от пола до потолка, словно огромный парус, и тут же под силой ветра тяжелая атласная портьера взлетела вверх и развернулась горизонтально вдоль комнаты. Конец ткани задел край маленького круглого столика, а затем лизнул его уже пустую поверхность.

Не осознавая еще, что происходит, почти как в тумане, Ольга начала догадываться, чем был вызван тот грохот, что разбудил ее и всполошил Павлину. Она отвела рукой прядь волос, упавшую на лицо, медленно села и увидела осколки двух фарфоровых статуэток, разлетевшиеся по всей

комнате: отбитые головы, руки – произведения искусства ценой в тысячи драхм буквально разлетелись в пыль. Тяжесть камчатного полотна и сила ветра скинули их безжалостно на твердый пол.

Ольга вытерла мокрое лицо тыльной стороной ладони и поняла, что слезы не ушли вместе с кошмарным сном. С трудом переводя дыхание, она услышала собственный крик:

– Павлина!

– Что такое, кирия Ольга?

– Мой ребенок!

Павлина протянула руки и пощупала хозяйкин живот, затем лоб.

– Никуда он не делся! Не сомневайтесь! – весело заключила она. – Но лоб у вас немного горячий... и щеки мокрые, по-моему!

– Кажется, мне приснился дурной сон... – прошептала Ольга. – Совсем как наяву.

– Может, послать за доктором?..

– Это ни к чему. Я уверена, что все хорошо.

Павлина уже стояла на коленях на полу, собирая осколки фарфора в фартук. И одну-то фигурку в таком состоянии восстановить – нелегкая задача даже для опытного мастера, а после того как части двух перемешались между собой, это было и вовсе невозможно.

– Это всего лишь фарфор, – успокоила Ольга, видя, как расстроилась Павлина.

– Что ж... Пожалуй, могло быть хуже. Я ведь и правда думала, это вы упали.

– Со мной все хорошо, Павлина, ты же видишь.

– А я-то должна была смотреть за вами, пока кириоса Константиноса нет.

– Ты и так смотришь. И отлично справляешься. И прошу тебя, не волнуйся из-за этих статуэток. Я уверена, Константинос даже не заметит.

Павлина была членом семьи Комнинос намного дольше самой Ольги и знала, какую цену имеют такие коллекционные фигурки. Она поспешно подошла к окну и стала его закрывать. От дождя на ковер натекла лужа, и Павлина увидела, что край нарядного шелкового платья Ольги тоже намок.

– Ох ты, господи! – засуетилась она. – И что ж это я раньше не прибежала. Тут ужасный беспорядок, правда?

– Не закрывай, – попросила Ольга и встала рядом, чувствуя брызги на лице. – Так хорошо освежает. Ковер высохнет, как только дождь



перестанет. Все равно жарко так.

Павлина привыкла к тому, что у Ольги иной раз бывают странные причуды. Это было ей в новинку после той чопорности, с какой Ольгина покойная свекровь, старая кирия Комнинос, столько лет управляла этим домом.

– Ну что ж, только смотрите не промокните, – сказала Павлина, снисходительно улыбаясь. – Вы же не хотите простудиться, в вашем-то положении.

Ольга опустилась в кресло, стоявшее подальше от окна, и стала смотреть, как Павлина тщательно собирает осколки. Даже если бы Ольга и была способна нагнуться, Павлина все равно не позволила бы ей помочь.

За тучной фигурой ползающей на коленях служанки Ольге было видно бурное море. Несколько кораблей стояли в бухте, еле видные сквозь шторм, изредка их освещали вспышки молний.

Богато украшенные часы на каминной полке пробили семь. Ольга вспомнила, что Константинос, должно быть, уже около часа как вышел в море. Большие корабли редко останавливала такая погода.

– Если ветер будет попутный, так, пожалуй, кириос Константинос только быстрее доберется до места, – словно услышала ее мысли Павлина.

– Вероятно, – рассеянно ответила Ольга.

Сейчас для нее существовало только одно: легкие толчки в животе. Она подумала, может, малыш услышал шторм и почувствовал, будто его кидает на волнах. Она любила своего еще не рожденного ребенка безмерно и все представляла себе, как он безмятежно плавает в прозрачной воде у нее внутри. Слезы вперемешку с солеными морскими брызгами катились по ее лицу.

## Глава 2

Когда пришел лихорадочный август, жители Салоников начали тосковать по теплому маю. Сейчас было сорок градусов в тени, и люди закрывали окна и ставни, чтобы ужасающая жара не проникала в дом.

Ветерок какой-никакой веял, но не приносил облегчения: западный вардарис обдавал город своими горячими порывами, покрывая все в доме слоями тонкой темной пыли. В самое жаркое время дня улицы пустели, и приезжий путешественник мог вообразить, будто эти дома заброшены. В них было тихо: люди лежали в темноте, дышали неглубоко и неслышно, стараясь меньше обонять зловоние.

И воздух, и море были одинаково тяжелыми и неподвижными. Когда дети ныряли, волны зыби расходились на сто метров по бухте. А когда вылезали, то тотчас же обсыхали, и на коже оставался только едкий налет соли. Ночью мало что менялось: воздух был по-прежнему неподвижен, как и стрелка барометра.

Константинос Комнинос задержался с возвращением из Турции, однако к концу месяца все же прибыл домой. К этому времени Ольге уже казалось, что ее беременность длится целую вечность. Ее тонкие лодыжки отекали, а когда-то изящная грудь так разбухла, что не умещалась ни в одно платье, даже сшитое специально с расчетом на беременность. Константинос отговорил жену шить что-то новое в ее положении, и она ходила в просторной белой ночной сорочке из хлопка, достаточно свободной, даже если бы за последние недели беременности Ольга еще раздалась.

Через несколько дней после возвращения Константинос перебрался в отдельную спальню.

– Тебе места не хватает, – сказал он Ольге. – Будет неудобно, если я полкровати займу.

Ольга не возражала. Каждая ночь проходила все более беспокойно, и чаще всего ей удавалось поспать не больше часа. Она подолгу лежала на спине в темноте, смотрела в черную пустоту спальни с закрытыми ставнями и чувствовала, как сильно толкается ребенок в животе. Толчки были настойчивыми и регулярными. Иногда казалось, что ребенок двигает руками и ногами разом, и в Ольгином воображении рисовалась картинка, какой он будет – сильный, непоседливый, энергичный. Она не допускала даже мысли о том, что ребенок может оказаться девочкой. В этом случае

от Константиноса можно было ждать по меньшей мере разочарования, если не хуже. Ольга и так уже знала, что не оправдала ожиданий, потому что долго не могла забеременеть, и муж не скрывал своего раздражения. На момент замужества ей было далеко за двадцать; до того дня, как доктор объявил, что миновал четвертый месяц и беременность, по всей видимости, протекает благополучно, прошло более десяти лет. За эти годы ей не раз случалось с замиранием сердца ощущать, что теперь-то момент наверняка настал, но раз за разом, к ее отчаянию, все заканчивалось предательским кровотечением через месяц-другой.

Ее рука лежала на выпирающем животе, и пальцы вздрагивали в такт толчкам – один толчок, другой... «Скорее бы уже родить», – думала она и напевала, словно стараясь убаюкать ребенка, но в то же время успокаивая саму себя.

Часы тикали на каминной полке в спальне, еще одни – в коридоре, и бой часов в гостиной каждые пятнадцать минут сообщал, сколько прошло времени, помогая отсчитывать его до того момента, когда можно будет встать. Ольга с нетерпением ждала, когда эта пора придет.

То, что Ольге не хватало места на кровати, было правдой, однако более существенным для Константиноса было легкое отвращение к ее изменившемуся телу. Он почти не узнавал эту женщину. Как могла манекенщица, на которой он женился, женщина со стройными бедрами и талией, которую он мог бы обхватить пальцами, превратиться в нечто такое, к чему он почти брезговал прикоснуться? Его отталкивал этот круглый живот с туго натянутой кожей и огромные темные соски.

В эти последние недели, лежа без сна и считая удары бьющих не в лад часов, Ольга часто слышала тихие шаги на лестнице и едва различимый стук двери в конце коридора. Она подозревала, что, когда ложится спать, Константинос ускользает из дома и тайно посещает самые дорогие городские бордели, но ни на минуту не чувствовала себя вправе протестовать. Может быть, когда-нибудь ей снова удастся вернуть его расположение.

Ольга знала, что Константинос взял ее в жены за красоту. Она не питала иллюзий. Ее выбрали так же, как лучшие портные выбирают одну из множества манекенщиц. Будучи бесприданницей (ее родители умерли, когда ей еще и десяти не было), она считала, что в каком-то смысле ей посчастливилось. Многие манекенщицы, работавшие в Салониках, в конце концов оказывались во все разрастающемся квартале красных фонарей.

Правда, она иногда задумывалась о том, что было бы, выйди она замуж

по любви, и понимала, что красота стала для нее не только спасением, но и проклятием. Ольга знала, что это такое – быть товаром, вроде рулона шелка или позолоченной статуэтки, купленным и выставленным напоказ.

Став старше, она начала понимать, что физическое совершенство может быть тяжким бременем, и в то же время, стоило Ольге утратить его, как ее охватило беспокойство. В последние месяцы она с нарастающей тревогой наблюдала за тем, как увеличивается в размерах ее тело: проступившие вены, торчащий пупок, живот, выпятившийся так, что кожа на нем натянулась до предела и верхний ее слой даже начал расходиться, оставляя десятки бледных полосок, словно от капель дождя на стекле.

Хотя из-за постоянной тошноты она почти ничего не ела, тело продолжало раздаваться вширь. Каждое утро, когда Павлина заплетала черные как смоль волосы хозяйки и укладывала вокруг головы, две женщины беседовали, глядя друг на друга в зеркале.

– Вы так же красивы, как и были, – уверяла Павлина. – Разве что в талии немножко поправились.

– Я чувствую, что меня раздуло. Ничего красивого в этом нет. И я знаю, что Константинос меня теперь не выносит.

Павлина встретила Ольгин взгляд в зеркале и увидела в нем грусть. Такой, несчастной, она была еще красивее. Увлажняясь, ее черные, как патока, глаза становились еще глубже.

– Он вернется к вам, – сказала служанка. – Как только ребеночек родится, так все и наладится. Вот увидите.

Павлина говорила со знанием дела. Она сама к двадцати двум годам родила четверых детей и после первых трех родов могла служить живым примером того, что женское тело, как бы чудовищно ни раздалось во время беременности, может вернуться в прежнюю форму. Однако после четвертых родов оно в конце концов утратило эластичность. Ольга взглянула на уютную фигуру служанки – по ней скорее скажешь, что она вот-вот родит, чем по самой Ольге.

– Надеюсь, ты права, Павлина, – сказала она, откладывая в сторону скатерть, на которой медленно и неловко вышивала кайму.

– И когда же вы думаете закончить? – поддразнила ее Павлина, поднося к глазам кусочек ткани, чтобы оценить работу хозяйки. – Ребеночек-то уже в этом месяце должен родиться, так? Или на будущий год отложите?

За шесть месяцев Ольгиных стараний вышивка почти не продвинулась. Иглы выskalзывали из вспотевших пальцев, несколько раз ей случалось уколоться, и капли крови оставляли пятна на кремовом полотне.

– Никуда не годится, да?

Павлина улыбнулась и взяла у нее скатерть. Возразить было нечего. Ольгины руки не были созданы для вышивания. Пальцы у нее были тонкие и изящные, но с иглой управляться не умели. Для нее это был просто способ убить время.

– Я ее выстираю, а потом закончу сама, хорошо?

– Спасибо, Павлина. Тебе не трудно?

Все последние месяцы Ольга ощущала беспокойство, но в это раннее августовское утро просто не находила себе места. Ей ни минуты не лежалось спокойно. Когда она сидела, спина болела сильнее, чем в стоячем положении, и боли в животе, уже около недели слегка дававшие о себе знать, усилились. Каждые несколько минут она едва не теряла сознание от боли. Наконец-то ее время пришло.

Была суббота, однако Константинос ушел в контору в половине седьмого, как обычно.

– До свидания, Ольга, – сказал он, входя в комнату в ту минуту, когда схватки ненадолго прекратились. – Я буду в торговом зале. Павлина пошлет за мной, если будет нужно.

Ольга попыталась улыбнуться, когда он взял ее ладони в свои. Это должно было ее успокоить, но жест был мимолетным, как касание птичьего пера, – простая формальность, от которой она чувствовала себя не более, а менее любимой. Муж словно бы не заметил ее боли и не услышал ее тихих стонов, когда входил в комнату.

Вскоре она уже выла в голос, потому что накатывающая волнами боль стала нестерпимой, и цеплялась за Павлину так, что на руке служанки остались следы от пальцев. Нет, такие чудовищные муки могли означать только конец жизни, а не ее начало.

Прохожие изредка слышали вопли, полные мучительной боли, но такие звуки не были чем-то необычным в этом городе, к тому же они тонули в какофонии трамвайного звона, скрипа повозок и криков уличных торговцев. В десять часов Павлина послала за доктором Пападакисом, который подтвердил, что ребенок вот-вот появится на свет. Положение Константиноса Комниноса в обществе было таково, что доктор не мог не остаться с его женой, пока роды благополучно не закончатся.

В последние часы родовых мук Ольга уже ни на минуту не отпускала Павлинину руку. Она боялась, что иначе ее неотвратимо затянет в темный туннель боли и унесет из жизни.

Свободной рукой Павлина обтирала лоб хозяйки прохладной водой, которую ей все время носили из кухни.

– Постарайтесь, чтобы она немного расслабилась, – посоветовал доктор

Павлине.

Служанка знала по собственному опыту, что, когда у тебя все тело разрывает болью, такие рекомендации совершенно нелепы. Сказать бы ему все, что она об этом думает, но это не имело никакого смысла. Она закусила губу. Этому человеку уже за семьдесят. Пусть он за время своей работы принял хоть тысячи младенцев, но все равно даже приблизительно не представляет, каково сейчас Ольге.

Постель была мокра от пота, воды и той жидкости, что хлынула из нее потоком. Ольга чувствовала, что погружается почти в беспамятство, и думала о кошмарном сне, который приснился ей несколько недель назад и который в том или ином виде раз за разом возвращался к ней в последние дни.

Доктор устроился в удобном кресле и читал газету, время от времени поглядывая на часы, а затем бросая взгляд на Ольгу. Казалось, он следил за ней, а может, просто прикидывал, долго ли еще до обеда.

Тяжелые шторы были почти закрыты, и в комнате царил полутьма. Доктор держал газету так, чтобы на нее падал луч света, пробивавшийся в щель. Только когда от Ольгиных криков, казалось, едва не разлетелось в куски зеркало, он наконец поднялся. Не подходя слишком близко, чтобы не подвергать опасности свой безупречно чистый, без единого пятнышка светлый костюм, он стал выдавать новые указания:

– Головка уже показалась. Теперь нужно тужиться, кирия Комнинос.

Для нее сейчас не было ничего естественнее. Всем существом она желала этого, и в то же время это казалось невозможным, словно ей приходилось выворачиваться наизнанку.

Прошло около часа. Павлине этот час показался сутками, а Ольге – бесконечностью, в которой ее жизнь измерялась одними только приступами боли. Она впала в какое-то иступление. Она не знала, что сердце у нее едва не остановилось и что бедное сердечко младенца было на волосок от гибели. Она чувствовала только одно – боль. Только боль и казалась реальной в эти последние минуты родовых мук.

Ребенок выплыл из тьмы на слабый свет, заполнивший комнату. И закричал. Боли у Ольги прекратились, и она поняла, что этот тонкий вопль не ее. Это какой-то новый звук.

С минуту она лежала молча, не шевелясь. Не в силах вздохнуть. Слезы смертельной усталости и облегчения текли по ее лицу. Ольга почувствовала, что внимание двух людей, до сих пор сосредоточенное на ней, переключилось на что-то другое, находящееся в комнате. Они стояли к ней спиной, и она инстинктивно понимала, что их не нужно

отвлекать.

Она закрыла на минутку глаза и прислушалась к их тихому воркованию. Ей не о чем беспокоиться. Ольга чувствовала присутствие четвертого человека в этой комнате. Она знала, что он здесь.

– Кирия Ольга...

Ольга увидела, что Павлина стоит у ее кровати. На фоне белой блузки и необъятной груди служанки маленький белый сверток почти терялся.

– Ваш... ребенок. – Она едва выговорила эти слова. – Вот он, ваш ребенок. Ваш сын. Ваш мальчик, кирия Ольга!

Да, это был он. Павлина положила крохотное существо в Ольгины протянутые руки, и мать с сыном впервые взглянули друг на друга.

Ольга не могла говорить. Любовь нахлынула на нее мощной волной. Никогда она не испытывала более сильного чувства, чем нерассуждающее обожание этого маленького создания у нее на руках. В тот миг, как их глаза встретились, возникла неразрывная связь.

К Константиносу Комниносу послали гонца с сообщением, и, когда он пришел домой, доктор Пападакис ждал его внизу.

– У вас теперь есть сын и наследник, – доложил он с гордостью, словно все тут зависело именно от него.

– Превосходная новость, – ответил Комнинос таким тоном, словно ему сообщили о благополучном прибытии партии китайского шелка.

– Поздравляю! – прибавил Пападакис. – Мать и младенец чувствуют себя хорошо, так что я могу откланяться.

Было уже почти три часа, и доктору не терпелось уйти. Он всегда надеялся, что в субботу работы не будет, а главное, не хотел пропустить концерт, который давал сегодня приезжий французский пианист. Программа была полностью посвящена Шопену, и светское общество Салоников уже бурлило в предвкушении.

– Я на той неделе зайду их посмотреть, а если понадобится раньше, дайте мне знать, кириос Комнинос, – произнес он с механической улыбкой.

Мужчины пожали друг другу руки, и не успел еще доктор выйти за дверь, а Комнинос уже прошагал до середины широкой лестницы. Пора увидеть сына своими глазами.

Павлина помогла Ольге умыться и заново заплела ей косы. Кровать застелили свежими простынями, а младенец спал в колыбели рядом. Это была картина мира и порядка – именно то, что и любил Константинос.

Даже не взглянув на жену, он прошел через всю комнату и долго молча смотрел на запеленатого новорожденного.

– Ну разве не красавец? – спросила Павлина.

– Я не могу его как следует разглядеть, – ответил Комнинос с ноткой неудовольствия.

– Вот проснется, еще насмотритесь, – заметила Павлина. Комнинос бросил на нее неодобрительный взгляд. – Я только хотела сказать, что сейчас лучше дать ему поспать. А как только проснется, я его сразу к вам и принесу. Лучше уж его не тревожить.

– Хорошо, Павлина, – ответил хозяин. – Не могла бы ты оставить нас на минутку?

Как только служанка вышла из комнаты, он взглянул на Ольгу:

– А он?..

– Да, Константинос.

После стольких лет безуспешных попыток забеременеть Ольге был хорошо известен главный страх мужа: что когда она наконец сумеет родить ребенка, с ним окажется что-то не так. Теперь о ее тревоге – как же поступит Константинос, если такое случится, – можно было забыть.

– Он само совершенство, – просто сказала она.

Удовлетворенный, Комнинос вышел из комнаты. Его ждали дела.



## Глава 3

В тот же знойный субботний день, может быть даже в ту же самую минуту, когда маленький Димитрий Комнинос появился на свет, одна женщина как раз начала готовить для своей семьи скудный ужин. Ее дом был совсем не похож на особняк Комниносов. Как и сотни других, он стоял в густонаселенном квартале, у старой городской стены, в северо-западной части города. Там жили самые бедные люди в Салониках – христиане, мусульмане, евреи и беженцы, теснившиеся друг у друга на головах. Денег на этих улицах не водилось, зато кипела жизнь.

Некоторые дома тут лепились прямо к городской стене, и пространства между ними едва хватало, чтобы повесить сушиться одну-единственную рубашку. Семьи были большие, денег мало, работу не всегда легко найти. В этом доме было четверо почти взрослых, но еще не женатых детей – число, типичное для этих мест. Мать работала с утра до вечера, чтобы накормить и обстирать свое маленькое племя, и если горшок с едой не кипел на огне, значит на его месте стоял котел с горячей водой. Она нужна была постоянно – для стирки, для того, чтобы смыть грязь с тела после ежедневной работы в порту.

Трое сыновей спали в большой комнате, а жена с мужем занимали единственную спальню, и там же спала шестнадцатилетняя дочь – на диване в ногах их кровати. Ничего другого придумать было нельзя, пока не выдашь ее замуж, что было крайне маловероятно для девушки без приданого.

Хозяйка дома делала покупки с расчетом и никогда не разбрасывалась деньгами – большую часть продуктов покупала у торговцев, что приходили из деревни с корзинами лука, картошки и бобов. Мясо было роскошью, его ели только по особым дням, но в супе часто плавали бараньи внутренности – их мясник отдавал даром, если к концу дня оставались нераспроданными. В этот день как раз такой суп и кипел на медленном огне – вечером съедят его с ломтями хлеба грубого помола, который мужу было велено купить по дороге домой. Пот стекал по голым мускулистым плечам женщины, когда она подбрасывала топлива в огонь под кипящим котлом. Каждым субботним вечером мужчины собирались вместе с двоюродными братьями и племянниками в продымленном кафенио – выпить, посудачить о событиях прошедшей недели. Сейчас, когда кругом

гремела война – в Европе и не только, – всегда было что обсудить.

В подвале дома семья держала старого мула, а с ним и козу, чтобы был свой сыр и молоко, и, не считая тысяч мух, заселявшихся без приглашения, в этом убогом помещении обитало еще и несколько кур, строивших себе гнезда в грязной соломе. Они были приучены держаться подальше от задних ног мула, зато без страха собирали объедки возле самых ног козы. Когда из кухни не несло запахами еды, в доме стояла вонь от навоза.

Вот в этот-то темный зловонный подвал и влетела в тот день искра из огня. И раньше тысячу раз такие вот кусочки горячей золы отлетали от трещавших в огне поленьев и медленно опускались на пол, где дотлевали еще пару секунд и гасли. Но эта пролетела с точностью метко наведенной стрелы сквозь узкую щель между половицами и на лету только сильнее разгорелась, набирая скорость.

Она упала на круп мула, откуда ее тотчас смахнул безостановочно и ритмично мотающийся хвост. Отлети уголек налево, он упал бы на мокрый, пропитанный мочой пол. Но он отправился направо, упал на ворох соломы и, не задержавшись на поверхности, проскочил вглубь, рядом с курицей, сидевшей на яйцах, – идеальные условия для того, чтобы жар еще тлеющей искры набрал силу.

Котел наверху все кипел. Усталая хозяйка ожидала своих мужчин домой приблизительно через час, а пока пошла наверх прилечь. Ее дочь была уже в спальне, лежала там одна в темноте. Куда легче было заснуть сейчас, пока родителей нет в комнате. По ночам отец обычно шумно и грубо лапал мать, а потом оба засыпали и храпели до утра.

Между тем внизу огонь уже разгорелся под ворохом соломы, однако запах паленых перьев и рев перепуганных животных не услышали ни мать, ни дочь – обе дремали двумя этажами выше.

Каких-нибудь несколько секунд – и языки огня поползли по деревянным балкам, добрались до потолка. Вскоре весь подвал был охвачен пламенем, стены и потолок превратились в сплошной огонь, он распространялся быстро и неуклонно – вверх, на следующий этаж, а затем наружу, к соседним домам.

Даже поднимающаяся в доме температура женщин не разбудила. Летом в Салониках жара часто стояла невыносимая. Наконец звук, похожий на страшный взрыв, заставил их вскочить. Это кухонный пол провалился в подвал.

В один миг обе женщины уже были на ногах и, забыв о сне, обливаясь потом от жары и ужаса, схватили друг друга за руки. Огонь уже охватил лестницу, и они поняли, что этот путь отрезан, но тут услышали знакомые

голоса внизу, на улице.

Не было времени взвешивать риски. Сначала дочь, а за ней мать вскарабкались на подоконник и бросились вниз, полагаясь на милосердие стоявших там мужчин. А затем, когда их дом тут же аккуратно сложился и рухнул, бросились бежать со всех ног, подхваченные людским потоком, стремительно несущимся на восток. Вскоре они смешались с толпой, совершенно не подозревавшей о том, кто сыграл главную роль в этих страшных событиях.

Соседи скоро заметили клубы дыма и почувствовали аппетитный запах жареной козлятины, и все успели выскочить на улицу, пока их дома не загорелись. Некогда было гадать о причинах пожара, а глазеть – тем более. Огонь распространялся со всей огромной скоростью несущего его свирепого горячего ветра.

За какой-нибудь час были уничтожены десятки домов. Эти по большей части деревянные постройки и летняя засуха превратили город в пороховую бочку. Дождей не было с самого июня, и остановить огонь было нечему. В городе имелось несколько пожарных насосов, но они все были старые, и толку от них было мало, да и все равно большая часть запасов воды шла в многочисленные лагеря союзной армии, стоявшие под Салониками.

В центре города, где еще не было видно никаких признаков пожара, Константинос Комнинос как раз подходил к своему торговому залу. Шаг у него был легкий, пружинистый. Наконец-то у него есть сын.

Поделиться новостью было не с кем, не считая одного человека. Сколько Комнинос помнил, в маленькой душной каморке у входа в торговый зал всегда, день и ночь, сидел смотритель, он же ночной сторож. Тасос служил здесь уже больше полувека. Раз или два в день он обходил ряды ткани, изредка выходил на улицу, чтобы отыскать продавца лимонада или купить табаку, но большую часть времени сидел на одном месте, посматривал по сторонам или спал. В высокое окно, выходящее на улицу, был виден кусочек неба. По ночам этот маленький темноволосый человек сворачивался клубком и засыпал на диване в той же тесной каморке, у стены. Комнинос понятия не имел, когда он ест и где умывается. Ему платили за то, чтобы он находился здесь двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году, и за все те годы, что Комнинос знал его, он ни разу не пожаловался.

Услышав звук ключа в замке, Тасос вышел из своей норы, чтобы встретить хозяина. Он уже знал, что за Комниносом присылали из дому, и ему не терпелось услышать новости.

– Как здоровье кирии Комнинос? – спросил он.

– Она благополучно разрешилась от бремени, – ответил Константинос. – У меня сын.

– Поздравляю, кириос Комнинос.

– Спасибо, Тасос. Имеете что-нибудь сообщить?

– Нет, все тихо, как в могиле.

Константинос отпер главную дверь в торговый зал и уже собирался закрыть ее за собой, но тут Тасос окликнул его:

– Кириос Комнинос, чуть не забыл вам сказать: ваш брат заходил минут двадцать назад.

– Вот как?

При мысли о том, что брату что-то понадобилось в торговом зале в субботу, Комнинос недовольно поморщился. Субботние дни, когда зал был закрыт для покупателей, он всегда проводил в одиночестве – высчитывал доходы и расходы, проверял денежные поступления, просматривал счета прибылей и убытков, писал письма и занимался другими делами, несомненно подходящими исключительно главе предприятия.

– Он слышал, где-то на севере пожары начались, хотел узнать, не знаю ли я что-нибудь. Откуда бы мне знать, когда я тут сижу целыми днями.

Комнинос пожал плечами:

– Это похоже на Леонидаса. Как в увольнении, так скорее сплетни собирать! Слава богу, хоть одному из нас и без этого есть чем заняться.

Комнинос любил прохаживаться в тишине по своему торговому залу, проводя пальцами по рулонам шелка, бархата, тафты и шерсти. Он мог на ощупь определить цену материи. Это была его главная радость в жизни. Для него в этих тканях было больше чувственности, чем в женской коже. Рулоны громоздились от пола до потолка, и на ковровых дорожках вдоль всего пятидесятиметрового зала стояли лестницы, чтобы можно было легко дотянуться до самых верхних рядов. От одного конца зала до другого все ткани были разложены по цвету – малиновый шелк рядом с пурпурной шерстью, зеленый бархат – с изумрудной тафтой. Своим торговым агентам он поручал подбирать не столько конкретные виды тканей, сколько определенные оттенки, и с одного взгляда видел, кому из них удалось решить эту задачу, а кому нет. Симметрия и идеальный порядок в помещении, без суеты персонала, радовали его безмерно. Отец Комниноса, от которого он и унаследовал этот бизнес, всегда брал его с собой в торговый зал, когда там не было ни служащих, ни посетителей

и можно было насладиться тишиной и покоем.

– Запомни, – говорил он пятилетнему Константиносу, – вот это и есть альфа и омега нашей жизни. – А затем показывал ему куски тканей, аккуратно разложенные в центре каждого полированного стола для резки. – Вот это альфа, – говорил он, проводя пальцем по ножницам, напоминающим по форме букву «а». – А вот это омега, – и он показывал на торцы рулонов, образующих идеально круглые «о». – Тому, кто родился в нашей семье, другие буквы знать и не обязательно.

Каждый день Комнинос вспоминал слова отца, а теперь с нетерпением ждал того часа, когда сможет повторить их своему сыну.

По субботам можно было посидеть здесь спокойно, не чувствуя устремленных на тебя взглядов персонала. Он догадывался, что его недолюбливают. Не то чтобы его это волновало, и все же было как-то не по себе. Константинос замечал, как люди обрывают разговор, когда он подходит, и чувствовал жжение между лопатками, когда они смотрели в его удаляющуюся спину.

Кабинет у него был устроен наверху, с окнами на три стороны, и из него прекрасно просматривался весь огромный зал, и в длину, и в ширину. Рабочим трудно было разглядеть его сквозь жалюзи, а сам он со своего наблюдательного пункта видел все. Важных клиентов он всегда приглашал в кабинет и приказывал принести туда кофе. В таких случаях Комнинос поднимал жалюзи, зная, что гигантская радуга тканей произведет впечатление на кого угодно. К нему приезжали покупатели со всей Греции, и мало кто уходил, не закупив большую партию товара. Ни у кого из оптовых торговцев, даже в Афинах, не было такого разнообразия выбора, и он еле успевал выполнять новые заказы.

Помимо всего прочего, он был монопольным поставщиком шерсти для большинства военных частей, мобилизованных в Северной Греции, – сейчас, когда многотысячные союзные войска стояли у самого города и цены на все товары, от зерна до шерсти, взлетели. Самое время богачам делать деньги. Комнинос всегда разбирался в цифрах лучше, чем в буквах, и чуял, куда вложить средства.

Бизнес достался ему по наследству на двоих с братом Леонидасом, который был моложе на восемь лет, однако молодому человеку вовсе не улыбалось сидеть целыми днями в этом сарае, что именовался торговым залом, а еще меньше – вникать в тонкости коммерческих операций с шерстью в зависимости от ее цены на рынке. Леонидас был армейским офицером, и жизнь воина была ему ближе, чем жизнь коммерсанта. Между братьями не было абсолютно ничего общего, если не считать родителей,

и теперь, когда их не стало, эти двое ощущали друг к другу не столько любовь, сколько неприязнь. Еще в детстве трудно было поверить, что они родные. Леонидас – высокий, светловолосый, голубоглазый – был Аполлоном, а брат рядом с ним – Гефестом.

В то время как Константинос сидел в кабинете, изучая свой гроссбух и производя в уме вычисления прибылей за прошедшую неделю, процентных ставок и растущих издержек, которые должен компенсировать новый заказ на пятнадцать тысяч метров шерсти для солдатских шинелей (на это можно пустить материю, что лежит у него на складе уже два года, но продать по цене нынешнего), его брат бежал сломя голову по пустынной улице.

Тасос, прилегший вздремнуть после обеда, проснулся от грохота двери, которую распахнул ворвавшийся в зал Леонидас.

– Тасос... – еле выговорил тот, задыхаясь, – нам нужно найти Косту!

– Он здесь. У себя в кабинете, – ответил смотритель. – Да что такое случилось? Никогда не видел вас в такой спешке!

Леонидас пробежал мимо него и взлетел по винтовой лестнице, прыгая через две ступеньки.

– Коста, в городе пожар! Нужно вывезти хоть часть товара!

– Тасос говорил мне, что ты бегал смотреть на какой-то пожар, – отозвался старший брат, не поднимая глаз от столбиков цифр. Чувство собственной важности и достоинства не позволяло ему показывать, что это известие его взволновало. – Не потушили еще?

– Нет! Бушует вовсю, Коста! С ним не могут совладать! Сам выйди на улицу и принимайся! Он приближается! Бога ради! Я не выдумываю!

Константинос услышал в голосе брата страх. Это был не тот тон, каким он говорил, когда пытался кого-то разыграть.

Леонидас взял брата под руку и повел вниз, а затем на улицу.

– Еще не видно, но запах чувствуешь? А посмотри-ка на небо! До заката далеко, а уже темнеет!

Леонидас был прав. Запах гари отчетливо ощущался в воздухе, и ясное небо затянулось дымкой.

– Я хочу посмотреть, где горит, Леонидас. Не хотелось бы паниковать понапрасну.

– Ну, я знаю, где горело десять минут назад, а сейчас уже может где угодно... Ладно, идем посмотрим, не начали ли огонь останавливать.

На ходу Константинос рассказал брату, что у того теперь есть племянник. Момент для такой новости был не самый подходящий, но Константинос не мог отказать себе в удовольствии сообщить,

что на свет появился наследник его дела.

Леонидас очень любил невестку и, бывая в увольнении, непременно старался навестить на улицу Ники, чтобы навестить не столько брата, сколько Ольгу. Если ему когда-нибудь суждено жениться, думал он, то хотелось бы найти такую же красивую и спокойную жену, как она. Иногда он сомневался, достоин ли такой холодной человек, как Константинос, такой прекрасной женщины, и старался не думать о том, что было бы, если бы он встретил Ольгу первым.

– Это замечательно, – сказал он. – А тебе не кажется, что сейчас тебе лучше бы побыть с ней?

– Всею свое время, – ответил Константинос.

Леонидас в недоумении покачал головой. Он думал не только об Ольге и малыше, но еще и о славной Павлине, к которой был глубоко привязан.

По мере того как они торопливо шагали на север, дым становился все гуще, и Константинос остановился завязать лицо шелковым платком для защиты от пепла, кружившегося в воздухе. Они свернули на главную улицу и увидели движущуюся навстречу толпу. Константиносу случилось видеть много сборищ во время политических беспорядков в последние годы, но эти люди производили совершенно иное впечатление.

Многие сгибались под тяжестью своих пожитков – громоздких вещей, которые удалось спасти из огня: шкафчиков, зеркал, даже матрасов. Слишком большая ценность, которую нельзя было бросить просто так. Все носильщики города слетелись сюда, учуяв возможность пожить на несчастье, и теперь их ручные тележки, заваленные беспорядочными кучами всевозможных чужих вещей, перегородили всю улицу.

На горизонте, еще довольно далеко, Константинос со всей очевидностью увидел яркое зарево огня, поднимающегося к самому небу.

– Теперь веришь? – спросил Леонидас и остановился, закашлявшись и с трудом переводя дыхание.

– Нужно идти назад, в торговый зал, – произнес Константинос ослабевшим от страха голосом. – И найти как можно больше носильщиков.

Эта мысль пришла слишком поздно. Всех мужчин, физически способных что-то перенести, уже перехватили другие наниматели. Глядя на образовавшуюся свалку, братья поняли, что им остается полагаться только на себя. Вот разве что Тасос поможет. Они повернули назад, к торговому залу, и пустились почти бегом.

– Думаю, у нас осталось самое большее пара часов, если только огонь вскорости не остановят, – бросил через плечо Леонидас.

Константинос старался не отставать от брата, который был на голову

выше его и куда более атлетически сложен. В ответ он только промычал что-то. Бегать ему не приходилось уже по меньшей мере лет двадцать, и теперь в груди жгло. Мысль о том, что он может потерять свои товары, подгоняла его, и через десять минут оба уже стояли в дверях торгового зала и объясняли Тасосу, что нужно делать.

– Я выберу самые ценные ткани, – сказал старший брат, – и вы с Леонидасом вытаскивайте их первыми! Складывайте у дверей, потом перевезем по очереди на тележке через улицу Эгнатия. По тридцать рулонов на тележку должно уместиться.

Улица Эгнатия была широким бульваром, идущим через весь город с запада на восток.

– Туда-то уж огонь никак не дойдет, все, что мы перевезем на южную сторону, останется в целости, – сказал Леонидас.

Они втроем принялись за работу. Впервые за десять лет Константинос бегал вверх-вниз по лестницам, вытаскивал рулоны материи и швырял на пол. Там их подбирал Леонидас и вытаскивал из здания, а Тасос укладывал на тележку. Вскоре первая тележка была загружена, и Тасос с Леонидасом вместе покатали ее по улице. Через пять минут сложили рулоны у дверей ателье.

– Присмотрите за ними, хорошо? – попросил Леонидас портного. – Мы сейчас вернемся.

Объяснений тут не требовалось. Десятки других коммерсантов и торговцев стаскивали свои товары на эту сторону улицы. У всех была одна и та же мысль: сюда огонь не доберется.

Улицы наполнились криками и удушающим запахом дыма, а в этот день и без того дышать было нечем.

К тому времени, как Леонидас с Тасосом вернулись к торговому залу, в проходе уже лежало около сотни рулонов, предназначенных для вывоза.

– Берите сначала фиолетовый шелк, потом красный бархат. Шерсть пойдет в последнюю очередь, а весь крепдешин вывозите следующим же рейсом – все цвета подряд – да постарайтесь, чтобы кремовый не слишком пачкался...

Стоило Константиносу взяться разбирать ткани, как страсть к ним охватила его с новой силой. Распоряжения, как их спасти и как беречь, так и сыпались одно за другим, непрерывно, как разматывающийся из рулона шелк.

За последний час, с той минуты, как он сообщил брату о рождении сына, Константинос ни разу не подумал ни о новорожденном, ни о жене, ни о том, в безопасности ли они. В конце концов, они находились по ту же



сторону улицы, что и его бесценные ткани, а значит, им ничто не угрожало.

Тасос с Леонидасом вернулись за четвертой партией. Перед тем как начать готовить к отправке пятую, оба сняли рубашки и теперь утирали пот со лба.

– Постарайтесь светлые не пачкать, ладно?

На светлых тканях оставались пятна от пота. Это распоряжение наконец вывело Леонидаса из себя.

– Ну, знаешь, Константинос, из-за какого-то маленького пятнышка...

– Если мы хотим сохранить ткань для свадебных платьев, так нужно, чтобы она после этого годилась в дело, а эта стоит несколько тысяч драхм за метр!

– Бога ради, да не все ли равно сейчас? Я лично вообще не понимаю, почему ты не идешь домой, к жене и сыну!

– Потому что знаю, что они в безопасности. А этот торговый зал, возможно, нет. Я тут большую часть жизни работал по семь дней в неделю. Если ты, Леонидас, не способен понять всю ценность того, что видишь перед собой, то я это понимаю. И отец понимал.

– Все эти ткани не будут стоить ничего, если мы их отсюда не вывезем, – перебил его старик. Он только что выбегал на улицу, где запах дыма усилился, толпы людей стали, кажется, еще больше, и, если только это был не обман воображения, даже как будто жарче сделалось. – Мне кажется, времени у нас мало.

Братья взглянули друг на друга, еще не остыв от злости.

Леонидас подхватил рулон темного бархата и вышел с ним на улицу. Тасос прав. Нужно отсюда убираться.

Он бросил рулон на тележку, бегом вернулся в зал и схватил Константиноса за руку.

– Идем, быстро.

Леонидас чувствовал, что брат готов вырваться.

Он потащил его к выходу, и даже тут Константинос не пожалел лишних секунд, чтобы запереть дверь на три замка. Тасос уже дошел, с трудом волоча тележку, до конца улицы и свернул направо, к улице Эгнатия. Воздух уже был так задымлен, что нечем стало дышать, слышался треск огня.

Через пару минут они догнали старика и увидели груды рулонов на тротуаре. Прохожие вежливо обходили препятствие, думая только о том, чтобы убраться подальше от опасности.

– Нужно затащить все внутрь, – торопил Константинос.

– Да кто же станет красть бархат? – сердито возразил Леонидас.

Портной уже помогал Тасосу затаскивать рулоны тканей в свое ателье, и вскоре на полу посреди комнаты образовался плотный штабель из почти двухсот рулонов. От вопроса брата Константинос упрямо отмахнулся. Теперь в его распоряжении сколько угодно людей, которые будут выполнять его указания без споров.

Тут вдруг пол под ним качнулся, и все ателье заходило ходуном. Только что оно казалось надежным укрытием, а теперь все – и портной, и братья Комнинос, и Тасос – выскочили обратно на улицу. Где-то в городе прогремел взрыв, а потом, среди нарастающего хаоса и паники, – еще один и еще.

Люди, убежавшие от огня, казалось, еще прибавили шагу.

– Это иностранные военные, – сказал кто-то из проходящих. – Дома взрывать начали.

Это было не безумие, а единственная надежда задержать огонь. Поскольку воды в городе катастрофически не хватало, оставался лишь один выход – противопожарное заграждение, и солдаты союзной армии пришли на помощь городу.

– Надеюсь, это поможет, – сказал Константинос. – А нам, пожалуй, пора уходить. У меня жена несколько часов как родила.

– Поздравляю, кириос Комнинос! Какой незабываемый день! – сказал портной.

– Да уж, такой день не забудешь! – ответил Комнинос, чуть улыбнувшись. – Бог даст, завтра мы придем и заберем это все отсюда. – Наконец он повернулся к Тасосу. – Не могли бы вы сходить посмотреть, как дела в торговом зале, и сообщить мне?

Тасос кивнул.

– Думаю, нам пора идти, – напомнил Леонидас, озадаченный уверенностью брата в благополучном исходе. – Не хочешь зайти Ольгу успокоить?

– Я уверен, что с ней ничего не случится. У нее там Павлина есть. А новорожденные ведь первое время все равно спят?

– Не знаю, – ответил Леонидас. – Я с ними дела не имел. Но уверен, что все уже знают о пожаре.

Вот уже целый час или около того Леонидас все сильнее тревожился за Ольгу. Он с изумлением наблюдал за братом, которого не волновало ничего, кроме бизнеса. Как так можно – совсем не думать о жене и новорожденном сыне? Если бы Леонидас женился на такой женщине, как Ольга, она была бы центром его жизни.

Они спустились к морю и двинулись вдоль берега. Здесь все было

как всегда: роскошные виллы на набережной, корабли в гавани, молча глядящие друг на друга.

Резкий запах висел в воздухе, но копоты теперь, когда солнце село, было уже не видно на фоне ночного неба. Удивительно, но в отеле как ни в чем не бывало накрывали ужин для постояльцев, а за столиками кафе люди потягивали напитки. Салоники словно раскололись на два разных мира. На южной стороне от улицы Эгнатия о пожаре знали, однако были уверены в собственной безопасности. Помочь они ничем не могли и считали своим долгом сохранять спокойствие.

А в это время Тасос направлялся обратно на север. Почувствовав сильный запах жареной баранины, он догадался, что мясной рынок, должно быть, тоже горит, а увидев обезумевших от страха овец, бегающих по улицам, уверился в правильности своей догадки.

Видеть бегающих без присмотра животных уже довольно странно, но тут он в придачу ко всему увидел, что к нему летит какая-то гигантская птица. Она упала на мостовую в каких-то нескольких сантиметрах от Тасоса, и только тут он понял, что это не птица, а стул. Три ножки из четырех отломались при ударе. Вся улица была завалена брошенными вещами, и до сих пор, готовясь бежать, люди выбрасывали из окон все подряд: швейные машинки, столы, шкафчики... Они уже поняли, что никогда не вернутся в свои дома, и отчаяние овладело ими.

Со слепой покорностью человека, уже полвека служащего одной и той же семье, Тасос намеревался во что бы то ни стало выполнить поручение хозяина. Когда встречная толпа преграждала ему путь, он останавливался и ждал, прижавшись к какой-нибудь двери, и в конце концов добрался до конца улицы, где находился торговый зал. Он увидел языки пламени в окне второго этажа, однако фасад здания был еще нетронут.

«Ничего, я быстро, – подумал он, – только забегу, книгу заказов возьму».

В зале огонь, словно голодное чудовище, жадно пожирал рулоны тюля и тафты, прежде чем не спеша, с удовольствием приступить к главному блюду – шерсти и плотному льняному полотну. Рулоны вспыхивали, как спички в коробке, и воспламенялись друг от друга.

Зеваки видели, как все окна вдруг вылетели под напором горячего воздуха. Если бы в этом здании были сложены вместо тканей бруски гелигнита, и тогда взрыв, пожалуй, не вышел бы сильнее. Осколки стекла разлетелись в воздухе и осыпались смертоносным дождем. И здание, и все

вокруг него было полностью уничтожено.

В ту самую минуту, когда Тасоса поглотило пекло, братья уже подходили к улице Ники.

Им оставалось пройти мимо нескольких соседних вилл, когда Константинос бросил взгляд налево, в темную боковую улочку, и увидел в конце ее зарево. К своему ужасу, он понял: свершилось то, что все считали невозможным. Огонь пересек улицу Эгнатия. Это меняло все.

Ветер изменил направление и стремительно нес огонь на юг, к той большей части города, где были сосредоточены почти все коммерческие здания, а также самые роскошные дома Салоников. Остановить его не могло ничто. Угроза нависла не только над домом Константиноса, но страшнее для него было то, что его склад, крупнейший склад тканей во всей Греции, тоже оказался на пути огня.

Хотя уже было ясно, что пожар оборачивается ужасающим бедствием для города, он все еще надеялся, что катастрофа минует лично его, Константиноса Комниноса. Пусть дешевые деревянные дома во всем остальном городе сгорят дотла, но массивный склад из стали и кирпича должен выстоять.

Константинос схватил брата за руку. Нужно было бежать домой, и поскорее. Когда они прибежали, Ольга сидела в прихожей, бледная, с потемневшими глазами, и прижимала к груди младенца. Рядом стояла Павлина, держа в каждой руке по узлу. Обе женщины были в слезах, однако при виде Константиноса и Леонидаса на их лицах отразилось облегчение.

– Нужно уходить, сейчас же! – резко сказал Константинос и без промедления вывел их на улицу.

Они шли по набережной так быстро, как только могли, и только для младенца не существовало вокруг ничего, кроме тепла материнских рук и сильно бьющегося материнского сердца. Море, что плескалось всего в нескольких дюймах от них, немного утешало.

Греческая армия пыталась кое-где с помощью немногих имеющихся насосов потушить пожар, но это было безнадежно – все равно что поливать из ведра горящий лес. Теперь главной задачей было благополучно эвакуировать жителей.

Люди со всех концов города собрались в одном месте, чуть восточнее Белой башни, а оттуда их всевозможным транспортом вывозили подальше от огня, за пределы города. Кто-то спасался на лодках. С направлением никто не пытался определиться, главное – бежать. Вся приморская часть

города уже была охвачена огнем, и рушащиеся здания представляли собой еще одну опасность: металлические балюстрады стали плавиться и стены с грохотом обваливались прямо на улицы. Во всей этой Вавилонской башне всевозможных наречий те, кого спасали, быстро находили общий язык со спасателями.

Оранжевое зарево залило небо, словно за пару часов солнце успело закатиться и подняться снова. Весь город был ярко освещен.

Леонидас помог Ольге с ребенком и Павлине сесть в армейскую машину. Ольга явно была очень слаба, но Леонидас заверил Константиноса, что она в надежных руках и что о ней позаботятся. Торговец сунул в руку офицеру несколько банкнот с обещанием вскоре дать больше, если все будет хорошо, и велел водителю везти их в Перею, где жил один из его главных клиентов.

Хотя братья и не питали друг к другу особенной любви, Леонидас чувствовал, что его долг – остаться с Константиносом. Они отошли еще немного на восток, а затем просидели всю ночь и большую часть следующего дня на безопасном расстоянии, у моря, глядя, как гибнет в огне любимый город.

В этот день многие поверили, что тут не обошлось без чуда.

Огонь не разбирает религий. Перед ним устояло несколько минаретов, словно стволы деревьев в сгоревшем лесу, но синагоги были разрушены почти все. Десятки церквей тоже погибли, однако, дойдя до античной базилики Святой Софии, огонь вдруг таинственным образом остановился. Кто-то счел это ответом на свои молитвы.

По Божьей воле или сам по себе, но ветер, порывами перебрасывавший огонь из одной части города в другую, стих. Без него пожар распространяться не мог. Какое-то время город еще тлел, но пламя уже погасло.

В понедельник с утра Константиносу не терпелось вернуться в город. Оттуда, где они остановились, невозможно было оценить масштаб разрушений, и он был по-прежнему уверен, что его склад в порту должен был уцелеть.

– Нужно выяснить, насколько он пострадал, – сказал Константинос.

Со все нарастающим трепетом братья молча шли к разрушенному городу. Чем ближе к центру, тем чудовищнее выглядели почерневшие силуэты выгоревших зданий. Самый воздух, казалось, был исполнен горя. Город застыл в скорби, и его обгорелые останки словно надели вдовий траур.

Какой-то человек в лохмотьях стоял с Библией в руках и страстно

проповедовал перед воображаемой паствой. Он читал из Откровения Иоанна Богослова:

– Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море встали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море...

– Похоже... – сказал Леонидас.

– Не будь таким суеверным, – сердито отозвался старший брат. – Какой-то идиот устроил пожар. Вот и все.

У самого берега они заметили полузатонувшие остовы сгоревших рыбацких лодок. Почти невероятно, но до них долетели искры от горящих прибрежных домов.

Многие вышли в этот день в такой же молчаливый путь – осмотреть разрушения, и зрелище, открывавшееся им, было страшнее, чем кто-либо из них мог себе вообразить. Отели, рестораны, магазины, театры, банки, мечети, церкви, синагоги, школы, библиотеки – все погибло, и жилые дома тоже. Тысячи и тысячи их были разрушены.

Тишина нависла над городом. Братья видели, как многие разбирают обгорелые развалины своих домов, не веря, что от их жизни ничего не осталось, кроме тлеющей золы, что была когда-то, вероятно, мебелью, одеждой, иконами и книгами. Теперь ничего уже нельзя было различить.

Неподалеку от дома Комниносов братьям повстречались две женщины, шедшие рука об руку. Вид у них был такой неуместно элегантный и безмятежный, головы прикрыты зонтиками от летящей золы – ни дать ни взять леди, вышедшие на послеобеденную прогулку, однако, когда они подошли ближе, братья заметили, что обе они плачут, не стыдясь слез.

Дойдя до своего родного дома, они до конца поняли горе этих женщин. Несколько минут братья молча стояли и смотрели, не в силах поверить, что вот это огромное пространство тлеющей земли было когда-то великолепным домом, который их отец строил с такой гордостью.

Воспоминания о детской спальне с видом на море с необычайной силой нахлынули на Леонидаса, и он вспомнил, как просыпался каждое утро и глядел на пляшущие солнечные зайчики на потолке – отражение волн. Он уехал отсюда много лет назад, но картины прошлого ярко вспыхивали в памяти – одна за другой, стремительно, не по порядку, словно во сне.

Глаза у него давно щипало от едкого дыма, висевшего в воздухе, а теперь из них покатались слезы.

Константинос сразу вспомнил о письменном столе из своего кабинета, о своих личных бумагах, о бесценной коллекции часов, о картинах, о великолепных портьерах, так элегантно свисавших от потолка до пола. Все погибло, ничего нельзя восстановить. Гнев вспыхнул в нем, как пламя.

– Идем, Леонидас, – резко сказал он и взял брата за руку. – Тут уже ничего не поделаешь. Нужно взглянуть на торговый зал, а потом на склад.

– И там будет то же самое, – холодно отозвался Леонидас. – Ты непременно хочешь это видеть?

– Торговый зал мог уцелеть в огне, – оптимистично предположил Константинос. – Пока там не побываем, не узнаем.

Они вместе деловым шагом зашагали по разрушенным улицам. Константинос упрямо не хотел терять надежду, но когда они дошли до места, то убедились, что Леонидас был прав. Торгового зала больше не было. Ничего не осталось от радуги, которой Константинос так гордился: ни красного, ни голубого, ни зеленого, ни желтого, – одни лишь оттенки серого. Внутрь входить не рискнули. Металлические балки угрожающе нависали под потолком. Кто знает, удержат ли их обгорелые остатки кирпичей?

– Конструкция склада гораздо более современна, – сказал Константинос. – А большая часть запасов хранится там, так что не будем здесь зря время терять.

Константинос Комнинос отвернулся. Смотреть на эти руины было невыносимо, и ему не хотелось, чтобы брат догадался, как тяжела для него эта потеря.

Леонидас все еще не мог оторвать глаз от этого зрелища, когда заметил, что брат уже дошел до конца улицы. Он поспешил следом.

Они пошли кружным путем, так как напрямую кое-где было не пройти. Одна опустевшая улица за другой оставались позади. Изредка то тут, то там попадались уцелевшие части зданий, словно они не пришлось по вкусу огню. На одном из больших универсальных магазинов сохранилась вывеска «*Vêtements, Chaussures, Bonneterie*»<sup>[2]</sup>. Она казалась такой яркой и веселой, но такой неуместной. Не было больше ни одежды, ни обуви, ни чулок. На той же улице, на столбе, все еще висел покореженный металлический указатель «Кинематограф Патэ». Эти слова уже казались странными, словно из другого мира.

Наконец перед ними открылось зрелище, при виде которого сжалось бы и каменное сердце: сгоревшая церковь Святого Димитрия, покровителя

города. Пламя поглотило ее. Оба брата помнили, как здесь отпевали их родителей, и здесь же венчались Константинос с Ольгой. Теперь от нее осталось лишь пустое место – двор, пол, заваленный кирпичами, расписная апсида, открытая всем ветрам и свету впервые за сотни лет своей истории. Она казалась постыдно обнаженной. Братья увидели, что среди развалин одиноко бродит священник. Он плакал. Еще один сумасшедший выкрикивал слова, сказанные апостолом Павлом об этом самом городе. Никогда еще они не вызывали в душе такого отклика.

– ...В явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа!.. – кричал он.

Помимо церквей, Константинос с Леонидасом увидели руины синагог и мечетей, и, казалось, люди все же находили какое-то утешение на месте своих святынь. Там, где стены устояли, люди собирались группами в их тени. Между колонн натягивали веревки для белья, в проходах синагог уже устроили кухни, а в обгорелых стенах мечетей аккуратно развешенные одеяла образовывали что-то вроде разгороженных спален.

При виде двух банков – Банка Салоников и Банка Афин, почти не пострадавших, Константинос ненадолго преисполнился оптимизма, и такое же чувство вызвал у него огромный универсальный магазин с мраморным фасадом, однако эти здания были счастливыми исключениями.

Отель «Сплэндид», где люди ужинали вечером восемнадцатого августа в полной уверенности, что сюда огонь ни за что не дойдет, сгорел до основания. Излюбленное местечко Леонидаса, кафе у моря на краю площади Элефтерия, постигла та же участь. На площади, бывшей когда-то центром светской жизни города, царил тишина.

Наконец братья дошли до того места, чуть севернее порта, где был расположен главный склад Комниноса.

Оба стояли и смотрели на то, что осталось от огромного склада. Он сгорел до основания.

– Мой прекрасный склад, – прошептал Константинос через несколько минут. – Мой прекрасный, прекрасный склад.

Младший брат взглянул на него и увидел, что он обливается слезами.

Словно погибшую любовь оплакивает, подумал Леонидас, пораженный тем, что брат не скрывает своих чувств. Когда умерла их мать, он и то столько слез не пролил.

Пока они стояли и смотрели на картину разрушения, над ними пролетел



немецкий аэроплан. Теперь пилот доложит командованию, что Салоники весьма успешно справились с собственным уничтожением. Сами немцы не сделали бы этого лучше.

Тем временем местная газета на французском языке готовила первый выпуск со дня пожара. Хлесткий заголовок подводил итог:

***LA MORT D'UNE VILLE***

***ГИБЕЛЬ ГОРОДА***

## Глава 4

Пять дней после этого Ольга ничего не слышала о Константиносе, но была так погружена в заботы о ребенке, что о муже почти и не думала. Дни и ночи стали неотличимы друг от друга – беспокойные, бессонные. Иногда ей удавалось укачать маленького Димитрия, и он засыпал, но обычно не дольше чем на полчаса.

Павлина жила с Ольгой в одной комнате в огромном доме в Перее, принадлежавшем старому другу Константиноса, богатому экспортеру тканей, который отправлял за границу не одну партию его товара. Из окна было видно, что над городом, в десяти километрах от них, все еще висит завеса дыма.

Гибель Салоники казалась Ольге чем-то далеким, но во вторник она получила вести от Константиноса, что практически все, чем он владел, уничтожено.

– Мне очень жаль, – со слезами на глазах проговорила хозяйка дома. – Это так ужасно для вас... все потерять!

Ольга была благодарна ей за сочувствие, но не могла найти в себе должного эмоционального отклика. Да, потерять все было бы ужасно, но ведь с ней этого не произошло. «Все» лежало у нее на руках. Ребенок был сейчас центром ее мира, и все остальное было не важно.

На следующий день Константинос, остановившийся в отеле в уцелевшей части города, пришел навестить жену и ребенка. Он уже занялся восстановлением того, что осталось от склада. Товар сгорел весь, но основания стен остались целы, и Константинос начал отстраивать склад заново. Он разослал распоряжения, собираясь пополнить запасы товара, а как только придут новые партии тканей, их нужно будет где-то хранить. Уже через несколько дней, которые ушли на составление иска о выплате страховки, Константинос отставил эмоции в сторону.

– Я выстрою свой бизнес заново, еще лучше и прочнее, чем был, – заверил он Ольгу.

Работы по восстановлению дома пришлось отложить на многие месяцы. Это не было для Константиноса главной задачей. Однако Ольга понимала, что гостеприимством, оказанным ей в Перее, нельзя пользоваться бесконечно. Первоначально речь шла всего о нескольких днях, а они живут здесь уже две недели.

Прибрежные районы города и почти весь северо-запад были разрушены, но верхняя часть, где прошло Ольгино детство, не пострадала.

Маленький домик на улице Ирины, номер три, доставшийся им с сестрой после смерти родителей, сейчас пустовал, и Ольга подумала, что это было бы идеальное место на то время, пока идет ремонт. Сестра ее два года назад уехала в Волос, к сыну.

В следующий раз, когда Константинос пришел их навестить, Ольга неуверенно предложила переехать туда, пока их виллу не отстроят заново.

– Домик, конечно, маленький, но мы поместимся... – Ольгин голос оборвался. Она уже почувствовала, что Константиносу не по душе эта затея.

Весь этот домик мог бы поместиться в одну гостиную их прежнего особняка. Человеку, всю жизнь прожившему в богатом прибрежном районе, даже думать о квартале, где придется толкаться локтями – в буквальном смысле – с мусульманской и еврейской беднотой, было довольно противно. Удивительно, размышлял он, как только Ольгина строгая красота, ее белая кожа могли расцвести в нищете и грязи городской окраины.

Однако Ольга была настроена решительно.

– Пожалуйста, Константинос... Павлина может спать в мансарде. Она не против, – умоляла она. – И это же временно.

Похоже было, что лучшего решения все равно не найти. Все дома, которые можно было бы снять в аренду, сгорели до основания. С некоторой неохотой и многочисленными оговорками Константинос дал свое согласие.

На неделе Ольга с ребенком вернулись в город. Павлина отправилась туда несколькими днями раньше, чтобы убрать дом, а Константинос должен был приехать к вечеру.

Возница вез ее в город, объезжая сильнее всего пострадавшие улицы, и все же масштаб разрушений был очевиден. Через месяц после пожара, уничтожившего почти весь город, запах пепелища, который невозможно было спутать ни с каким другим, по-прежнему висел в воздухе.

Ольга успела мельком увидеть призрачные остовы величественных городских зданий, их пустые окна, слепо глядящие на море, а потом и останки виллы Комниносов.

Они с ребенком прибыли на улицу Ирины около полудня. Была уже середина сентября, но солнце палило, как в августе.

Выйдя из экипажа в конце узкой улочки, Ольга увидела, что Павлина разговаривает с какой-то женщиной, и узнала ее. Это была Роза Морено,

ее соседка.

Роза была вне себя от радости, увидев Ольгу, и тут же наклонилась поближе, чтобы рассмотреть младенца.

– Милая моя, я так счастлива тебя видеть – и поздравляю! – сказала она. – И выбрал же твой малыш время, когда родиться! Но зато какая радость, что ты опять будешь жить здесь.

– Спасибо, Роза. Я тоже рада.

Почти механически, в знак доверия и приязни, она протянула дитя Розе, и та прижала его к себе, с наслаждением вдыхая сладкий младенческий запах. У нее самой двое сыновей были еще маленькие, но ведь особый запах новорожденного держится недолго.

Они не виделись больше двух лет, но быстро обменялись любезностями и новостями о главных событиях в своей жизни.

– Улица наша мало изменилась, сама увидишь, – сказала Роза. – Нам повезло, что огонь сюда не дошел. Синагога наша сгорела, но, по правде говоря, уж лучше синагога, чем дом. Ты только не говори никому, что я так сказала.

– А мастерская? – спросила Ольга, когда Роза отдала ей младенца.

– Сильно пострадала, но это дело поправимое!

Морено, еврейская семья, жившая в доме номер семь, владела одной из самых популярных швейных мастерских в городе и тоже покупала ткани у Константиноса Комниноса. Муж Розы, Саул, унаследовал мастерскую от своего отца и собирался в будущем передать ее своим сыновьям Элиасу и Исааку. Одному из них исполнился только год, а другому четыре, однако все уже было решено.

Через несколько часов после пожара Саул начал делать новые выкройки взамен сгоревших и сметал швы у нескольких костюмов. Многие люди остались в чем были, так что Саул предвидел ажиотажный спрос и был достаточно практичен, чтобы воспользоваться ситуацией. Один купец из Верии продал ему в кредит на полгода несколько рулонов недорогой шерсти, и он тут же приступил к работе, обошел нескольких клиентов, чтобы снять мерки.

– Думаю, мы тут устроимся как-нибудь, правда, кирия Ольга? – сказала Павлина, когда они переступили порог.

– Да, пожалуй, устроимся, – ответила Ольга. – Я здесь чувствую себя как дома...

Те немногие пожитки, что остались у них, в основном одеяла, простыни, пеленки и другие детские вещи, внесли в дом. Кирия Морено принесла подходящий по размеру ящик для фруктов, который мог сойти

вместо колыбели. Она выстлала его изнутри мягким, постелила вышитые простынки и одеяльце с именем Димитрия.

В доме номер пять, между Ольгой и Морено, жила мусульманская семья Экрем с тремя дочерьми. Госпожа Экрем как-то зашла после обеда с подарками для малыша и сладостями для Ольги. Она была очень добрая женщина, правда, объяснялась с соседями по большей части улыбками и жестами, потому что греческого почти не знала.

Ольга была рада вернуться в теплую, знакомую атмосферу дома, где она выросла, улицы, полной дорогих воспоминаний. Все, кого она знала с детства, по-прежнему жили в тех же домах и были рады снова ее увидеть. Они скоро простили ей то, что после замужества она была здесь такой редкой гостьей.

Тепло и близость радовали в эти дни Ольгу, но не Константиноса. Столь тесное соседство с другими людьми, то, что их слышно за стеной и даже с улицы, казалось ему невыносимым. В большей части домов теперь, после пожара, жило по несколько семей. За городом организовали лагерь беженцев для тех, кто остался совсем без крова, но когда у брата или кузена есть крыша над головой, естественно ожидать, что он разделит с тобой свою удачу. Вот так и вышло, что в некоторых домах по улице Ирины, с ветхими полами, с подвалами, отведенными для скотины, ютилось до пятнадцати человек сразу, со всеми вытекающими последствиями вроде шума и беспорядка.

Константинос открыто выказывал недовольство, и хотя Ольга всегда исполняла свой, пожалуй, самый главный свадебный обет, а именно: никогда и ни в чем не перечить мужу, наступил момент, когда у нее все же вырвалось неосторожное слово.

– У меня здесь клаустрофобия начинается, – пожаловался Константинос после беспокойной ночи.

– Я понимаю, это не вилла у моря, но мне нравится.

– Ты выросла на этой улице, Ольга, – возразил муж. – Тебе это привычно!

– Да ведь нам еще гораздо легче, чем другим, – тихо сказала она.

Ольга слышала рассказы о лагерях беженцев, которые разбили за городом для десятков тысяч людей, оставшихся без крова после пожара. Хотя они были по большей части хорошо организованы добросердечными иностранцами, однако все необходимое выдавалось строго по норме, и с наступлением зимы их обитателям будет нелегко. Единственный выход, кроме этого, оставшийся семидесяти тысячам бездомных (если родственники не могли их принять), – бесплатный поезд до Ларисы

или корабль до Волоса, где строились новые дома. Большинство оставшихся на улице были евреями, и тысячи из них вынуждены были уехать.

Но как ни велики были потери этих людей, Константинос считал, что он потерял больше. Относительные цифры его не интересовали. Он был одним из самых богатых людей в городе, значит и его личное благосостояние пошатнулось сильнее, чем у других. Страховая компания прислала письмо с уведомлением, что при таком количестве прошений о выплатах они не в состоянии предложить ему полную компенсацию, как он ожидал.

– Мне бы не хотелось выслушивать поучения от собственной жены, – отрезал Комнинос. – Ты ведь ничего дурного не видишь в такой жизни, как на этой улице, правда?

– А ты видишь одни недостатки. Так почему бы тебе тогда не найти какое-нибудь другое место?

Ольга не видела, как рука взлетела к ее щеке. Только почувствовала один-единственный хлесткий удар.

Павлина вернулась с прогулки с малышом и обомлела, увидев, что Ольга рыдает на кровати. Когда хозяйка наконец подняла голову от подушки, чтобы объяснить, что случилось, Павлина с изумлением и ужасом увидела на ее щеке красное пятно.

– Какой позор, – сказала Павлина. – Его отец никогда бы такого не сделал. И брат тоже.

– И я же его не поучала, Павлина. Просто высказала свое мнение.

– А он что, ушел?

– Да, и сказал, что больше здесь жить не будет.

Малыша пора было кормить, и разговор прервался, но Ольга понимала: их отношения с мужем уже никогда не будут прежними.

Оправившись от первоначального потрясения после пощечины, Ольга призналась себе и Павлине, что отсутствие в их маленьком доме грозного мужа стало громадным облегчением. Он прислал записку, что вернулся в тот же отель, где жил после пожара. Оттуда было ближе к его стройкам, и это был достаточно благовидный предлог для тех обитателей улицы Ирины, которые могли полюбопытствовать, почему ушел кириос Комнинос.

Все шло спокойно, пока через несколько дней Димитрий не стал плакать гораздо больше обычного, и даже Павлина, гордившаяся своим умением обращаться с младенцами, ничего не могла поделать. Для человека, появившегося на свет меньше месяца назад, этот малыш

отличался на редкость громким и пронзительным голосом.

Ольга с Павлиной по очереди носили его на руках, часами укачивали, но ничто не помогало, он все плакал и плакал и не успокаивался, сколько ни прикладывая его к груди.

Однажды утром неожиданно явился Константинос.

– Ребенка на улице слышно! – рявкнул он, отчасти от злости, отчасти чтобы перекрыть рев младенца. – Он болен, должно быть! Почему за доктором не послали?

– Маленькие часто так кричат, горло пробуют, – стала оправдываться Павлина, заметив, что Ольга слегка вздрогнула от гневного окрика мужа.

Константинос повернулся к ней.

– Скажу доктору Пападакису, чтобы зашел после обеда, – резко сказал он. – Я знаю, Павлина, у тебя имеется некоторый опыт, и все же, думаю, стоит узнать мнение специалиста.

После этого, не считая редких визитов, Константинос устранился. Денег давал достаточно, чтобы прокормиться, но обедать с ними не оставался. Ему было не по себе на этой улице, где скотины было больше, чем людей, и где он сам чувствовал себя как свинья в тесном загоне.

Вскоре на улицу Ирины наведася доктор Пападакис. До сих пор он в этой части города никогда не бывал и, как и Константинос Комнинос, даже не пытался скрыть отвращение. Во время своего краткого визита он сохранял на лице такое выражение, словно забрел сюда случайно, по пути.

Доктор осмотрел мать и младенца и немедленно объявил, что беда в материнском молоке. Его не хватало. Димитрию придется найти кормилицу.

Ольга выслушала этот диагноз не без огорчения. Ее так радовало ощущение близости, когда она кормила ребенка. Но она сделает все так, как лучше для него.

Прелесть жизни на такой многолюдной улице в том, что всегда найдется кому прийти на помощь – подметку ли прибить, крысу ли поймать, записку ли отнести на другой конец города. Решение задачи, кто же будет кормить Димитрия, оказалось прямо под рукой.

– Я Элиаса уже почти не кормлю, – сказала Роза, – а молока у меня сколько угодно. Хочешь, я возьмусь?

Это казалось самым естественным выходом.

И не прошло и дня, как Димитрий сосал уже другую грудь. Живот у него опять был полон, и он снова стал расти и крепнуть под постоянным улыбчивым, обожающим материнским взглядом. Мужу Ольга не стала

говорить, кого взяла в кормилицы, – знала, что он не одобрит.

Даже на этой улице, которая богачу показалась бы просто нищей, существовало крепко сплоченное сообщество. Жизнь бок о бок сделала людей не менее, а даже более терпимыми друг к другу.

Все дети играли вместе – христианские, мусульманские, еврейские, и когда они затевали салки возле местной церкви, или среди развалин синагоги, или у одного из множества минаретов, которые все еще возвышались над городом, никто и не вспоминал, что это святое место. Тем более не важно было им, кто к какой религии принадлежит.

Они понимали, что чем-то отличаются друг от друга. «А почему ты, Исаак, говоришь не так, как мы? – поддразнивал, бывало, кто-нибудь из мальчиков-христиан. – И почему по субботам играть не выходишь?» Маленьких мусульман тоже дразнили. «А я слышал, как мой отец говорил, что твой дядя вчера напился!» – «Ну и что? Мама говорит, если он не сам ракию покупал, так это ничего не значит!» Вот так и жили люди на улице Ирини: мирясь с особенностями друг друга и привычно закрывая на что-то глаза.

В ноябре в городе состоялся судебный процесс, за которым все следили с большим интересом. Супружескую пару, жителей той части города, где предположительно возник пожар, обвинили в поджоге. Константинос, который теперь заходил на улицу Ирини проводить жену реже чем раз в неделю, появился там как раз в тот день, когда огласили вердикт, и яростно настаивал на том, что поджог был преднамеренным.

Подсудимых оправдали, но по складу своего характера Константинос был неспособен поверить, чтобы такая катастрофа могла быть случайностью, – нужно же было на кого-то излить свой гнев после таких потерь.

– Выходит, нас хотят убедить, что гибель нашего города – просто несчастный случай?! – воскликнул он и ударил кулаком по столу.

Вопрос был риторическим. Ольга в эти дни не решалась ни в чем возражать мужу, хотя про себя считала: уже то, что эта пара потеряла во время пожара все свое имущество, говорит в пользу их невиновности.

В это утро Комнинос едва замечал жену и ребенка. Сидел, уткнувшись в газету. Ольга стояла у плиты, помешивая кофе для мужа, и думала о том, что его гнев доходит до кипения ровно за то же время, за какое поднимается темная жидкость в маленькой турке. Она налила кофе в чашечку, поставила перед ним на стол и отошла.

Оправдание несчастных беженцев было не единственным важным



событием этого дня.

Вот уже месяц выходили ежедневные сводки новостей – свидетельство острых противоречий внутри Греции. Как раз перед этим опустошительным пожаром король Константин покинул страну, и его сменил на престоле сын Александр, который, вопреки отцу, поддержал Венизелоса. Очистив армию от роялистов, Венизелос, снова ставший премьер-министром, втянул не слишком прочно объединившуюся Грецию в войну на стороне Антанты. В результате всего этого Леонидас Комнинос отправился сражаться на Македонский фронт, на север страны.

Поставки сукна для армейских мундиров оказались прибыльным бизнесом для Константиноса Комниноса. Каждый день войны приносил ему огромные барыши. Если удастся снова поставить дело на широкую ногу, думал он, миллионы драхм будут у него в кармане. Пусть инфраструктура города разрушена, но он сумеет обернуть ситуацию себе на пользу.

Ольга наблюдала за мужем – за тем, как он быстро листает страницы газеты, почти не обращая внимания на другие новости дня. Он не собирался долго задерживаться над военными сводками, пусть даже его родной брат ведет в атаку солдат где-то на передовой. Единственное, что занимало его сейчас, – поскорее бы вернуться на склад, где в этот день возводили леса.

Комнинос одним глотком выпил кофе, встал, чмокнул Ольгу в щеку, потрепал по головке малыша. Димитрий лежал на груди матери и крепко спал, ничего не зная о мировых бедствиях. Роза Морено только что ушла, теперь малыш несколько часов не шевельнется. Ничто не нарушало его покой и безмятежность.

– Как тут, все хорошо? Как ребенок спит?

Вопросы вылетали один за другим, и ни один из них не требовал ответа. Константинос торопился, и у Ольги не было ни малейшего желания его удерживать.

– Склад будет готов через несколько месяцев, – сказал он. – Потом нужно будет заняться торговым залом. А там посмотрим, как быть с домом.

И он ушел. Ольга стояла в дверях и смотрела, как щеголеватая фигура мужа быстро удаляется по мощеной улице. Темный, хорошо скроенный костюм и фетровая шляпа резко выделялись среди одежд здешних обитателей. А сильнее всего бросалась в глаза его стремительная походка, почти срывающаяся на бег. Ему не терпелось вырваться отсюда.

Месяц за месяцем счастливо текли на улице Ирины. Жара спала, и теперь все чаще сидели дома, а не на улице. Роза Морено приходила пять раз в день, а после вечернего кормления засиживалась еще на час или дольше и приводила с собой ребятишек.

Бывало, что и Ольга с Павлиной заходили в соседний дом к Морено, а к ним присоединялась кирия Экрем с дочерьми. При свете мерцающей свечки начинались рассказы. К кофе всегда подавался щедрый кусок топишти – медового пирога с грецкими орехами, который Роза пекла по традиционному еврейскому рецепту. Держа на коленях Элиаса, она вспоминала истории о том, как ее предки попали в Грецию более четырех веков назад, и рассказывала так, будто они только сегодня сошли на берег.

– Нас было двадцать тысяч – тех, кого вышвырнули из Испании, – говорила она со сдержанным негодованием, – зато когда мы прибыли в Салоники, султан только обрадовался. «Вот глупцы эти католические монархи – изгоняют евреев. Турки стали богаче оттого, что они здесь, а испанцы – беднее!» – воскликнул он. – Иногда она вставляла фразы на ладино<sup>[3]</sup> и тут же переводила. – И жили мы тут припеваючи, даже составляли большинство здешнего населения! Тут стояли десятки синагог, и Салоники стали называть *la Madre de Israel*<sup>[4]</sup>.

Да, поговорить она любила.

– Мы воссоздали золотой век тут, в Салониках, как когда-то в Испании, и встретили здесь все привычные религии вперемешку: ислам, христианство, иудаизм. И жили счастливо все вместе, каждый в своей вере. Даже климат тут оказался такой же, и фрукты такие же – гранаты! – восклицала она улыбаясь.

Мать Саула, что жила вместе с сыном и невесткой, не знала ни слова по-гречески, говорила только на ладино. Она все время сидела в углу, одетая в традиционную одежду сефардских евреев – белую блузку, расшитую жемчугом, длинную юбку, фартук, плотный атласный жакет, отделанный мехом, и шаль, тоже расшитую жемчугом. Иногда она рассказывала сказки, а невестка переводила их на греческий.

Девочек Экрем завораживали ее сказки о далеком городе под названием Гранада, где было когда-то столько мечетей, и замков с башнями, и надписей арабской вязью на стенах. Они жевали кусочки сладкого пирога с орехами и воображали себе это сказочное место – невероятно красивое и экзотическое, куда они, может быть, когда-нибудь поедут вместе. Госпожа Экрем часто читала что-нибудь из своей многотомной «Тысячи

и одной ночи», и в сонном полусвете мать рисовалась девочкам Шахерезадой, рассказывающей свои чудесные сказки о судьбе и предначертанном ей жребии. Она читала по-турецки, а старшая дочь переводила каждую фразу на греческий.

Когда они сидели все вместе в маленькой комнатке у Морено, в воздухе ощущалась причудливая смесь разнообразных ароматов трав и специй, которыми приправляли еду, церковного ладана, свечного воска, сладких булочек, дурмящего запаха кальяна, а еще грязных детских пеленок и срыгнутого молока. Когда домой приходил Саул Морено, от него кисло пахло потом. Он работал без устали, чтобы успеть выполнить все новые и новые заказы на армейские мундиры.

Димитрий привык к тому, что его передают с рук на руки и качают то на одном колене, то на другом, привык слышать самые разные выговоры и видеть над собой разные лица. Он вдыхал десятки разных запахов и любил, когда его тискали разные люди из разных семейств. В первые несколько месяцев своей жизни он видел вокруг одни улыбки. И все время улыбался в ответ.

– Митси, Митси, Митси мой! Митси, Митси, Митси мой, – распевали дети, играя с ним в прятки.

Все эти месяцы Константинос по-прежнему вел реконструкцию своего большого склада у дока, расширил его, прихватив территорию, которую раньше занимало соседнее здание, сгоревшее дотла. Равнодушные формальные визиты на улицу Ирины тоже продолжались, но он никак не мог скрыть своего отвращения к самим ее обитателям и к тому, в каком количестве они ютились в домишках размером не больше его гардероба.

Леонидас же, приехав в родной город на побывку, не обнаружил в себе такой неприязни к улице Ирины и, кажется, даже предпочитал ее городскому центру, где располагалась его собственная убогая квартирка. Павлина всегда встречала его горячей едой, Ольга – улыбкой, а Димитрий – неприкрытым восторгом. Мальчик обожал дядю, который мог целыми часами петь ему песенки или показывать фокусы, доставая неведомо откуда ириски и монетки. Стоило дяде Леонидасу появиться, тут же раздавались радостные крики и смех.

План полной реконструкции города был составлен французским архитектором Эрнестом Эбраром. Предполагалось, что на месте узких улиц проложат бульвары и построят роскошные здания. Это гораздо больше соответствовало тем перспективам, к которым стремились коммерсанты вроде Константиноса Комниноса, и он тоже радовался преобразению города, однако местные мусульмане и евреи не разделяли

его восторгов. Семья Морено с тревогой услышала, что извилистые улочки к югу от улицы Эгнатия, где жили в основном евреи, в прежнем виде восстанавливать не будут, и большую часть общины вытеснят на окраины. То же касалось тех районов города, где обитали мусульмане. Их тоже изгоняли из центра.

По счастливой случайности уцелевший во время пожара квартал, где находилась улица Ирины, не попал в зону перепланировки. Пускай там было тесно, но гармоничный уклад жизни полюбился ее обитателям, и никто из них не хотел перемен.

Константинос закончил перестройку склада, и еще года не прошло после пожара, как склад заработал вновь, принося ту же ежемесячную прибыль, что и раньше, – и даже более того. Теперь можно было приступить к строительству торгового зала.

В ноябре 1918 года война, в которую были втянуты народы со всех концов земного шара, закончилась. Греческие войска, сражавшиеся на Македонском фронте, помогли сломить сопротивление немцев и болгар, затем последовало полное поражение Германии. После того как был подписан мирный договор и победители начали кромать поверженную Османскую империю, Элефтериос Венизелос надеялся, что за греками признают право на контрибуцию. Много лет он пестовал грандиозную мечту: вернуть огромные территории Малой Азии, захваченные турками, и восстановить Византийскую империю. В это время более миллиона греков жило в различных областях Малой Азии, многие из них – в Константинополе. Главной мечтой Венизелоса было отвоевать этот город, отнятый у Греции в 1453 году.

Согласно условиям договора Венизелос надеялся получить контроль над Константинополем и Смирной, городом на западном побережье полуострова. Для многих мусульман в Салониках это было беспокойное время. Союзники только что разгромили их братьев-мусульман в Турции, и они втайне желали победы Османской империи.

Однако еще до того, как мирный договор с Германией был подписан, амбиции Венизелоса бросили греческую армию в новое опасное предприятие. В мае 1919 года, пока старший брат подсчитывал барыши от проданной шерсти и сукна для военной формы, а маленький племянник играл в прятки с приятелями на улице Ирины, Леонидас Комнинос отправился в Малую Азию. При поддержке французских, британских и американских кораблей двадцатитысячное греческое войско оккупировало Смирну, считавшуюся одним из лучших портов в Эгейском море.

Предлогом для вторжения была охрана города от итальянцев, высадившихся у самых его южных границ, но, кроме того, Венизелос заявлял, что должен защитить сотни тысяч проживающих там греков от турок. Пять лет назад почти миллион армян-христиан выселили из их домов и погнали босиком в пустыню на верную смерть. Существовал риск, что греков, населявших эти земли из поколения в поколение, может постигнуть та же участь, и эта мысль укрепляла решимость Леонидаса Комниноса и его солдат.

Оккупация обошлась относительно малой кровью (турецкому командующему приказано было не сопротивляться), однако избежать зверств не удалось, и несколько сотен турок были убиты.

Летом того же года полк Леонидаса предпринял успешное наступление на востоке. Целью его был захват территорий, прилегающих к оккупированной Смирне. По мере того как турецкое национальное движение набирало силу, сопротивление становилось все более отчаянным, но, несмотря на это, греческие войска сумели захватить бóльшую часть западной территории Малой Азии, методично разрушая по пути турецкие деревни и истребляя жителей.

Захват Смирны вызвал в Турции всплеск национализма, и многие турки мечтали о мщении. Они нанесли ответный удар, зверски убив тысячи греков, в том числе живших у Черного моря. Чудовищные зверства были на совести обеих сторон – деревни и города стирались с лица земли.

За все это время Леонидас лишь раз приезжал домой на побывку. Зашел на склад к брату, но бóльшую часть недели провел, сидя в молчании в доме на улице Ирины. Ольга заметила, что он изменился. Казалось, за один год постарел на десять.

Только в одном Леонидас остался прежним. При всей своей усталости он всегда находил время и силы для маленького Димитрия. Однажды, придя в гости, принес ему хулахуп и часами забавлял племянника, снова и снова пытаясь научить его гонять обруч так, чтобы он не падал.

В начале 1921 года полк Леонидаса принял участие в новом наступлении. На этот раз целью была Анкара. Хотя греки и потерпели поражение в двух крупных битвах, им все же удалось захватить некоторые стратегические позиции в центральной части Малой Азии, и к лету казалось, что до окончательной победы не так далеко. Леонидас уже тогда считал ошибкой не воспользоваться плодами победы и не продолжить наступление, однако полку был отдан приказ стоять на месте, и выбора не было – пришлось подчиниться. Как и опасался Леонидас, турки за это время организовали новую линию обороны по ту сторону реки Сакарья,

в ста километрах от Анкары.

В конце концов греки двинулись к реке. При численном превосходстве можно было рассчитывать на легкую победу, однако после двадцатидневного кровопролитного сражения с неприятелем, укрепившимся на возвышенности, у греков подошли к концу боеприпасы, и им пришлось отступить, сдав позиции, отвоеванные двумя месяцами ранее.

Хотя это и не было окончательным поражением, боевой дух в войсках был подорван, и среди высших чинов многие, включая Леонидаса, выступали за отход на запад, к Смирне. Другие же не хотели отказываться от мечты о Константинополе, и в результате грекам пришлось остановиться и удерживать свои позиции. Такое патовое положение сохранялось почти целый год.

Тем временем турки были заняты подготовкой своих войск к решающему сражению. Они ни в коей мере не были заинтересованы в примирении с греками. Руководил кампанией человек, родившийся в Салониках, в каких-нибудь нескольких сотнях метров от Леонидаса. Сорокалетний, с голубыми, как лед, глазами, Кемаль Ататюрк возглавил националистическое движение в Малой Азии и, учредив свое правительство в Анкаре, поставил целью любой ценой разбить греков и вытеснить их обратно в Средиземноморье.

В конце августа 1922 года Ататюрк напал на греческие укрепления, и за несколько дней половина солдат оккупационных войск была захвачена в плен или убита.

Побежденным некогда было рыть могилы в прокаленной солнцем земле, и поля были покрыты незахороненными телами. С многих сняли сапоги и оружие. Стаи иссиня-черных мух со зловещим жужжанием кружили над ними, ожидая, когда стервятники прилетят за своей добычей. Не было ни цветов, ни поминальных обрядов – греческие герои лежали неоплаканные и вскоре уже неузнаваемые.

Оставшиеся в живых бежали на запад, к Смирне, рассчитывая спастись там. Многие из них успевали совершить чудовищные зверства – насиловали, убивали, мародерствовали, пока не разорили попавшееся на пути поселение до основания. В одной мусульманской деревне всех жителей – мужчин, женщин и детей – заперли в мечети и подожгли.

В первую неделю сентября тысячи греческих солдат, и в их числе Леонидас, пришли в Смирну, надеясь покинуть Турцию морем. По пятам за ними шла турецкая армия, охваченная жаждой мести. Три года прошло с тех пор, как турки потеряли этот город, но они никогда не оставляли

намерения его вернуть.

## Глава 5

Леонидас лежал, привалившись к стене зернохранилища. Голова его свесилась на грудь, изодранный мундир покрывали пятна засохшей крови. Из носков сапог торчали грязные, посиневшие пальцы.

В нескольких сотнях ярдов от него на улице показались женщина с девочкой, чистые, свежие, в светлых летних платьях. Девочка шла вприпрыжку и без умолку болтала, с живым любопытством оглядываясь вокруг, – нежная, как сладкий сироп из розовых лепестков. Она понимала, что в городе что-то происходит, но не понимала, что именно.

К груди мать прижимала еще одно дитя, младенца в пеленках из такого же светлого батиста, расшитого розовыми маргаритками.

За последние несколько дней в их прекрасном городе произошли резкие перемены. Несмотря на то что творилось в остальной Турции, Смирна после нескольких беспокойных дней 1919 года, когда ее заняли греческие войска, жила относительно беззаботно, и ее обитатели странным образом не ощущали на себе потрясений, прокатившихся по всей Малой Азии. В последние теплые летние дни на улицах распродавали урожай инжира, абрикосов и гранатов, люди, одетые в самые разнообразные одежды – здесь можно было встретить все, от персидских тюрбанов до турецких фесок, – торговались из-за цен на опиум, атлас и ладан на дюжине разных языков. В опере весь предыдущий месяц был ежевечерний аншлаг, кафе на открытом воздухе были переполнены, и струнные квартеты играли серенады для посетителей.

Еще на прошлой неделе по этим улицам плыл аромат жасмина и свежесдобитого хлеба из соседней булочной. Теперь тут стоял тяжелый запах немых мужских тел. Несколько дней назад, после внезапного появления тысяч греческих солдат, в город начали стекаться и мирные беженцы. Они тоже спасались от турецкой армии и оказались в таком же отчаянном положении.

Население Смирны охватил страх, особенно когда поползли слухи, что турецкая конница уже на окраинах города.

– Идем же, любовь моя, поторопись чуть-чуть, – проговорила молодая мать со скрытой тревогой.

Проходя мимо, она бросила косой взгляд на греческих солдат, лежащих в ряд, в одинаковых позах, склонив головы на одну сторону, раскинув



ноги. Казалось, их скосили выстрелы расстрельной команды. Это полубеспамятство одолело их после тысячекилометрового перехода без еды и питья, не считая награбленного по дороге в городах и деревнях. Они уже не могли пошевелиться от изнеможения.

И тут женщина заметила, что взгляды солдат направлены на них.

– Идем домой. Скорее! – сказала она и чуть ли не бегом кинулась прочь, таща ребенка за руку.

Странная и жуткая тишина на улицах, мертвые тела, которые словно вдруг ожили, затаившиеся собаки – все это было непривычно для Смирны и взволновало женщину настолько, что она даже перестала чувствовать страх. Нервы у нее напряглись, как вот эти шелудивые псы, прячущиеся в тени. Как и они, она ощущала неведомую, но близкую угрозу.

В это время в темном сознании Леонидаса кружились в дьявольском танце воспоминания и видения. Он еще не знал, что все, чему он был свидетелем и что совершил сам, уже никогда не сотрется из памяти. Сладким сном не будет возврата. С немногими уцелевшими своими людьми он вошел в Смирну несколько дней назад, надеясь уплыть отсюда в Салоники. Британские, французские, итальянские и американские военные корабли спокойно стояли в гавани, но ни одного греческого флага не было видно. Они опоздали. Греческие суда уже ушли, увозя тысячи их товарищей по оружию.

Измученные долгим переходом, они нашли на улице местечко для отдыха. Потом отыщется какой-нибудь выход, а пока они погрузились в тревожный сон прямо на твердых камнях мостовой.

Через несколько часов Леонидаса накрыло серым одеялом. Нет, это было не то мягкое стеганое покрывало, которое когда-то накидывала ему на плечи мать, чтобы теплее было зимой. Это была пелена темного дыма, вползавшего через ноздри в легкие. Ему снился пожар, уничтоживший их семейное предприятие. Тот жаркий день и разрушительное буйство огня ожили в памяти с необычайной ясностью. А затем послышались крики:

– Пожар! Пожар! Горим!

Крик разбудил Леонидаса, и он понял, что едкий, горький запах ему не приснился. В Смирне до сих пор сохранялся относительный порядок, учитывая то, что ее население за последние дни увеличилось на несколько сотен тысяч, но теперь ею овладел хаос, и город ходил ходуном, как во время землетрясения. Люди бегали по улицам с криком и плачем. В глазах богатых и бедных застыл один и тот же ужас. Над Смирной встало зарево.

Солдаты разом вскочили на ноги. Страх прогнал усталость. Поток людей пронеслись мимо, к морю, кто-то прижимал к груди детей, но большинство бежали с пустыми руками. Попадались стайки ребятишек, высыпающих из школ и приютов, мелькнула богато одетая женщина, успевшая схватить самую дорогую шубу и теперь резко выделявшаяся из толпы в своих соболях. Беженцы, что стеклись в город за последние несколько дней, судорожно сжимали в руках узлы с пожитками, которые уже протащили за собой сотни, если не тысячи километров. Все они бежали в одном направлении. К порту.

Армянский квартал Смирны подожгла турецкая конница, что ворвалась в город, сея гибель и разрушение. Греки, прятавшиеся в своих домах, на верхних этажах, с ужасом слышали, как внизу выбивают двери и обыскивают комнаты. Потом до них доносился запах бензина, которым поливали стены дома, прежде чем поджечь. Выбор был небольшой: обнаружить себя, и тогда их искромсают на куски, или же умереть в огне.

Слухи распространялись быстрее пожара: об изнасилованиях и увечьях, об отрезанных женских головах на каждом столбе, о крысах, пожирающих человеческие внутренности. Какие бы преступления ни совершили греки, турки намерены были отплатить за них сторицей. Единственной надеждой было добраться до моря. Смирна рушилась на глазах.

– Надо как-то выбираться, – сказал Леонидас солдатам; он чувствовал, что не оправдал их надежд, что это из-за него они застряли в этом городе.

– Да ведь в таком виде мы живые мишени, – сказал один из совсем юных новобранцев, дергая себя за рукав форменной рубашки.

– Турки никого не помилуют, – согласился капитан. – Но будет, пожалуй, безопаснее, если мы разделимся и станем пробиваться в порт порознь. Так меньше будем бросаться в глаза.

– А где соберемся?

– Надо попасть в любую лодку, в какую удастся. Встретимся в Салониках.

Для людей, которые два года провели вместе, прощание вышло не слишком теплым, но теперь настало время каждому самому о себе позаботиться. Леонидас смотрел, как потрепанные остатки его полка смешиваются с людским потоком, несущимся к морю. Вскоре их было уже не различить в толпе.

Прежде чем бежать следом, Леонидас оглянулся. Столбы огня и дыма вздымались высоко в небо. Земля у него под ногами вдруг качнулась от взрыва, а затем он услышал грохот рушащегося дома, звон бьющегося стекла, громыхание рассыпающихся кирпичей. Как и сотни тысяч людей

вокруг, он понял: времени на то, чтобы спастись из горящего города, остается совсем немного.

В порту местные жители и беженцы дрались за место хоть в какой-нибудь лодке. Первоначальный порядок, когда люди чинно становились в очередь, надеясь, что места хватит, сменился хаосом. Теперь, когда город пылал и в каких-нибудь нескольких сотнях метров отсюда творились чудовищные зверства, всех охватила паника. Страх нарастал с каждым новым человеком, прибывающим к толпе, что уже заняла собой площадь ровно в километр шириной и несколько сотен метров длиной. Это была катастрофа.

Леонидас, не обремененный ни спутниками, ни пожитками, сумел пробиться в центр толпы. Он видел, как уходят в море маленькие лодчонки, выше бортов набитые стульями, матрасами и чемоданами. В другие лодки, рассчитанные на одного человека с рыболовной сетью, набивалось человек по двадцать. Слышался плеск: люди бросались в воду в надежде вплавь добраться до какого-нибудь итальянского судна и попросить убежища. Иногда раздавался выстрел, и пловца снимал турецкий снайпер.

Леонидаса опалило стыдом. Каждый убитый грек – это возмездие за мертвого турка. В какую же бессмысленную игру это превратилось! Смерть человека, который только что на его глазах ушел под воду, была, по крайней мере, быстрой, а он-то знал, сколько раз он сам и его люди старались, чтобы страдания жертвы, прежде чем она наконец испустит дух, были как можно более долгими и мучительными.

До сих пор видения позора и ужаса последних месяцев преследовали его только по ночам, а теперь отравляли каждый миг его существования и наяву. Он отвел взгляд от воды и стал пробиваться назад, против потока людей. Глаза у него слезились от дыма, из груди рвались рыдания. Нельзя ему бежать. У него столько преступлений на совести, как же он может лезть вперед, на место кого-то другого – мужчины, женщины, ребенка? Любой из них заслуживает жизни больше, чем он. В эти месяцы боев солдат захлестнула волна ненависти, и им казалось, что любое их действие оправданно, а теперь все это сменилось выворачивающим душу отвращением к себе. Омерзительные картины зверских жестокостей вставали у него перед глазами – одна за другой, еще и еще... Порт Смирны исчез – вместо него перед Леонидасом проплывали мрачные воспоминания последних недель.

Тот, кто не был занят исключительно собственным спасением, непременно заметил бы худого, как скелет, обожженного солнцем

офицера, бредущего, словно в забытьи, прочь от моря. Его всклокоченные волосы были белыми от пыли, слезы текли по изрытому глубокими морщинами, раньше срока постаревшему лицу.

Навстречу ему шла женщина с двумя девочками в вышитых платьях. «Афины?» – то и дело спрашивала она и направлялась туда, куда ей указывали – в очередь к кораблю, плывущему в Пирей, ближайший к Афинам порт. Ее вежливость и красота служили пропуском – толпа раздвигалась, чтобы дать дорогу ей и детям. Жалобный плач малышки тронул бы и каменное сердце.

В это время совсем близко рухнул дом, разлетелись искры. Женщина стояла уже в нескольких метрах от начала очереди.

Тлеющий уголек попал девочке на рукав. Он тут же прожег материю, опалил кожу, девочка громко закричала от боли и выпустила руку матери, чтобы сбить пламя. Мать тем временем неуклонно пробивалась вперед, и в следующий миг ее уже усадили в маленькую лодку.

Заметив, что дочери рядом нет, женщина закричала:

– Где моя Катерина? Где моя девочка? Катерина! Катерина! Катерина! Малышка моя!

Она стала требовать, чтобы ее выпустили обратно, но при ее отчаянной попытке вскочить маленькая лодка начала раскачиваться, и своей паникой она явно подвергала опасности остальных.

– Люди бьются за то, чтобы попасть в лодку, а не на берег сойти! – проворчал какой-то здоровяк, хватая ее за руку и усаживая на место. – Ну-ка, сядьте быстро, черт возьми, иначе нам отсюда не выбраться! Кто-нибудь другой вашего ребенка захватит.

Между пятилетней девочкой и морем уже стояла стена людей, сквозь которую малышке не было видно матери.

Девочка держалась на удивление спокойно. Это был ее родной город, и она не сомневалась, что найдет кого-нибудь, кто ей поможет. Сквозь водоворот криков, ужаса и огня она побрела из порта. Обожженная рука нестерпимо болела.

Тем временем Леонидас все так же, ничего не видя перед собой, неровным шагом шел прочь. Голову сверлила боль, крики отдавались в ней, словно звучали не вокруг, а прямо под черепом. Он опустился на землю у какой-то двери и зажал уши ладонями, чтобы не слышать царящего вокруг хаоса.

Наконец он поднял глаза, словно почувствовав на себе детский взгляд. Девочка в белом платье была похожа на ангела, только без крыльев, а пожар в отдалении, у нее за спиной, придавал ей какое-то

сверхъестественное свечение. Это была фея, небесный дух, и однако же она плакала.

Вид ее слез заставил Леонидаса встряхнуться, и он поднялся.

Рядом с этим маленьким ангелом он почувствовал себя храбрецом. Он увидел, что девочка держится за руку.

– Больно, – сказала она без робости.

– Дай я посмотрю.

Обожженное место нужно было чем-то перевязать, и Леонидас, чуть поколебавшись, оторвал свой рукав.

– Надо бы тебя перебинтовать как следует, ну да ладно, пока что и так сойдет, – сказал он, обвязывая девочке руку; грубый хлопок цвета хаки смотрелся дико рядом с тонким белым муслином, украшенным, как заметил Леонидас, искусно вышитыми цветами.

– Ну и куда же ты идешь? Почему бродишь здесь одна?

– Мама с сестричкой уплыли... – Она повернулась и показала рукой в сторону моря. – На лодке.

Ее наивная доверчивость была поразительна.

– Ну так, значит, надо и тебя посадить на лодку, так?

Девочка протянула руки, чтобы Леонидас мог поднять ее, и они вместе двинулись обратно, к шумной толпе.

– Как тебя зовут? – спросил Леонидас. – И откуда ты?

– Меня зовут Катерина. И я ниоткуда.

– Откуда-нибудь должна же ты была взяться, – шутливо проговорил Леонидас, довольный, что удалось отвлечь ее разговором.

– Мне не надо было ниоткуда браться. Я сразу тут была.

– Значит, ты здесь живешь? В Смирне?

– Да.

Как ни странно, Леонидас поймал себя на том, что улыбается. Эта детская отстраненность от происходящего казалась почти мистической. Даже отчаяние его как-то поубавилось.

Катерина была легче пушинки. Как фея, подумал он. До сих пор он носил на руках только одного ребенка – своего племянника Димитрия, да и то больше года назад. Но и тогда Димитрий, кажется, весил больше, чем эта маленькая особа. Даже сквозь густой запах пота и дыма, окружавший Леонидаса, он чувствовал, что от девочки, так крепко обхватившей его руками за шею, пахнет чистым бельем и свежими цветами.

Плотная толпа, слыша его властный голос и заметив то, что осталось от офицерской формы, расступилась и дала им дорогу. Леонидас чувствовал,

как хрустит под ногами битое стекло, и старался не запнуться о валяющуюся под ногами брошенную домашнюю утварь. Ребенок, тем более босой, а таких тут было много, и минуты не продержался бы один в этом хаосе.

Леонид обратился к женщине, которая, судя по всему, руководила посадкой, и объяснил, что девочка пострадала при пожаре. Вскоре ей уже помогли забраться в лодку.

– Смотри, рукав мой не потеряй! – весело прокричал Леонидас. – Вернешь потом!

– Честное слово! – крикнула в ответ девочка.

Ее улыбка была первой улыбкой, какую он видел за этот год. За все время на фронте ему редко случалось встречать такой стоицизм.

Леонидас махал вслед девочке, пока лодка не превратилась в точку на горизонте. А затем повернул назад, к пылающим руинам города.

## Глава 6

С каждым гребком весла большой корабль, стоявший на якоре в гавани, становился все ближе, и Катерина все сильнее радовалась при мысли, что сейчас увидит маму. Когда они подошли к борту, она ухватилась за металлические перекладыны трапа и начала карабкаться вверх. Ожог давал о себе знать, и, когда чьи-то руки подхватили ее и подняли на палубу, она дернулась – одна из этих рук задела болезненное место. Женщина, искренне желавшая помочь, погладила девочку по голове, дала кусок хлеба и кружку воды и усадила ее на скамейку. Корабль был битком набит женщинами и детьми. Мужья и отцы ушли на фронт, и тысячи их полегли только за последние месяцы. Почти все здесь были вдовами.

– Ты что, одна? – спросила женщина, видимо ответственная за порядок.

– У меня мама тут, – ответила Катерина. – Только я не знаю, где она.

– Тогда, может, сходим погуляем, глядишь, и найдем ее?

Она взяла Катерину за руку, и они вместе прошли по всему кораблю, вдоль и поперек. Многие были вне себя от горя. Кто-то получил ранение, кто-то сидел и раскачивался из стороны в сторону, подавленный случившимся за последние сутки.

Катерина крепче ухватилась за руку женщины.

– Ты можешь описать, как она выглядит? – спросила та. – Во что одета?

– У нее такое же платье, как у меня, – уверенно ответила Катерина. – Когда она шьет платье себе, то и мне всегда шьет такое же.

– Тогда на ней очень красивое платье! – улыбнулась женщина. И хотя платье девочки испачкалось, видно было, что оно красивое. Расшито маргаритками, отделано каймой, странно только, что один рукав словно бы из другой материи. – Что это у тебя с рукой?

– Обожглась, – ответила Катерина.

– Боже мой! Не беда, вот найдем твою маму и посмотрим, что там у тебя, – проговорила женщина озабоченно. – Ну что, не видно ее на палубе? Если нет, так, значит, она наверняка внизу.

– У нее еще ребеночек, – словоохотливо прибавила Катерина, – два или три месяца всего.

Женщина уже начинала понимать, что их поиски могут оказаться тщетными, и пыталась отвлечь девочку разговором: расспросила о ребеночке – мальчик это или девочка, как зовут и так далее. Минут через

двадцать стало ясно, что маму они не найдут. Женщине очень не хотелось омрачать беззаботное настроение Катерины, но рано или поздно все равно пришлось бы сказать ей, что дальше искать бесполезно. Ее мамы нет на этом корабле.

– Я уверена, мы ее найдем, а пока придется попросить кого-нибудь присмотреть за тобой...

Подошла еще одна весельная лодка, чтобы выгрузить на борт новых пассажиров. Места осталось совсем мало, и женщина, помогавшая организовывать эвакуацию, с беспокойством огляделась.

– Прошу прощения! – обратилась она к женщине, сидевшей между двумя детьми на большущем узле, в котором теперь было все их имущество. – Вы не могли бы немного присмотреть за этой крошкой?

Женщина протянула к Катерине руки.

– Ну конечно, иди сюда, садись с нами, – ласково проговорила она. – Подвинься, Мария.

Малышка слышала, что женщина говорит с каким-то незнакомым акцентом, но легко понимала ее. Одна из двух девочек, сидевших по бокам, придвинулась поближе к матери, чтобы дать место Катерине.

– Устраивайся поудобнее, – сказала женщина. – Меня зовут кирия Евгения, а это мои дочери Мария и София.

Уже смеркалось. Взревели двигатели, и тяжелый лязг поднятого якоря возвестил, что корабль отправляется. Катерина склонила голову на плечо Марии, и скоро все три девочки заснули, убаюканные легкой качкой. Они были в числе последних двухсот тысяч эвакуированных из Смирны в эти ужасные дни.

На рассвете корабль остановился у пристани.

Вчера Катерина от усталости даже не заметила, что две девочки, с которыми она вместе ехала, были совершенно одинаковыми. Она переводила взгляд с одной на другую и терла глаза, не понимая, что это такое – разыгрывают ее, что ли? Девочки в один голос хихикали. Они уже привыкли к такой реакции и часто ради озорства пользовались своим необычайным сходством.

– Кто из нас кто? – спросила София.

– Ты Мария! – ответила Катерина.

– Не угадала! – радостно закричала София. – Теперь закрой глаза!

Катерина закрыла, а когда София крикнула: «Готово!» – открыла снова.

– Как меня зовут?

– Мария!



– Опять не угадала!

Никогда еще Катерина не видела такого поразительного сходства. Волосы у девочек были одинаковой длины – до миллиметра, красные платья неотличимы друг от друга. Даже веснушки на носах были одинаковые. Пароход простоял около часа, пока им всем позволили сойти, и за это время девочки успели поиграться с Катериной во всевозможные игры, которые были основаны на их сходстве. К тому времени как настало время сходить на берег, они уже крепко подружились. Втроем они пошли за Евгенией по трапу, держась за руки, как бумажные куклы в гирлянде.

Какой-то военный бросил узел Евгении в грузовик, и все вскарабкались следом.

– Куда мы едем? – спросила кирия Евгения, но ответа солдата Катерина не расслышала.

Места вокруг были незнакомые, и в первый раз с момента разлуки уверенность в том, что мама где-то рядом, оставила ее. Она уже так давно ее не видела! Целый день? Или целую неделю? Или месяц? Она прислонилась к какому-то ящику, подтянула колени к груди и тихо заплакала, так, чтобы никто не видел. Она знала – так будет лучше.

Как-то, совсем недавно, мама усадила ее рядом и сказала:

– Ты должна держаться, малышка.

Катерина помнила, как мама сама плакала тогда, и чувствовала, что хотя бы ради нее нужно постараться не плакать.

– Твой папа не вернется с войны. Он был очень смелым и погиб, спасая товарища.

Катерина гордилась отцом и в свои годы уже умела скрывать печаль, чтобы не портить настроения другим.

Когда они добрались до лагеря, где уже расположились десятки тысяч прибывших ранее, вера в лучшее снова проснулась в Катерине, и она стала расспрашивать кирию Евгению:

– Куда они нас привезли? Почему сюда? А моя мама тут?

– Видишь ли, Катерина, – сказала кирия Евгения так мягко, как только могла, – мы сейчас на острове, он называется Митилини. Но кто-нибудь наверняка постарается найти...

– Но мама хотела в Афины! – встревоженно сказала девочка. – Это далеко?

– Не так уж далеко, – успокаивающе ответила Евгения, сжимая ее руку.

Ни к чему было говорить ребенку правду. Те, кто организовал эвакуацию из Смирны, думали только о том, как вывезти такое огромное количество людей в безопасное место. Главное было – спасти их от огня

и от разъяренных турок, где уж тут следить, кто куда уехал и с кем. Беженцев был миллион, если не больше, и надежды отыскать среди них мать Катерины почти не было.

– Я уверена, что рано или поздно мы ее найдем, моя хорошая.

– Я есть хочу, – захныкала София, когда они проходили мимо очереди за супом. – Можно, мы чего-нибудь поедим?

– Сначала давайте найдем, где мы будем спать, а потом уж поедим чего-нибудь, – ответила мать.

По тому, сколько народу здесь собралось, было понятно, что в эту ночь место в палатках достанется лишь немногим. Всех разместить было просто негде.

Несколько часов они терпеливо ждали, когда их устроят, и все это время глаза Катерины так и стреляли во все стороны в поисках мамы. Никто не сказал ей, что Митилини почти в двухстах пятидесяти километрах от Афин.

В палатке София продолжала хныкать. Катерина уже заметила, что, хотя близнецы с виду и одинаковые, в других отношениях очень даже различаются.

Еще на корабле София похвасталась, что она появилась на свет раньше. Мария заспорила: разница, мол, всего-то в несколько минут, но, видимо, то, что она первой пришла в этот мир, придало Софии уверенности в себе, и она привыкла верховодить во всем. Сестра Мария была ее отражением. Словно эхо, она повторяла слова сестры, не имея своего мнения, и определенно была мягче по характеру.

Наконец усталые девочки улеглись на соломенный матрас и провалились в глубокий сон, забыв о голоде.

Евгения стояла у входа и разглядывала ряды палаток. Большинство беженцев потеряли все, что имели: и имущество, и родных. Многие из них были погружены в какое-то забытие, ходили словно во сне, без всякого выражения на изрезанных морщинами лицах. Евгения заметила одну из здешних обитательниц, выбравшуюся из соседней палатки, и поздоровалась. Теперь они живут меньше чем в метре друг от друга, их разделяет лишь тонкий холст – значит эта женщина ее соседка. Но та, если и заметила Евгению, ничем этого не показала.

И почти сразу же Евгения поняла почему. В подоле длинного широкого платья, из тех, какие носили обычно в деревнях понтийские греки, женщина держала больного ребенка. Евгения заметила, что женщина плачет, но сам ребенок лежал без движения и не издавал ни звука.

Женщина прикрыла лицо платком и быстро зашагала прочь,

так и не взглянув Евгении в глаза. Дизентерия. В очереди ходили слухи, что она уносит сотни человек ежедневно, и в груди у Евгении похолодело от страха. Хорошо бы поскорее убраться из этого места.

Девочки проснулись и наконец поели хлеба и помидоров с молоком. Уже больше суток они сидели голодными. Близнецы быстро привыкли к Катерине как к одной из множества перемен, произошедших в их жизни. За последние месяцы все так резко перевернулось с ног на голову, что лишний человек в семье на этом фоне казался мелочью.

Как только все поели, Евгения отвела Катерину в пункт первой помощи. Медсестра осторожно размотала «бинт» на ее руке. Под ним кожа слезла от плеча до локтя.

– Надо поскорее обработать и сразу же перевязать, – сказала медсестра, даже не пытаясь скрыть удивление при виде такого большого ожога. – Болит?

– Да, но я стараюсь об этом не думать, – ответила девочка.

Катерина морщилась и вздрагивала, пока медсестра смазывала рану мазью, но вскоре болезненный ожог обмотали ослепительно-белым бинтом, и девочка с гордостью посмотрела на свою аккуратно перевязанную руку.

– Приведите ее ко мне снова через четыре дня, – сказала медсестра Евгении. – Надо будет посмотреть, не воспалилась ли рана. Тут бактерий хватает, не успеешь оглянуться, как подхватишь заразу...

Евгения взяла Катерину за руку и торопливо вывела из палатки. Она сердилась на медсестру: зачем же при ребенке говорить такие вещи!

Они пошли по узким «улицам» лагеря к своему ряду палаток, где их дожидались близнецы. И вдруг Катерина что-то вспомнила:

– Кирия Евгения! Нам нужно вернуться! Я там кое-что забыла.

Отчаяние в голосе ребенка не оставляло выбора. Через несколько минут, нетерпеливо дергая Евгению за руку, Катерина притащила ее обратно в палатку медпункта. Девочка подошла прямо к медсестре, осматривавшей раненую женщину:

– Мой старый бинт у вас остался?

Медсестра прервала работу и бросила на девочку грозный взгляд.

Катерина огляделась. Пол уже подмели, но она заметила у входа кучу мусора.

– Вот он! – воскликнула она с торжеством, подбежала и вытащила свой рукав.

– Ну что ты, Катерина, он же грязный. Может, лучше бросить? –

уговаривала Евгения, помня, что говорила медсестра о смертоносных бактериях, кишащих в лагере.

– Но я же обещала... – Катерина намертво вцепилась в рукав.

Евгения знала, как девочки умеют упрямитесь, и видела, какая решимость написана на лице малышки.

– Ну, так и быть, только придется выстирать его хорошенько, как только будет возможность.

Выходя из палатки, Евгения заметила брезгливое выражение медсестры. Не грех и порадовать ребенка хоть чем-то в таких обстоятельствах, сказала она себе. По довольному лицу Катерины было ясно, как важно ей было найти эту тряпку.

– Я обещала вернуть его солдату, – пояснила она. – Тут еще даже одна пуговичка осталась.

Евгения присмотрелась повнимательнее. И правда, к рукаву была пришита пуговица. Она потускнела, но еще держалась на одной нитке.

Катерина сунула рукав в карман, и они вернулись в палатку к близнецам.

Мысль о том, как отыскать маму, по-прежнему занимала Катерину, и они с Евгенией часами бродили по рядам самодельных палаток в надежде ее найти. Им встречалось много понтийских греков, таких же, как Евгения и ее дочери, живших раньше у Черного моря. Евгения даже нашла кое-кого из своей деревни под Трабзоном. По пути от родного дома к Смирне, за тысячу километров, родные и друзья потеряли друг друга, и теперь женщина была безумно рада снова встретить знакомых.

Катерина же так и не увидела ни одного знакомого лица из Смирны, и руководство лагеря подтвердило Евгении, что женщина по имени Зения Сарафоглу в их списках не значится.

Евгения молча приняла то, что Катерине, видимо, придется остаться с ними. Здесь все были в схожем положении: разбитые семьи склеивались в новые, кого-то теряли, кого-то принимали к себе. Мария с Софией уже привыкали считать прибывшую к ним малышку своей сестренкой. Как и у многих девочек в девять лет, у них был силен материнский инстинкт. До сих пор у них была только одна кукла на двоих, а теперь они получили новую, да еще такую большую. Катерина с удовольствием принимала их заботу и даже позволяла им менять повязку, когда приходило время. Ожог заживал, но на руке остались глубокие шрамы.

Теплая октябрьская погода располагала к тому, чтобы большую часть времени играть на улице, а так как в лагере было много детей, девочки быстро нашли себе новых приятелей. Но недели складывались в месяцы,

стало холодать, и все чаще они сидели в палатке. Среди пожитков, что Евгения тащила с собой по равнинам Малой Азии, нашлось немного шелка для вышивания и шерсти, оставшейся от вытканного ковра. Под ее руководством девочки начали проводить дни за шитьем лоскутных одеял из кусочков материи, собранных в лагере. Иногда сюда привозили старые вещи от американских благотворительных организаций, и им перепадала кое-какая одежда, которую, если иметь достаточно фантазии, можно было украсить разноцветной вышивкой или аппликацией. В один прекрасный день, когда Марию одолела скука, она воткнула иголку в полог, закрывающий вход, и вскоре их «дверь» уже вся была покрыта вышивками: девочки «писали» на ней свои имена красными, зелеными и голубыми нитками, а потом украшали цветами и листьями.

В качестве последнего штриха Евгения сама вышила надпись: «Дом, милый дом». Это означало то, чем стала для них палатка.

Во всяком случае, из памяти детей тяжелые воспоминания о разлуке с домом начали уже изглаживаться, и их сны снова стали мирными и сладкими.

В основном старания взрослых хоть чем-нибудь порадовать ребятишек приносили свои плоды, но сами они слишком хорошо понимали, что обстановка в лагере с каждым днем становится тяжелее, и начинали изнывать от оупляющего бездействия.

Евгения отдавала себе отчет, что к прежней жизни в Малой Азии возврата нет и не будет, но никак не могла привыкнуть к мысли, что им придется навсегда остаться на неприветливом Митилини. Они сидели и выжидали. Многие в лагере уже умерли от болезней, и никогда нельзя было быть уверенными, что следующими не станут они. «Что за ирония судьбы, – думала Евгения, – пережить такие ужасы в Смирне и умереть здесь!»

Еды хватало, но зима давала о себе знать. Становилось все холоднее, зарядили сплошные ливни.

Стали доходить слухи, что дипломаты прилагают усилия к разрешению ситуации. Хоть какое-то утешение. Для детей время не имело большого значения, но взрослые в большинстве своем чувствовали неумолимое течение дней и думали о том, какую часть жизни им придется похоронить здесь.

Но вот в один прекрасный день они услышали радостную новость: всех их повезут на материк. Несмотря на большое расхождение в цифрах, состоялся договор об официальном обмене гражданами между Грецией и Турцией.

После опустошительных войн последних лет, посеявших ненависть и насилие, политики не видели другого выхода. Мусульмане уже не могли чувствовать себя в безопасности в Греции, а греки не могли больше мирно уживаться в Турции. Для Турции, с ее обширными территориями и огромным населением, этот обмен мог пройти относительно безболезненно, а вот Греции он нес разительные перемены: количество жителей маленькой, бедной страны за несколько месяцев должно было увеличиться с четырех с половиной до шести миллионов человек. Последствия внезапного прироста населения на двадцать пять процентов усугублялись тем, что бóльшая часть прибывающих приезжала почти ни с чем, не считая того, что было на себе.

В январе 1923 года в Лозанне было подписано соглашение. В течение года беспрецедентное переселение из одной страны в другую должно было завершиться.

## Глава 7

Всю весну, пока шли приготовления к отправке, в лагере царило нетерпеливое ожидание. Катерина слышала все новые и новые разговоры о том, куда их могут вывезти, а в голове у нее крутилось одно: «Афины-Афины-Афины...» Это было последнее слово, которое она слышала от мамы. Афины.

Когда появилась надежда снова увидеть маму и сестру, Катерину охватило радостное волнение и она начала считать дни. Каждый день малышка вышивала маленький крестик на подоле своего платья и надеялась, что они с мамой встретятся раньше, чем она вышьет крестики по всему подолу.

Взрослые тоже, судя по всему, радовались предстоящему отъезду. Им обещали новые дома, и Катерина была уверена, что там-то она и встретится со своей семьей.

Наконец к Митилини пристал огромный корабль, и все беспокоились, внесено ли их имя в список пассажиров. Получив подтверждение, Евгения с девочками тут же принялись укладывать вещи.

За последние месяцы в лагерь прибыло еще много семей, и условия становились все хуже и хуже. В весеннем тепле болезни распространялись стремительно, и часто безутешные родители теряли еще недавно здоровых детей за считанные часы.

Собирая свои пожитки, Евгения с девочками не жалели, что приходится уезжать. Расшитый полог у входа в палатку, с цветами и листьями вокруг слов «Дом, милый дом», уже не радовал.

У пристани царили шум и суматоха. Всех охватило приподнятое настроение, словно в праздник «Похвалы Богородице», и впервые люди ощутили на лицах тепло весенних солнечных лучей.

Те, кто уже был на борту, кричали и махали оттуда друзьям. Им не терпелось отправиться в путь, радостное волнение и ожидание переполняли их. Наконец-то перед ними забрезжила надежда на новую жизнь, со всеми возможностями, какими манили Афины.

Катерина стояла перед Евгенией, а рядом с ней, по бокам – близнецы. Их очередь уже подходила, и тяжелый запах дизельного топлива и машинного масла казался самым сладким ароматом.

Евгения подняла глаза. Ее соседка по палаточной «улице» махала ей

и что-то кричала с верхней палубы. Все новые и новые пассажиры толкались на борту, и вскоре знакомое лицо пропало в нахлынувшей толпе. Корабль был набит битком.

Чиновник в форме начал опускать перегородку.

– Прошу прощения. Все места заняты, кирия. Точнее сказать, корабль уже переполнен. И так уже пропустили на сто человек больше, чем это старое корыто способно увезти.

– Но неужели еще четверо не поместятся?! Велика ли разница?

– Придется подождать следующего.

– Но когда же он придет? – спросила Евгения, стараясь сдержать слезы.

– Ожидаем. Когда – сказать не могу. Но всех с этого острова вывезут в должный срок, – ответил чиновник вежливым, бесстрастным тоном человека, который ночью будет спать в собственной постели.

Все эти события затронули его жизнь лишь в одном отношении: ему подняли жалованье. За последние несколько дней он сорвал немалый куш: брал взятки у тех, кому было чем заплатить, чтобы попасть в самое начало списка.

В смятении они смотрели, как корабль отходит от пристани, и Евгения видела, как лица друзей уплывают все дальше и дальше и становятся неразличимыми.

Чиновник встал к ним спиной, словно хотел загородить от уходящей надежды.

Евгения бросила узлы с пожитками на землю, чуть ли не к ногам чиновника.

– Ну так будем сидеть здесь, – сказала она. – Тогда первая очередь будет наша.

– Как вам угодно, – надменно проронил тот и отошел.

Меньше чем через час на горизонте показался второй корабль. Через какое-то время, показавшееся мучительно долгим, он тоже пристал к берегу, и снова начался утомительный процесс регистрации пассажиров. Евгения отправила девочек посмотреть, не найдут ли они чего-нибудь поесть, и назвала имена – свое и детей – новому чиновнику. Прежний куда-то ушел, а этот, новый, был, кажется, более доброжелательным.

– А сколько плыть до Афин? – спросила Евгения.

– Вас повезут не в Афины, – буднично ответил тот, даже не поднимая головы от бумаги, в которую записывал имена, – а в Салоники.

– В Салоники! – Евгению охватила паника. – Но мы не хотим в Салоники. В Салониках мы никого не знаем. Из моей деревни все уехали в Афины!



– Что ж, дело ваше. Вон сколько народу стоит за вами в очереди, они с радостью займут ваше место на корабле. И я не могу их задерживать.

Евгения прибегла к последнему средству:

– Но Катерина не моя дочь! Ее мать в Афинах! Мы должны ее туда отвезти.

На чиновника это не произвело впечатления. Такие недоразумения в это время стали делом обычным.

– Как бы то ни было, корабля до Афин нет, есть только этот, до Салоников.

– А еще один, в Афины, будет?

– Понятия не имею – и никто не знает. Послушайте, кирия, это не увеселительная прогулка, так что лучше решайте поскорее, хотите вы попасть в список пассажиров или нет. – Он пододвинул ей бумаги на подпись. – Если нет, отойдите, пожалуйста, в сторону... – прибавил он нетерпеливо. – За вами стоят сотни людей, которым, по всей видимости, не настолько важно, куда отправляться.

Евгения смотрела, как уголок листка приподняло ветром. Стоит ему дунуть посильнее – и ее место на корабле улетит вместе с бумагой.

На решение оставались доли секунды. В Афины отправились все ее земляки, но зато Салоники ближе. А главное – не было никакой уверенности, что представится другая возможность.

– Мы едем! – сказала она и прихлопнула бумагу ладонью. – Эти места наши.

– Отлично, – одобрил чиновник. – Подпишите, пожалуйста, вот здесь, что вы мать этим двум девочкам, и... вот здесь – что берете на себя ответственность за третью.

Евгения, больше не колеблясь, поставила в двух строчках неуклюжие подписи. У нее никогда не было сомнений, даже на минуту, что она должна позаботиться о Катерине, пока не найдется ее мать. Это казалось само собой разумеющимся. За то время, как на пароходе из Смирны ее попросили приглядеть за очаровательной крошкой в рваном белом платье, Евгения полюбила девочку, как родную. Если бы злосчастная война с турками не отняла у нее мужа (официально он числился пропавшим без вести), у нее, наверное, были бы еще дети. Может быть, поэтому она приняла «прибавление» в своем семействе с такой готовностью.

Они вчетвером первыми поднялись на борт, и прошло, казалось, много часов, пока корабль наконец не загрузили и не подготовили к отплытию. Послышался лязг цепей, и дети, бегавшие взад-вперед по палубе

в радостном ожидании нового путешествия, снова подошли к Евгении.

Она не сказала им, куда их везут. Ее дочери огорчились бы, что не увидят старых друзей, а Катерина поняла бы, что мама не встретит ее в конце пути. А так они, может, и не заметят разницы между Афинами и Салониками.

Корабль шел сквозь ночь, вода блестела под полной луной. Дети крепко спали. Узлы с вещами служили им подушками, а одеяла, которые дали в лагере, укрывали от соленого бриза.

Евгения всю ночь лежала без сна, слышала, как кого-то тошнило, и надеялась, что ее девочек болезнь обойдет стороной. Несколько человек взошли на борт уже больные дизентерией и теперь метались в жару. Раз пять или шесть кто-то переступал через ее ноги, неся на руках больного или уже безжизненное тело. Больных старались держать отдельно от остальных – это был единственный способ снизить вероятность эпидемии. Звуки далеко разносились в тишине, и Евгения слышала беспрестанное бормотание двух находившихся на борту священников, когда они утешали умирающих или тихо, нараспев читали слова прощальной молитвы. Несколько раз до ее ушей долетал явственный глухой всплеск – это тело выбрасывали за борт.

Она смотрела на трех девочек, на пряди их темных шелковистых волос, безмятежно гладкие лбы, длинные ресницы, бросавшие тени на щеки. Эти три невинных ребенка, так мирно спавшие рядом, казалось, светились под лунными лучами. Они были повинны в обрушившихся на них несчастьях не более, чем ангелы, на которых были так похожи. Ни один миг горя не был ими заслужен.

Евгения молилась Панагии, чтобы та защитила их всех, и услышала ее Пресвятая Дева или нет, но корабль все так же, не сбавляя хода, шел по темному морю.

Евгения смотрела на девочек, и веки у нее начали тяжелеть. К тому времени, когда вдали показались очертания греческого берега, она уже крепко спала. Когда она проснется, они будут уже в другой стране и у них начнется новая жизнь.

## Глава 8

Для Константиноса Комниноса это майское утро было самым обычным. Он встал в шесть часов и приготовился к дневным трудам. Его склад и торговый зал открылись еще два года назад, и он уже приступил к расширению – строительству еще одного дома. Многие предприятия после пожара так и не оправались, но Константинос воспользовался гибелью зданий, построенных отцом, чтобы создать на их месте новые, еще больше, еще прочнее, и на этот раз в своем собственном вкусе. Он оспорил в суде отказ от выплаты страховки и выиграл дело, а после этого уже оставалось только возродиться, как феникс, из пепла сгоревшего города. К тому же и затянувшаяся мобилизация, и непрекращающаяся война в Малой Азии предоставляли уникальные возможности для коммерции.

Война приносила прибыль, но были и потери.

В конце октября Константинос получил извещение, что его брат пропал без вести. Леонидас дошел до окраин Смирны вместе со своим полком после отступления через всю Малую Азию, и после этого о нем никто ничего не слышал. По словам немногих выживших, большую часть солдат из полка Леонидаса Комниноса турки настигли и зверски убили.

Заново отстроить торговые здания и наладить бизнес было важнее, чем восстановить виллу на берегу, и хотя Константинос уже приступил к этой задаче, ей он посвящал не много времени. Перед тем как строить, нужно было снести сгоревший дом до основания. Для использования в новом доме годился разве что фундамент.

Пока Ольга и маленький Димитрий Комнинос жили на улице Ирины, Константинос остановился в отеле. Все равно домой из конторы он редко приходил раньше полуночи, и это вполне годилось в качестве оправдания – он просто не хочет будить домочадцев.

Ольге по душе был старый город с его кипучей жизнью, и она не торопилась увозить отсюда своего счастливого и довольного сына, однако обмен населением с Турцией принес серьезные перемены, которые уже начали менять облик Салоников. Даже улице Ирины предстояло вот-вот ощутить это на себе.

Семья Экрем готовилась покинуть город. Несколько недель они собирались, укладывали вещи, прощались с дорогими друзьями, дарили

маленькие подарки людям, которых успели полюбить. Им обещали какую-то компенсацию за дом, который они оставляли, и новое жилье в Малой Азии, но эта страна была для них чужой и незнакомой, и им совсем не хотелось расставаться со счастливой жизнью в Салониках.

Вечером перед самым отъездом семья Морено пригласила их на прощальный ужин. Они принесли с собой подарок – свое сокровище, том стихов Ибн-Замрака, чьи строки были выбиты на стенах дворца Альгамбры.

Обе семьи понимали, что у них очень много общего. Изгнание из Испании было не единственным совпадением.

– «Гранада! Вечный дом мира и сладостной надежды. Здесь найдешь ты и жажду, и ее утоление», – перевела одна из девочек Экрем.

– Никогда не знаешь, как жизнь обернется, верно? – сказала кирия Экрем на своем ломаном греческом.

– Когда это было написано, должно быть, никто и понятия не имел, что всех арабов оттуда выживут, – бросил Саул.

В это утро Ольга встала рано, чтобы попрощаться. Если бы Комнинос проходил мимо по пути к парикмахеру, он бы пришел в негодование, увидев, как его жена разводит сантименты из-за отъезда каких-то мусульман. Он никогда не понимал, почему она так приветлива с семьей Экрем.

К семи часам он уже побывал у парикмахера, побрился, а в семь сорок пять мальчик, чистивший ему ботинки, уже получил свою ежедневную монетку на чай. В семь пятьдесят Комнинос сидел в кафенио неподалеку от новых торговых помещений возле доков, а к восьми допивал вторую чашку кофе, просматривая три из многочисленных местных газет. Пробежав глазами финансовый раздел, он прикинул приблизительную стоимость своих акций и облигаций.

Предложение и спрос на шерсть зависели от множества факторов, на которые он не мог повлиять, но искусство заключалось в том, чтобы предвидеть, где и когда лучше купить. То же самое касалось и других тканей, и тут уж нужно было поспевать за требованиями, не только сегодняшними, но и завтрашними, в отношении фасонов и интерьеров. Знали они об этом или нет, но большая часть состоятельных жителей Салоников одевалась сама и «одевала» свои дома не без участия Константиноса Комниноса.

Политическая ситуация в стране, и особенно в городе, в эти месяцы занимала Константиноса как никогда. Миллион греков из Малой Азии прибыли на историческую родину еще до окончательного договора

с турками, который должны были подписать только в июле, и каждый день приезжали новые.

Цифры в воздухе носились разные, но все они вызывали тревогу. Много месяцев подряд беженцы стекались в Салоники, и главной заботой было – как их всех накормить и устроить. Газеты радостно подогревали недовольство. «Более миллиона!» – кричал заголовок одной. «Салоники сметет этим потоком», – пророчила другая. «Куда нам их девать?» – вопрошала третья, когда появились новости о сотнях тысяч беженцев, которых собирались разместить здесь.

Как и многие из процветающих горожан, Константинос Комнинос наблюдал за этим наплывом нищих беженцев с сильным беспокойством. После пожара и так многие ютились в лачугах или по несколько семей в одном доме, даже его семья не устроена как следует.

Комнинос был не единственным коммерсантом, начинавшим свой день в этом кафенио. То же обыкновение разделял с ним один из самых успешных в округе торговцев мужским платьем Григорис Гургурис. Оба сидели каждое утро за одними и теми же столиками, оба курили сигареты одной и той же марки и читали одни и те же правые газеты. Несмотря на то что они были знакомы уже тридцать лет, их отношения почти не выходили за рамки бесстрастного мира коммерции. Гургурис почти все свои ткани покупал у Комниноса, однако, при всей обоюдной зависимости, оба относились друг к другу с некоторой долей недоверия, так как каждый полагал, что другой обычно извлекает больше выгоды из сделок.

– Что до меня, то я считаю, ни к чему впускать их сюда в таком количестве. Нужно было отправить их напрямик в Пирей, – прогремел Гургурис через весь зал, и его двойной подбородок заколыхался, как всегда, когда торговец выходил из себя.

– Скоро дышать станет немного полегче, – флегматично заметил Комнинос, не отрывая глаз от газеты, – когда все мусульмане уберутся отсюда.

– Лично мне будет нисколько не жаль, что все эти фески исчезнут с наших улиц, – сказал Гургурис. – Но обмен-то все равно неравный? К нам приедет больше народу, чем уедет.

– Но вы подумайте, Григорис! В город хлынут новые христиане, значит им понадобятся новые костюмы! Не так уж все плохо...

Оба посмеялись, затем Комнинос бросил на столик несколько монет и поднялся, чтобы уйти. Было уже восемь часов, и его ждала работа.

Тронув пальцами край шляпы, Константинос коротко попрощался

со своим клиентом и вышел на утреннее солнце.

В этот день ожидалось прибытие партии товара, и он неторопливо двинулся к докам, рассчитывая узнать, в какое время придет корабль. В порту всегда ошивались десятки бродяг – кто-то искал работу, кто-то просил милостыню, кто-то просто слонялся без всякого дела, не выпуская из виду узлов с пожитками, сваленных где-нибудь поблизости. Комнинос никогда не опускал руку в карман. Таковы были его правила. Одному подашь – тут же все остальные накинутся. У него была своя тактика: смотреть сквозь них, делать вид, что их нет. Начальнику порта Комнинос был хорошо знаком.

– Доброе утро, сэр, – сказал он, подходя. – Как поживаете?

– Замечательно, благодарю. Есть вести о моем корабле?

– Сейчас другой зайдет, большой, – ответил начальник, – не знаю уж, хватит ли людей для разгрузки, если даже ваш и придет сегодня.

Комнинос бросил взгляд за спину портовика и понял, что тот имеет в виду. В каких-нибудь нескольких сотнях метров от входа в гавань виднелся приближающийся корабль. Он был большой, и Комнинос уже разглядел, что это не грузовое судно. На палубах было полным-полно людей. Комнинос отвернулся, кипя возмущением.

Солнце припекало вовсю, и на борту все толкались, стараясь разглядеть, куда их привезли. Сквозь утреннюю дымку видно было только несколько размытых силуэтов и очертаний: башня, склон холма, стена, что словно бы перерезала город до моря, несколько вздымающихся в небо минаретов, выстроившиеся в ряд на востоке большие виллы.

Для Катерины, в нетерпении стоявшей на носу корабля, город, что с каждой минутой делался больше и вырисовывался яснее, означал конец разлуки с матерью. Она столько недель вышивала крестики на подоле платья – теперь они уже выстроились в разноцветную цепочку, и место оставалось лишь для одного.

Когда туман рассеялся, город оказался вовсе не таким большим, как она воображала. Она видела Афины на картинках в книжке и ожидала совсем другого. Для столицы Греции он выглядел как-то не слишком внушительно. И где же Акрополь?

Затем Катерина заметила кое-что еще. Над морем поднимались остовы выгоревших домов. На миг ей показалось, что они сделали полный круг и вернулись в разоренный город, в котором она выросла.

– Кирия Евгения! Кирия Евгения! – сказала она, дергая Евгению за рукав. – Мы опять приплыли в Смирну!

Все три девочки стояли рядом, прижавшись к перилам борта, и теперь они оторвали взгляды от города и повернули головки назад. Евгения увидела перед собой три встревоженных, взволнованных лица.

– Нет, мои хорошие, это не Смирна, – возразила она. – Нас привезли в Салоники.

– В Салоники?! – воскликнули они хором, как три птенца в гнезде. – В Салоники? А мы думали, что плывем в Афины!

Катерина уже глотала слезы. Это не тот город, куда уехала ее мама. Долгие месяцы надежды и ожидания словно канули на дно моря.

Евгения наклонилась, обняла Катерину и прижала к себе, чувствуя, как девочка рыдает ей в плечо. Близнецы взяли за руки и окружили их кольцом. Все они попали не туда, куда стремились.

Так они стояли какое-то время вчетвером, а корабль шел своим курсом. Затем они почувствовали, что палуба под ногами как-то странно качнулась – это двигатели начали останавливаться. Судно замедлило ход, и вскоре все услышали металлический лязг – они не вошли в гавань, бросили якорь поблизости.

Они видели, как капитан отправился на берег на маленьком буксире. Прошел час или два. Поползли слухи, что на берег их не выпустят. На корабле быстро распространялись болезни, немалую часть палубы пришлось отвести под временный карантин, и все понимали, что таких гостей вряд ли примут с распростертыми объятиями.

Здоровым не терпелось сойти на твердую землю, и, когда капитан наконец вернулся, многие стали требовать, чтобы их высадили. Капитан объявил, что получил разрешение зайти в порт, но всем больным дизентерией и туберкулезом придется пока остаться на борту.

Наконец, после многочасового ожидания, они вошли в гавань и почувствовали, что вокруг корабля будто стены смыкаются.

– Мамочка, погляди, сколько людей! – оживленно воскликнула Мария при виде толпы. – Погляди, как нас встречают!

– Вот уж не думаю, детка, что это встречают нас... Но, кажется, они рады нас видеть.

На самом деле все эти люди пришли в порт вовсе не для того, чтобы встретить прибывших из Турции. Это были мусульмане, спешащие занять места на обратный рейс. Они радовались не пассажирам корабля, а ему самому.

Посадка в Митилини казалась беспорядочной толкотней, однако она не шла ни в какое сравнение с тем почти полным отсутствием закона и порядка, которое ждало их при посадке в Салониках. Несмотря на то что

на борту оставалось множество больных, люди устроили свалку, пытались пробиться на корабль. Евгения вела девочек вниз, и тут кто-то оттолкнул их с дороги, да так, что женщина чуть было не свалилась с трапа в темную воду.

– Извините! Вы что, минуту подождать не можете? – возмущенно крикнула она.

Толкнувшая ее мусульманка оглянулась. Она явно услышала негодование в голосе Евгении, но только буркнула что-то по-турецки в знак того, что не понимает слов.

Они сошли в колышущуюся толпу, и Катерина так крепко вцепилась в руку Евгении, что пальцы онемели. Мария с Софией держались друг за друга и за мамину юбку, чтобы их не растащили в разные стороны. Все четверо помнили историю Катерины и не хотели, чтобы она повторилась. В такой давке это легко могло случиться.

Они пробившись сквозь бурлящую людскую массу и тут же остановились передохнуть. Евгения оттащила узлы с пожитками еще на несколько метров и велела девочкам сесть на них. Она была уверена, что где-то поблизости кто-то должен ждать их, чтобы объяснить, что делать дальше. Это ведь организованное переселение, и им обещали, что для них уже все подготовлено.

Катерина и близнецы послушно уселись и стали смотреть на текущие туда и сюда потоки людей. Одно из самых заметных отличий между прибывшими и отплывающими заключалось в том, что последние увозили с собой многочисленное имущество: ящики, коробки, чемоданы и матрасы. Даже маленькие дети что-то несли на головах и в обеих руках в придачу. Катерина изумленно смотрела на все это богатство. У нее самой уже давным-давно не было почти ничего, не считая того, что на ней. Одной рукой она рассеянно теребила расшитый крестиками подол платья, а другой разглаживала кусок материи, который так и лежал у нее в кармане. Это было все, чем она владела.

Сквозь гудящий вокруг шум до них донесся звук, напомнивший Катерине что-то далекое: голос муэдзина. Она уже много месяцев его не слышала.

– А это точно Салоники? – спросила она Марию, но та лишь безучастно посмотрела на нее и пожала плечами.

Среди всего этого хаоса мужчины расстелили свои коврики и опустились на колени для молитвы. Им пришлось повернуться спиной к тому самому морю, к которому они так стремились. Теперь они, казалось, забыли о времени, кланяясь в сторону востока снова и снова, снова



и снова – это была их последняя молитва на греческой земле.

К своему немалому изумлению, девочки замечали на глазах взрослых мужчин слезы и слышали их рыдания. Видели они и покорные лица женщин, и застывшие, отрешенные лица маленьких детей.

Евгения уже вернулась и тоже наблюдала за этим зрелищем. Когда мужчины окончили молитву, несколько человек, по виду явно христиане, подошли к одной из семей попрощаться. Прощание было со слезами, объятия долгие, от всего сердца.

– А нас никто так не провожал, правда? – сказала София матери.

Вопрос был риторическим. В памяти детей впечатления уже начали тускнеть, но Евгения не могла забыть, что в той деревне, где она родилась, такой любви между христианами и мусульманами не было. Их разлука с домом была страшной и внезапной. Она едва успела схватить дочерей, когда бежала, спасая свою жизнь, от ворвавшихся в деревню турецких солдат.

Еще сколько-то времени они ждали. Евгения, как и многие вокруг, ощущала усталую покорность судьбе. Она понимала, что, пока толпа в порту не рассосется, нечего и пытаться отыскать в ней кого-нибудь, кто должен им помочь.

Мимо прошел человек с тележкой, полной кунжута, но у Евгении не было денег. Голод начинал подтачивать ее терпение. Почему никто не приходит им на помощь? Почему никто не приносит еды?

– Простите, девочки, – сказала она, не в силах больше скрывать голод и разочарование. – Пожалуй, лучше было бы нам остаться на Митилини.

Девочки безучастно смотрели на нее. Отозвалась только Катерина:

– Смотри, корабль уходит. Теперь людей станет поменьше.

Она была права. Наступил вечер, и все изменилось. Корабль вышел из гавани, и в порту остались только вновь прибывшие.

Через несколько минут к ним подошла какая-то женщина, такая высокая, каких Евгения никогда в жизни не видела. На ней была свежая белая блузка, чистая, без единого пятнышка, светло-бежевая юбка, коричневые кожаные туфли без каблука, светлые волосы уложены в аккуратный узел – ясно было, что она не здешняя и не приезжая из Малой Азии. Она больше походила на какую-нибудь французскую модницу, но, когда она наклонилась к девочкам и заговорила, в ее ломаном греческом послышался американский акцент.

– Не могли бы вы пройти со мной, заполнить кое-какие бумаги? – сказала женщина с извиняющейся ноткой в голосе. Это прозвучало так, словно она просит прощения за неудобство. – Нужно пройти вот туда, –

указала она на здание таможни.

Беженцы встали в очередь, что тянулась, извиваясь, в четыре ряда к дверям, и опять стали терпеливо ждать. В очереди ходили разговоры, что расселять их будут не в самом городе, а в новой деревне на западе от Салоников, специально построенной для беженцев на пахотных землях. Кто-то сказал, что эту землю отвоевали у болот и что там будет работа и жилье для всех. Основная культура, табак, была в большой цене.

Звучало это привлекательно и было значительно лучше того, на что Евгения могла надеяться, месяцами живя на подаяния, но она всю жизнь ткала ковры, а не работала в поле, и надеялась остаться в городе, где все-таки могли представиться соответствующие возможности. У нее не было ни драхмы за душой, она была здесь чужая, беженка, без денег и без положения. Может быть, она и права не имела хвастаться своими умениями и напоминать, кем была когда-то. Что бы ни обещала новая жизнь, остается это принять.

Перечисляя чиновнику имена детей, Евгения заметила еще одну очередь, в которой стояли люди, одетые совсем иначе. Увидев несколько мужчин в фесках, она догадалась, что это мусульмане, которым тоже приходится чего-то ждать.

Американка посмотрела на Евгению, и в голове у нее промелькнула какая-то мысль.

– Знаете что, – сказала она, – тут как раз только что одна мусульманская семья заполняла бумаги на дом. У них три дочери, совсем как у вас, а дом, правда, в старом городе – но это значит, что вы останетесь в Салониках, а не поедете в новую деревню.

Ответ Евгении нетрудно было прочитать на ее лице.

– Значит, вы хотели бы остаться в Салониках?

– Да, конечно! Очень хотела бы!

– Ну что ж, посмотрим, удастся ли мне закрепить этот дом за вами. Несколько человек стояло дольше вас, но ваша семья идеально подходит, в точности такая же, как та, что уезжает, – и вы там прекрасно устроитесь.

Американка говорила с искренним участием и явно старалась подобрать наилучший вариант для тех, кому помогала.

Евгения не стала возражать, когда женщина решила, что Катерина – ее дочь. Она опасалась упустить возможность остаться в городе.

Так выглядел обмен населением. Люди буквально менялись жизнями. Одна семья уезжала, другая приезжала. Если Евгении достанется дом мусульман, она сможет наконец устроиться и начать новую жизнь. Это было единственное, чего она хотела. Возможность начать все сначала.

К ночи опечаленные христиане, которые только что обнимали друзей-мусульман, обретут новых соседей. Мусульмане, уплывшие на их пароходе, были уже на пути в Турцию, а здесь осталась их жизнь, которую они любили и делили со всеми, кто жил рядом.

Баланс населения в Салониках уже изменился. За несколько месяцев город стал преимущественно греческим, а евреи оказались в меньшинстве.

Закончив на сегодня бумажную работу, Константинос Комнинос раздумывал над этим обстоятельством и прикидывал в уме, какую прибыль можно из него извлечь.

В это время Евгения укрыла своих девочек одеялом у стены неподалеку от здания таможни. Сидела и смотрела на них. Ей мешала уснуть не бугристая каменная мостовая, а почти неудержимая радость оттого, что, может быть, совсем скоро у них будет крыша над головой.

Катерина лежала между Марией и Софией – лежала тихо, но не спала. Они проделали такой огромный путь, а она так и не нашла маму и сестренку. Завтра придется начинать поиски снова. По крайней мере, теперь они на материке, в Греции. Афины, должно быть, не так уж далеко отсюда.

## Глава 9

Наутро Евгения была первой в очереди на раздачу хлеба, а потом вернулась на прежнее место, откуда была видна дверь таможни, – она намеревалась дожидаться американку, что вчера обещала им жилье, и поговорить с ней. А то вдруг сегодня придет еще один корабль и дом, в котором она уже мысленно начала обустраиваться, отдадут кому-нибудь другому.

Прошло несколько часов. Девочки бегали по всему порту, играли, дразнили бродячих кошек и перебрасывались ничего не значащими фразами с другими ребятами, а Евгения все стояла как вкопанная на одном месте. Эту возможность она не упустит.

Около полудня она заметила монументальную фигуру американки, быстро шагающей по улице. Сегодня она была одета с совсем уж немислимой и безупречной элегантностью: белая муслиновая блузка, юбка в цветочек и голубые замшевые ботинки, уже посеревшие от пыли. Евгения никогда не встречала таких людей – сочетавших в себе мужскую уверенность и властность и женское изящество.

Сердце у Евгении заколотилось. Она так боялась, что американка уже забыла о них, но, к своей огромной радости, увидела, что та направляется прямо к ней.

– Добрый день, кирия Караянидис, – сказала она.

Евгения улыбнулась. Американка даже имя ее запомнила. Учитывая, что она имела дело с тысячами беженцев, уже одно это казалось чудом.

Держалась она энергично и деловито и совсем не производила впечатления человека, который просто нашел себе развлечение от скуки.

– Вот что – помните ту семью, о которой я вам вчера говорила?.. Я уже побывала в их доме...

Евгения с трудом проглотила комок. Девочки уже сгрудились вокруг. Что бы ни услышала Евгения – отправят ли их в одну из новых деревень на севере от Салоников или дадут дом в городе, – нужно будет изобразить радость. Ни за что на свете она не выдаст детям своего разочарования.

– В общем, по-моему, для вас он в самый раз. Идеальный вариант. Хотите сходить посмотреть, прежде чем примете решение?

– Нет-нет, – почти неслышно отозвалась Евгения. – Я уверена, он нам отлично подойдет.

Катерина не двинулась с места вслед за Евгенией.

– А как же моя мама? – спросила она.

Американка посмотрела на девочку, а потом снова на Евгению – вопросительно.

– Я не ее мать, – пояснила Евгения. – Я взяла ее к себе, когда мы бежали из Смирны, еще в сентябре...

Катерина перебила:

– Потому что моя мама и сестричка уехали в Афины, а я потерялась, а потом я думала, что нас тоже повезут в Афины, а корабль пришел совсем не туда, а потом я думала, что нас привезли обратно в Смирну, а оказалось, что нет, просто очень похоже, потому что тут тоже все сгорело, а теперь мне нужно в Афины, искать их, они же так и не знают, где я, а... – Этот поток слов вылетел изо рта Катерины с такой скоростью, что американка почти ничего не разобрала.

– Повтори все с начала, пожалуйста, – попросила она.

Евгения слушала с тревогой. Без Катерины их останется только трое, и тогда неизвестно, удастся ли занять дом. И что стоило девочке помолчать еще несколько часов? Женщина с трудом сдерживала раздражение.

– ...Вы можете мне ее найти? – на одном дыхании Катерина повторила свой рассказ, на этот раз помедленнее.

Американка обдумала услышанное, быстро взвесила все в уме и вынесла решение:

– Лучше всего держитесь пока вместе, а мы попытаемся выяснить, где твоя мама. Какие-то записи велись все это время, но очень бессистемно, и мы не можем вот так сразу отправить маленькую девочку одну в Афины! Может быть, твоя мама там, может быть, здесь, а может быть, и еще где-нибудь. Но мы сделаем все возможное, чтобы вы нашли друг друга. – Она взяла Катерину за обе руки и заглянула в ясные, доверчивые детские глаза – девочка впитывала каждое слово и принимала безоговорочно.

– Ну, так пойдём? – живо сказала американка. – Идем с нами. Помоги маме вещи нести.

Евгения чуть не расплакалась от облегчения, что дом, кажется, все же остался за ними, и они вчетвером пошли за американкой. Малышки старались не отставать. На каждый шаг высокой женщины их шагов приходилось по два.

Они шли все в гору и в гору, по дороге, убегаящей вверх от моря. Видели самые разные дома: старинные, современные, заброшенные, выгоревшие, окруженные лесами, одни огромные и роскошные, будто

дворцы, другие больше похожие на лачуги. Видели церкви, мечети и синагоги. Проходили мимо бань, базаров, универсальных магазинов, крытых и открытых рынков – и все общественные здания так же сильно отличались друг от друга, как и частные дома. Разруха после пожара, теснота и бедность, реконструкции, за которые взялись люди богатые и деятельные, – на этих улицах были заметны свидетельства всех прошедших событий и веяний.

Город был выстроен на холме, и им, по всей видимости, предстояло подняться до самой его вершины. Улицы, большие и маленькие, были забиты людьми, дорожными сундуками, тележками, мебелью и даже животными. Новые и новые беженцы прибывали на регулярно проходящих кораблях, не кончался и поток отъезжающих. Вся эта беготня с вещами в руках казалась беспорядочной, как копошение муравьев вокруг муравейника, однако на самом деле имела четкую цель. Все куда-то переезжали. Они еще не знали точно, где закончится их путешествие, но одно было ясно: христиане приходят, мусульмане уходят.

Раз или два американке пришлось остановиться, чтобы дать встречным пройти, иначе и ее, и маленькую группку ее спутниц толпа утащила бы за собой обратно в порт.

– Ну вот мы и пришли, – наконец сказала американка с улыбкой. – Улица Ирины.

Они стояли в конце узкой улочки, куда солнце заглядывало разве что в разгар лета. Немощеная дорога была пыльной, а зимой, как сразу подумалось Евгении, вероятно, грязной. Все это напоминало ее родную деревню, где верхние этажи домов нависали над дорогой, а вокруг бродили куры в поисках крошек. Она чувствовала себя здесь почти как дома.

Катерине такая обстановка была не столь привычна. В Смирне она жила на улице, вымощенной мраморной плиткой, а единственными животными возле их дома были лошади, запряженные в коляски.

В отличие от других улиц, что попадались им по пути, эта была тихой. Посреди дороги лежала собака, и несколько цыплят беспрестанно клевали что-то с земли. В час сиесты здесь не было видно ни души.

– Уже совсем рядом, – подбодрила девочек американка. – Смотрите, вот он, дом... а вот и ключ!

Она, словно фокусник, выудила ключ из кармана, а они все стояли и разглядывали дверь, темная краска на которой совсем облупилась – пора было ее обновить.

Пришлось несколько минут поковыряться в замке, прежде чем язычок повернулся с громким лязгом.

Они по очереди переступили следом за американкой через порог – сначала Евгения, за ней Мария, София и, наконец, Катерина. Чиркнула спичка, загорелась масляная лампа, стоявшая в углу. В желтоватом свете вокруг заплясали причудливые тени.

– Давайте-ка впустим сюда солнце, – весело сказала Евгения. – Надо же нам осмотреться!

Она прошла в другой конец комнаты и отворила тяжелые деревянные ставни. Яркий солнечный свет ворвался в дом, осветив стол, который стоял в центре, как главный предмет мебели. Комната словно задышала.

Катерина стояла тихо-тихо. Вот уже больше полугода она не была внутри нормальных построек, и видеть вокруг прочные стены было как-то странно. Девочка привыкла к тонким палаткам лагеря на Митилини. В этом было что-то правильное – жить во временном убежище, пока каждое утро просыпаешься с надеждой на неожиданную встречу с мамой и сестренкой. Здесь все было совсем другое – деревянная мебель, каменный пол, на столе ваза с цветами. Когда-то, несколько дней назад, они были свежими, а теперь вокруг лежали осыпавшиеся сухие лепестки. Эти скелетики маргариток чем-то напоминали статуэтки и отбрасывали на стол четкие тени.

– Ну что же, девочки, – сказала Евгения с наигранной веселостью, – вот мы и пришли. Домой. Это наш дом.

Дети молчали. Они еще никак не могли осмыслить, что этот дом вдруг стал их домом – только потому, что его так называли, только потому, что тут стоит на столе ваза с засохшими цветами.

– А посмотрите-ка! – прибавила Евгения. – Тут и письмо для нас есть!

На полке лежал конверт, а рядом маленькая книжка. Евгения осторожно открыла письмо.

Это был всего один листочек, сложенный вдвое. Поморгав, Евгения разглядела при тусклом свете буквы.

– Вы не читаете по-турецки? – спросила она американку.

– Простите, нет, – ответила она. – Ни слова не знаю.

Евгения слышала турецкий язык всю жизнь, каждый день, и многое понимала, но читать на нем не умела совсем. Разобрать, что в письме, она не могла.

– Ну что же, девочки, – сказала она, снова спрятав письмо в конверт и вложив между страниц книги, – давайте его сохраним, а потом, может быть, найдем кого-нибудь, кто нам прочитает.

Катерина словно приросла к месту. Чужой дом, чужое письмо. Чужой город. И (в первый раз за много месяцев она ощутила это с неумолимой

ясностью) чужая семья. Может быть, если закрыть глаза, все вернется и станет как было.

– Ну что ж, мне пора идти, – сказала американка, прервав неловкое молчание. – Приходите потом в таможенную контору, и мы поможем вам получить небольшую ссуду, а я пока подберу какие-нибудь платья для девочек. Мы получаем очень много пожертвований из Америки, их нужно только разобрать.

Эту женщину ждали важные дела, и ей не терпелось поскорее к ним вернуться. Сотни тысяч беженцев находились в точно таком же положении, как и Евгения, и ни к чему было задерживать здесь новыми вопросами ту, которая может им помочь.

– Спасибо вам за все, – сказала Евгения. – Мы очень благодарны вам за этот дом. Что нужно сказать, девочки?

– Спасибо! – хором ответили малышки.

Американка улыбнулась и ушла.

Мария с Софией пришли в восторг, бегали вверх-вниз по лестнице, гонялись друг за другом, хватали друг друга за платья, визжали и хохотали. Привыкнув к мысли, что этот дом теперь их, они бросились его осматривать, открывали буфет, поднимали крышки кастрюль и громко возвещали о своих находках:

– Они матрас оставили!

– А тут большой сундук!

– А в нем одеяло...

– И коврик на полу!

Катерина все это время тихонько сидела в углу, а Евгения осмотрела все ящички в комод и буфет внизу, чтобы узнать, что осталось от прежних хозяев. Кое-что нашлось: металлические кубки и блюда, три одеяла. Сама она все свои вещи, и необходимые, и просто дорогие сердцу, бросила, убегая, в ужасе и спешке – кроме одной. Произнеся короткую молитву, она поставила на полку икону святого Андрея Первозванного, принадлежавшую когда-то еще ее бабушке с дедушкой. В ее деревне говорили, что этот святой проповедовал где-то неподалеку, на берегах Черного моря, и Евгения росла под присмотром его недреманного ока.

В каждом ящичке буфета что-нибудь красноречиво напоминало о прежних владельцах. Помимо горшков и кастрюль, тарелок, ложек и вилок, здесь были мешочки с молотыми пряностями, банка масла, мед и травы. Был и сундук, в котором лежали одеяла, и украшенная мозаикой шкатулка с какими-то бумагами.

Разные запахи этих оставленных вещей (острый – от куркумы,



затхлый – от коврика) вызывали ощущение незримого присутствия прежних хозяев, и Евгении сделалось не по себе. А вдруг они еще вернуться, кто знает? Вдруг раздастся внезапный стук в дверь? А может, у них остались ключи и они могут войти в любую минуту. Ее охватила тревога.

«Успокойся!» – велела она себе. Судя по всему, собирались они не впопыхах, дом не был разорен и, казалось, еще хранил тепло прежних хозяев. Они словно бы доели свой ужин и ушли потихоньку, забрав с собой все нужное, но оставив тщательно отобранные вещи для тех, кто придет на их место. На столе еще остались крошки, но Евгения быстро смахнула их вместе с увядшими лепестками.

Давно уже Евгении не приходилось наводить чистоту в доме, и в ней немедленно проснулась хозяйка. Она заметила прислоненную к стене старую метлу и с жаром принялась за работу. Ею овладело желание стереть отсюда все следы прежних жильцов. Может быть, когда-нибудь можно будет даже купить в дом все свое взамен старого: стулья, буфет, чашки и подушки. Она даже напевала что-то себе под нос за работой, хотя уже почти забыла, как это делается.

Между тем девочки наверху обнаружили клад. Брошенная одежда и феска, побитая молью, подсказали идею новой игры, и девочки, истерически хихикая от восторга, спустились вниз в необъятных халатах. Они стали прохаживаться перед матерью туда-сюда, как султаны, с необычайной серьезностью, еле-еле сдерживая смех. На Марии была турецкая шляпа, а София обмотала голову шелковым тюрбаном.

Катерина по-прежнему тихо сидела в тени. Люди в такой одежде не оставили у нее о себе приятных воспоминаний.

Рядом с ней пальцем по пыли была нарисована картинка. Катерина нарисовала лодку и отпечатком большого пальца изобразила капитана и двух пассажиров. Мысль о матери и сестренке ни на минуту не покидала ее.

## Глава 10

В первую ночь на улице Ирины они все свернулись клубком на одном матрасе, прижавшись друг к другу. Они так привыкли к этой успокаивающей близости, к теплу и дыханию друг друга, что иначе и не уснули бы.

Наутро Катерина проснулась до света. Она увидела маячащий в полутьме силуэт и села на кровати.

– Кирия Евгения! – прошептала она. – Это вы?

Тень подошла к кровати.

– Пойду поищу, где нам хлеба взять.

– А можно, я с вами? – тихо попросила Катерина. – Я теперь уже не засну.

– Ладно, но только тихо, как мышка. Не хочу, чтобы близнецы проснулись.

Катерина соскользнула с кровати, надела ботинки и вышла вслед за Евгенией.

Заблудиться в Салониках было почти невозможно, и женщина направилась прямо к порту. У подножия холма было море, на вершине – старый город, а все остальное – посередине.

Когда Евгения добралась до своей цели – здания таможни, – там уже стояла очередь, но она твердо решила дожидаться возможности поговорить с кем-нибудь. Ей четыре рта кормить, должна же она выяснить, откуда ждать помощи.

Все, кто занимался беженцами, делали это по доброте душевной, и мужчина, сидевший в конторе, был сочувственен и участлив. Он объяснил, что она может приходить каждый день со всей семьей за пожертвованиями и следить за новостями о работе. По его словам, было много возможностей устроиться на какую-нибудь фабрику или на сортировку табака.

Евгении хотелось сказать, что ни то ни другое ей не подходит. При мысли, что придется перебирать табак, сердце у нее упало. Она не знала, есть ли у нее право отказываться от такой работы, – не хотелось выглядеть неблагодарной. Но главное сейчас было – молоко и овощи, которые раздавали здесь же, на улице, и они взяли немного, прежде чем спешить обратно на улицу Ирины.

По пути домой они проходили мимо выстроившихся в ряд маленьких магазинчиков. В одном из них продавали ткани, в другом – всевозможную тесьму для мебельной обивки, а витрина третьего сверху донизу была заставлена нитками. Увидев мотки разноцветной шерсти, Евгения в первый раз за много месяцев вспомнила о брошенном дома ткацком станке и ощутила прилив надежды. Когда-то она была искусной ткачихой – теперь это так далеко, что думать об этом почти нестерпимо, но, может быть, эту часть прежней жизни еще можно вернуть? На минутку Евгения остановилась полюбоваться, помечтать, пофантазировать – какие цвета она бы купила. Кроме ниток, она увидела в витрине кое-что еще: женщину, вдвое старше ее, худую, оборванную, с паутиной нечесаных волос. Евгения смотрела на нее с грустью, не веря глазам.

– Кирия Евгения! Кирия Евгения! Пойдемте посмотрим!

Катерина нетерпеливо потянула ее за руку, и Евгения охотно позволила увести себя, чтобы не видеть отражения той, в кого она превратилась.

– Смотрите, сколько всяких пуговичек! А ленточки! А давайте туда зайдем, можно?

Евгения знала, что Катеринина мать была швеей и что у самой девочки уже пробудилась страсть к шитью и вышиванию. Это роскошное пиршество цветов захватило ее почти так же, как саму ткачиху.

– Не сейчас, Катерина. Как-нибудь потом зайдем, посмотрим.

Пока они ходили – час или около того, – и весь остальной город проснулся. Еще несколько человек появилось на улице Ирины – кто подметал крыльцо, кто направлялся на рынок, кто на работу.

Евгения понимала, что она здесь чужая, и без смущения встречала беззастенчивые любопытные взгляды местных жителей. По своему отражению в витрине магазина она увидела, какая стала худая и какой у нее болезненный вид после нескольких месяцев на Митилини, и ей было стыдно за свою истрепанную одежду.

В эту минуту она думала: может, все-таки лучше было уехать за город – там, по крайней мере, вокруг были бы такие же беженцы, может быть, даже кто-нибудь из ее же деревни. Это было бы большое утешение – быть среди людей, переживших тот же страх, ту же разлуку с домом. А тут она чувствовала себя изгоем.

Не от этих ли недоброжелательных взглядов у нее похолодела спина – или это просто воображение? Она пыталась встретиться глазами с кем-нибудь из проходящих мимо, но наталкивалась на полную безучастность. Даже вид идущей рядом маленькой Катерины не вызвал ни одной дружеской улыбки.

Тут совсем рядом раздался чей-то голос, прервавший ее размышления:

– Доброе утро!

Евгения вздрогнула.

Женщина, которой принадлежал голос, поравнялась с ней. Она держала за руку маленького мальчика, а тот, пока она говорила, стоял и ковырял каблуком землю.

– Доброе утро, – повторила женщина. – Вы, должно быть, наша новая соседка?

– Доброе утро, – вежливо ответила Евгения, в первый раз смущенно заметив, что выговор у нее совсем другой, не такой, как у жителей Салоников. – Мы живем вон в том доме, налево.

Евгения показала на дом, который был уже рядом, и теперь ей было немного стыдно за то, в каком он состоянии.

– Я Павлина, мы живем в соседнем доме, так, может, если сумеем чем-то помочь...

– Спасибо вам большое, – с улыбкой сказала Евгения. – Мне наверняка предстоит очень много всего узнать. Мы стараемся освоиться, но для нас тут все внове.

– А дочку вашу как зовут? – спросила Павлина, наклоняясь к Катерине.

– Я Катерина, – ответила та, – но это не моя...

– Наверняка вы с Дмитрием будете лучшими друзьями, – перебила ее Павлина.

Дети смерили друг друга одинаково подозрительными взглядами. Дмитрий все так же возил по пыли каблуком, а Катерина спряталась в складках юбки Евгении. Оба сомневались, что у них выйдет какая-то дружба.

Прошло несколько дней, а Евгения и девочки все еще не привыкли к новой обстановке. Они вымыли дом и переставили мебель, оставшуюся от их турецких предшественников, но запах пыли и пряностей въелся в половицы. Много месяцев пройдет, пока забудется, что этот стол, эти стулья, кастрюли и сковородки принадлежали кому-то другому. Хотела бы Евгения знать, когда она перестанет ощущать присутствие посторонней женщины на кухне.

Любопытные взгляды соседей скоро сменились улыбками. На следующий день, по пути домой из порта, где ежедневно раздавали бесплатную еду, Евгения снова встретила Павлину, и та опять заговорила с ней.

Немного осмелев, Евгения спросила, кто раньше жил в их доме.

– А вам не сказали? – удивилась Павлина. – Странно как-то. Выходит,

вы даже не знаете, в чьем доме живете.

– Но ведь это больше не их дом?

– Ну да, они сказали, что уже не вернуться. Но кто знает, в наши-то дни? Политики говорят одно, а через минуту уже совсем другое. Ну конечно, так сразу вернуться у них теперь не получится...

Она, казалось, рада была рассказать что знает, и Евгения решилась спросить еще:

– А как их фамилия?

– Экрем. Она славная была женщина. Он тоже ничего, только, бывало, как напьется в кафенио, так слышно, как он ее колотит. А вы же знаете, мусульманам вообще пить нельзя! Но она-то была добрая душа. И три девочки у них были, все красавицы – глаза черные как уголь. И знаете что, я думаю, будь они постарше, не уехали бы из города, сбежали бы от родителей, но не уехали, так им тут хорошо жилось. Тяжело это все. Они-то, поди, надеялись, никто и не заметит, что они все еще здесь. Уехали куда-то в Центральную Турцию. Она так боялась, плакала в три ручья каждый день, пока собирались. Не могла представить, как это она уедет вместе с семьей бог знает куда, в какой-то чужой город. Я не удивлюсь, если она головой в воду бросилась где-нибудь по дороге. «Ты так совсем в слезах утопишься», – помню, говорю ей. А она мне: «Да я все равно утоплюсь, какая разница». Ну а потом давай вещи собирать, а он говорит: «Ни к чему это, мол. В новом доме и так все будет». А она говорит, что хочет, чтобы было свое, родное. А он говорит – нет. Так все спорили и спорили. Окна-то открыты, все слышно. Даже если их языка не знаешь, все равно понятно.

Павлина не отказалась бы еще поговорить, но Евгении хватило и того, что она услышала. Чем ярче вырисовывался облик ее турецких предшественников, тем меньше она чувствовала себя дома.

Через неделю после приезда в город Евгения немного заблудилась по пути из порта, и они все оказались у какой-то церквушки. Девочки, как утята, прошли следом за Евгенией в ворота, а затем по двору. Она толкнула дверь и постояла, пока глаза постепенно не привыкли к темноте. В церкви мерцала масляная лампадка, слабо освещая лицо святого – его темные, вытянутые к вискам глаза смотрели прямо на них. Через несколько минут они заметили, что старинные стены и потолок покрыты красивыми фресками, написанными в густых приглушенных тонах. Десятки лиц святых с тусклыми нимбами вокруг голов словно нависали над Евгенией и девочками.

Они по очереди зажгли по тонкой конической свечке и воткнули их

в песок. Евгения догадывалась, что Мария с Софией молятся за отца. Сама она попросила Панагию и за ту семью, в чьем доме они сейчас живут. Она надеялась, что у них все будет хорошо, а еще – что они никогда не вернуться.

Нетрудно было догадаться, о чем молится Катерина. Ее губы без конца повторяли: «Мамочка», и это подтверждало то, что Евгения знала и так: мысль о матери девочку почти никогда не покидает.

От их свечек в церкви стало светлее, и теперь Евгения заметила, какая она маленькая и красивая. Фрески изображали святого, совершающего всевозможные чудесные подвиги, и здесь, в этом уединенном месте, у женщины возникло такое чувство, будто тысячи невидимых ушей слышат их молитвы. Она привезла с собой икону из их деревенской церкви в надежде, что в честь их местного святого построят новую, но теперь подумала: а нужна ли эта новая церковь, если рядом уже есть такой прекрасный Божий храм?

Все четверо стояли кружком и смотрели, как танцует пламя свечей. Тепло и атмосфера церкви в целом ощущались так сильно, что уходить не хотелось. Женщина с девочками простояли так, вероятно, минут десять-двадцать, пока не услышали, как заскрипели ржавые дверные петли, и в церковь не хлынул вдруг солнечный свет.

Огромный человек в черной рясе и камилавке вошел и словно занял собой всю церковь. Он поздоровался, и голос у него оказался слишком громкий для такого маленького помещения. Они вздрогнули, словно их застали за чем-то недозволенным. Это был священник.

– Добро пожаловать, – пробасил он, – в церковь Святого Николая Орфаноса.

Евгения перекрестилась несколько раз. Она не заметила имени святого над входом в церковь, но знала, что Николай Орфанос – покровитель вдов и сирот. После стольких месяцев неизвестности она вдруг ясно осознала: ее муж, отец девочек, мертв – иначе почему бы Господь привел их именно сюда? Наверняка это знак.

За последние годы столько женщин осталось вдовами, столько детей осиротело. По всей Греции было множество одиноких матерей и детей без отцов, и Евгения поняла, что в смерти ее мужа уже почти не может быть сомнений.

– Доброе утро, батюшка, – пробормотала Евгения и, обойдя его, поспешно вышла из церкви.

Девочки без возражений двинулись за ней, чутко уловив перемену в настроении матери.

Солнечный свет ослепил Катерину. Николай Орфанос. Покровитель вдов и сирот. Она была убеждена, что мама где-то ждет ее, и мысль о том, что она, Катерина, – сирота, не укладывалась в голове. И все же по спине пробежал холодок. Она не понимала, почему по лицу Евгении текут слезы, и решила: должно быть, от яркого света.

Вскоре они свернули на улицу Ирины и пошли с холма к своему дому, а навстречу им поднималась Павлина. На этот раз с ней была еще какая-то женщина, повыше ростом и необыкновенно красивая.

– Здравствуйте, – сказала Павлина. – Как дела, кирия Караянидис?

– Отлично, спасибо, – ответила Евгения.

Катерина загляделась на эту красивую смуглую женщину. Давно уже она не видела таких дорогих платьев, и оно немного напомнило ей одно из маминых – с легкими складками внизу, развевающееся на ходу.

Ольга представилась и спросила у детей, как их зовут. Они с Евгенией обменялись любезностями, а вскоре к ним подошла еще одна соседка.

– А это кирия Морено, – сказала Павлина. – Она с семьей живет в доме номер семь.

– А вон там мой сын Элиас, играет с Ольгиным Димитрием, – с гордостью сказала Роза Морено.

Евгения взглянула на двух темноволосых мальчиков, которые беседовали о чем-то, почти касаясь друг друга головами. Если бы они не были одеты настолько по-разному, их можно было бы принять за братьев.

Завязался разговор. Женщины рассказывали друг другу о себе, о детях, о том, чем зарабатывают на жизнь. Евгения поняла, что все они так или иначе связаны с шитьем и тканями, и, оживившись, сообщила, что сама раньше ткала ковры.

– Может быть, мой муж знает кого-нибудь, кому нужны ткачихи! – радостно воскликнула кирия Морено. – Я его вечером спрошу. Сейчас ведь все турки уехали, и вы не поверите, как пострадали из-за этого некоторые ремесла. Никто, наверное, даже не подумал как следует, какая это будет потеря для города, когда подписывали этот договор.

– Это было большое потрясение, но кирия Караянидис наверняка знает об этом больше, чем кто-либо, – тихо сказала Ольга.

Дети уже испарились – им наскучил взрослый разговор. Мария ушла в дом, а София, более храбрая, осталась на улице и, прислонившись к стене, стала смотреть, как Димитрий с другим мальчиком катают по склону обруч. С каждой попыткой он не падал все дальше и дальше. Димитрий заметил, с каким восторгом девочка следит за его успехами,

и начал рисоваться. Через десять минут София уже разговорилась с мальчиками, и они стали играть вместе.

Катерина тем временем дошла уже до конца улицы. Она начнет искать маму прямо здесь и сейчас, и единственный способ – смотреть вокруг и расспрашивать. Мама всегда говорила: «Не будешь искать, так и не найдешь». Значит, надо искать.

Она снова оказалась перед маленькой церковью и поняла: если идти прямо вниз с холма, то попадешь в порт. Может быть, там у кого-нибудь есть список приплывших из Смирны. Откуда знать, что ее мама в Афинах? Может быть, ее тоже привезли в Салоники. Пока не спросишь, так и не узнаешь.

Далеко она не ушла – оказалась перед знакомым рядом магазинов. Ее привлек тот, с ленточками.

В витрине владелец выставил яркую радугу из атласа, и Катерина остановилась поглазеть. Магазин, заваленный пирожными от пола до потолка, и тот не манил бы ее к себе сильнее. Ей вспомнилось – так, будто это было уже много тысяч лет назад, – как мама смастерила ей юбку для танцев из ленточек в несколько рядов, сшитых вместе спиралью, так, чтобы цвета постепенно переходили один в другой – от красного к оранжевому, потом, через несколько оттенков желтого и зеленого, к голубому... Хоть на руках, хоть на своей незаменимой швейной машинке Зения Сарафоглу всегда шила Катерине платья с любовью и фантазией.

«Этот магазин показался бы маме настоящим раем, – думала Катерина. – Если она здесь, в этом городе, непременно сюда пойдет. В такие магазины она каждый день ходила».

С недетской решительностью Катерина толкнула дверь и вошла.

Когда створка открылась, над ней звякнул колокольчик. Он должен был известить продавца, что появился покупатель, но никого не было видно. Внутри магазина не было того яркого света, что снаружи, – там было темно и мрачно, но полоска света от двери выхватила из этой темноты тускло поблескивающие баночки с бусинами. Они стояли на полке, как конфеты.

Катерина закрыла за собой дверь и провела пальцами по катушкам с лентами, стоявшим на полках. На ощупь атлас был восхитительно приятным, и она не удержалась – взяла одну катушку и покрутила, чтобы лента разматалась ей в ладонь. Тут она услышала, как кто-то кашлянул. Катушка со стуком упала на пол, тут же чиркнула спичка, и над Катериной нависла огромная тень великана.

С колотящимся от ужаса сердцем девочка бросилась к двери, но, добежав до нее, увидела, что за прилавком теперь кто-то есть. Это оказался



никакой не великан, а обычный человек – в очках на кончике носа, с белыми волосами.

Порыв убежать из магазина угас. Что он ей может сделать, из-за прилавка-то? Желание найти маму оказалось сильнее робости.

– Чем могу тебе помочь? – Голос у владельца магазина был добрый, мягкий. Дедушкин. – Ты, наверное, хотела ленту в волосы?

Малышка не смогла ответить – страх еще не прошел.

– Маленький кусочек можешь взять, а больше нельзя, не то придется с тебя деньги брать.

Катерина подняла руку к волосам. Они были лохматые и не очень-то чистые. Может быть, с ленточкой будут лежать лучше?

– Какого тебе цвета? – спросил продавец и взял в руки огромные ножницы.

– Синего...

– Синего? – Он хмыкнул. – У меня их несколько. Наверное, штук триста разных оттенков синего. Светло-синий, темно-синий, индиго, кобальтовый, ультрамариновый, сапфировый, цвета морской волны... Какой тебе больше нравится?

Катерина видела, что он улыбается, гордясь тем, какое разнообразие цветов помещается в его маленьком магазинчике.

– Я не знаю. А вам какой больше всего нравится?

– Знаешь, меня еще никогда об этом не спрашивали, – ответил хозяин; эта девочка его все больше забавляла. – Когда покупатели приходят сюда, они, как правило, сами знают, чего хотят, и мое мнение их не интересует.

– Моя мама тоже такая, – сказала Катерина. – Когда она шьет мне платье, то всегда знает, чего хочет. Мне никогда не дает выбирать. Так что уж лучше вы скажите, какую мне взять.

– Ну что ж, в таком случае, раз уж ты спрашиваешь, я тебе подарю ленточку моего любимого цвета. У меня его немного осталось, но это цвет особенный – некоторые богатые дамы взяли моду отделять такими лентами шляпки.

Он сунул ножницы в карман фартука, приставил к полкам деревянную лестницу, забрался наверх, дотянулся до самой верхней полки и снял оттуда катушку.

– Этот цвет называется сапфировым, – проговорил он с лестницы. – Но тут в середине есть золотая ниточка. Я сам придумал. И многим дамам это, похоже, пришлось по душе.

Все еще стоя на шатающейся лестнице, он отрезал два кусочка сантиметров по пятнадцать длиной и вернул катушку на место.

Спустившись, он протянул ленточки Катерине, которая уже, как умела, заплела себе косички.

– Спасибо, – сказала она, завязывая ленточки. Проблески золота казались совершенно неуместной роскошью рядом с ее грязным платьем. – Спасибо большое! Очень красивые.

Она рассмотрела ленточки поближе, восхищенно погладила пальцем золотую полоску.

– Я ищу свою маму. Она шьет платья. Она не приходила сюда за ленточками?

Она спросила это так, что владелец магазина подумал, что девочка пришла с мамой и просто потерялась, пока они ходили за покупками.

– Где ты ее видела в последний раз? – участливо спросил он. – Я уверен, когда ты вернешься домой, то увидишь, что она уже ждет тебя там. Беспокойся, должно быть.

– Она не ждет меня дома. Она не знает, где я живу. Я уже давным-давно не видела ее.

Старик смотрел непонимающе.

– Мы жили в Смирне, – пояснила Катерина. – И я там потерялась.

Дальше можно было не рассказывать. Всему миру уже было известно о разгроме Смирны и о том, чем это обернулось для ее жителей.

– Что бы ни случилось, я не брошу ее искать, – добавила Катерина.

От этой детской веры в лучшее у галантерейщика сжалось сердце. Девочка и не знает, какой большой и суматошный этот город, не понимает, какая путаница началась, когда сюда хлынули новые люди. Он не знал, что сказать. Не хотелось разочаровывать малышку, но и ложных надежд подавать тоже не хотелось.

Словно для того, чтобы скрыть свой страх за нее, он бодро проговорил:

– Ну, тогда расскажи мне, как она выглядит, и если похожая женщина зайдет ко мне, я дам ей твой адрес.

Неторопливо и скрупулезно Катерина продиктовала имена и приметы матери с сестренкой и смотрела, как старик записывает:

– Зения Сарафоглу, волосы темные, глаза карие, с маленькой девочкой по имени Артемида.

Рукав у Катерины чуть-чуть задрался, и владелец магазина заметил шрам у нее на руке. Ему стало еще больше жаль девочку. Имя у матери не такое уж редкое, и найти ее надежды мало. Остается хоть что-то хорошее сделать для малышки. То, как она обрадовалась этим куцым ленточкам, глубоко тронуло его.

– Я тебе обещаю, что буду следить, не придет ли сюда твоя мама, а ты

забегай за новыми ленточками когда захочешь. Идет?

Катерина разулыбалась от уха до уха и на минутку отвлеклась от своей задачи – найти маму.

– Спасибо, – сказала она. – Кстати, меня зовут Катерина.

– А меня – кириос Алатзас.

Катерина вернулась на улицу Ирени, Евгения даже не успела ее хватиться. Софию Димитрий учил каким-то трюкам с обручем, Мария сидела дома, а сама Евгения все еще была занята разговором с соседками. К ним подошли еще какие-то женщины.

Следующие несколько дней Катерина, в сопровождении кого-нибудь из близнецов или обеих сразу, посвятила еще более усердным поискам. Заглядывала в двери церквей, мечетей, синагог, многие из которых выгорели во время пожара 1917 года. В иных до сих пор жили беженцы.

Улицы в Салониках были усажены деревьями, чтобы можно было укрыться в тени от палящего летнего солнца. Теперь стволы превратились в доски объявлений для беженцев, отчаянно пытающихся разыскать своих родных. Сама Катерина не могла разобрать имена, их читали ей Мария и София. Имя у мамы было довольно распространенное, и Катеринино сердце замирало по сто раз на дню, но, когда девочки дочитывали фамилию, падало, утратив надежду.

Три девочки все смелее исследовали город и стали уходить с запутанных узких улочек старых кварталов к коммерческому центру. По пути им попадались то благоухающий цветочный рынок, то ручные тележки, которые катили сюда за много километров с пригородных ферм сами фермеры и их жены. Укрывшись от солнца в тени собственных тележек, они поджидали тех, кто захочет купить их помидоры, дыни, картошку и баклажаны.

Подходя к великолепному зданию в неоклассическом стиле, где расположился крупнейший в Салониках банк, они знали, что до моря уже совсем близко. Катерина любила сидеть на берегу, свесив ноги – так, чтобы они почти касались воды, любила смотреть на нее – так, чтобы глаза на минуту теряли фокус и видно было, только как пляшут на поверхности солнечные зайчики. Через несколько минут близнецы начинали тянуть ее за руки – каждая со своей стороны, – чтобы поднять на ноги и утащить домой.

– Идем, Катерина! Нам пора! Мама будет беспокоиться!

На самом же деле Евгения знала, что они не заблудятся, и была только рада немного от них отдохнуть. Близнецам просто хотелось пойти полюбоваться своим любимым зрелищем – универсальным магазином.

Его витрины были словно бесплатный захватывающий кинофильм. Это был один из первых подобных магазинов в городе, и владелец находчиво разложил напоказ сразу все – от платьев и туфель до стеклянной посуды и фарфора. Девочкам этот магазин казался настоящим дворцом – в такие, должно быть, ходят за покупками принцессы. Они смотрели на женщин с красивыми прическами, на нарядно одетых детей, входящих в двери, и мечтали.

Вскоре они уже примелькались там, но все равно владельцы магазина каждый раз улыбались, завидев их: необычайное сходство близнецов и то, как они, словно в зеркале, повторяли каждый жест друг друга, зачаровывало всех. Со своими длинными косичками девочки были похожи на тряпичных кукол. Казалось, даже чулки у них морщатся одинаково – складка в складку, и носки башмаков оббиты совершенно идентично.

Почти каждый день, выходя на улицу, девочки встречали Дмитрия и Элиаса. Иногда они пытались играть в тавли, иногда гоняли мяч. А однажды девочки увидели Дмитрия одного, с хулахупом.

– Где же твой друг? – спросила Катерина.

– Не знаю.

– А братья и сестры у тебя есть?

– Нет.

– А отец? У меня вот нет отца.

– Да, отец есть. Но он работает, строит новый склад для товаров и еще новый дом для нас.

Мальчик объяснил, что его отец заново перестраивает дом у моря и что когда-нибудь они переедут туда.

Катерина слушала с круглыми от удивления глазами. Они с близнецами, бывало, засматривались на дома у моря и думали, кто же там живет – уж не королевская ли семья? Так вот почему Дмитрий так непохож на всех остальных детей на улице! Три девочки часто хихикали, когда видели его – в отглаженных брючках, в белоснежной рубашке. Иногда только колени оказывались запачканными, но все остальное так и сияло чистотой. Даже друг Элиас иной раз над ним подтрунивал. Саул Морено старался следить за тем, чтобы сыновья всегда были аккуратно одеты – плохая реклама была бы его швейному бизнесу, если бы его собственные дети не щеголяли в нарядных костюмах, – но даже если с утра они выходили при полном параде, то к обеду уже выглядели оборванцами.

– Мы иногда ходим посмотреть на корабли, – сказала Катерина, – сами, одни. Хочешь с нами?

Димитрий слышал, как его отец говорил об этих «новых» греках, и знал: он против того, чтобы сын с ними сближался. В разговоре проскальзывали слова «просфигес» (беженцы) и «малоазиаты» – люди из Малой Азии, и говорилось все это недобрым тоном. Хуже всего, по мнению Димитрия, было то, что они «крещенные в йогурте», – это ему казалось крайне негигиеничным обычаем. Только много лет спустя он узнает, что это просто уничижительное определение для христиан, прибывших в Грецию в порядке обмена населением. А сейчас, стоя совсем рядом с девочкой, он подумал только, что ничем таким от нее не пахнет. Должно быть, отец ошибся. Эти новенькие девочки, кажется, совсем такие же, как те, что ходят с ним в одну школу, только очень уж грязные и оборванные.

Димитрий был не прочь побродить по городу вместе с Катериной, но его мать волновали два соображения. В последние месяцы ею овладел сильный и необъяснимый страх перед городом. На улице Ирины она чувствовала себя в безопасности, но стоило только дойти до конца этой мощеной дороги, как ее охватывал ужас. Павлина убедила ее, что сыну этих чувств лучше не показывать.

Другой причиной, почему Ольге не хотелось, чтобы Димитрий уходил далеко, было то, что к ним мог зайти его отец. Обычно он бывал дома дважды в неделю, хотя никогда не гостил подолгу. Димитрий понимал: потому-то ему и приходится всегда быть таким чистеньким, потому мама и заставляет каждый день надевать свежую рубашку, и умываться приходится каждое утро и каждый вечер, и ногти чистить. Все это было «на всякий случай».

Когда Константинос Комнинос изредка появлялся на улице Ирины, у него всегда было тут два дела. По вечерам он заходил перекинуться парой слов с Саулом Морено – одним из множества еврейских портных, покупавших его ткани. Но главной целью было проверить, как дела у сына. Отец осматривал отпрыска с головы до ног, а раз даже за ухо потянул, чтобы посмотреть, чисто ли оно вымыто.

Однажды Константинос появился дома по другому поводу. Димитрия отправили наверх, и он сидел там на своей узкой кровати и слушал, что происходит внизу. Тишину вдруг пререзал какой-то незнакомый звук. Плач взрослой женщины. Димитрий выбрался на верхнюю площадку лестницы и прислушался.

Это было похоже на две мелодии фортепиано: правая рука – мамин плач, левая – голос отца. Они переплетались, но ни одна не перекрывала другую – обе слышались с одинаковой громкостью. Многих слов

Димитрий не понимал или не мог разобрать, но некоторые были ему знакомы. Среди них – «Смирна» и «Малая Азия».

Плач матери заставил его спуститься по лестнице. Отец сидел напротив Ольги и читал вслух что-то из газеты. Увидев сына, появившегося внизу, он остановился.

– Димитрий! – строго прикрикнул он.

– Димитрий, – эхом негромко повторила мать. – Иди наверх, милый, давай-ка, быстренько.

Мальчик прирос к полу. Он был словно заморожен. Никогда еще он не видел мать такой. Ее обычно безупречно уложенные волосы растрепались. Глаза покраснели.

– Вообще-то, думаю, мальчику следует знать, – сказал отец, сложил газету и спрятал в конверт.

Наступило минутное молчание. Димитрий стоял на ступеньке, не зная, можно ли ему присутствовать при этой взрослой сцене со слезами и таинственными вестями. Ему хотелось подбежать к маме, но он боялся – кто знает, что на это скажет отец.

– Твой дядя Леонидас некоторое время тому назад пропал без вести в Турции, а теперь нашли его тело.

Эту официальную информацию Константинос изложил без всяких эмоций. Димитрий слушал. Он хорошо помнил дядю, и это были приятные воспоминания, но огорчило его не столько само известие, сколько то, как потрясло услышанное маму, – этого он уже никогда не мог забыть.

Потом, когда отец ушел, мама снова уложила волосы и кирия Евгения зашла проведать соседку, Димитрий вышел на улицу и встретил там Катерину и близнецов.

– В следующий раз, когда пойдете к морю, – сказал он, – я пойду с вами.

# Глава 11

После долгих уговоров Павлины Ольга наконец разрешила сыну бродить по улицам, на которых выросла.

– Если вы сами боитесь, – убеждала ее преданная служанка, – это еще не повод и сына дома запирать. Ему учиться нужно.

Сдавшись на уговоры, Ольга поставила только одно условие: эти прогулки должны остаться тайной для отца.

Для Дмитрия наступили беззаботные дни. Вместе с ним и тремя девочками обычно ходили гулять и Элиас с Исааком. По улицам стайками ходило много ребят, так что на их маленькую компанию, шатающуюся по городу, оживленно болтающую и играющую в прятки, никто не оборачивался. У Дмитрия всегда было с собой несколько монеток, а на них у уличного торговца можно было купить кулиорий – круглых булочек с кунжутом. Этого им хватало, чтобы насытиться на весь день, до возвращения домой.

Раза два они оказывались поблизости от одного из складов Комниноса и обходили его кружным путем. Часто на глаза им попадался большой особняк на берегу, который сейчас перестраивали. Леса еще не убрали, но стекла в окна были уже вставлены.

– Ты скоро будешь здесь жить? – спросила как-то Катерина.

Дмитрий не ответил. Он безучастно смотрел на огромный дом с рифлеными колоннами и роскошным парадным крыльцом. С этим зданием его ничто не связывало. Его дом был на улице Ирины, и он со страхом ждал того дня, когда придется оттуда уехать и жить с отцом, которого он едва знал.

– А нам-то можно будет к тебе приходиться? Не прогонят? – насмешливо спросила София.

Внешне София с Марией были совершенно одинаковые, но в остальном у них было мало общего. Мария заметила, что Дмитрий покраснел от этого ехидного вопроса.

– Перестань, София.

– Может, твой отец нас и на порог не пустит – таких-то оборванцев в дырявых чулках?

– София!

Катерина видела, что Дмитрию неловко, и решила, что пора сменить

тему разговора.

– Идем, Димитрий, – сказала она и потянула его за руку. – Хватит тут стоять.

– А давайте поищем какой-нибудь новый путь домой, – предложила Мария.

Они свернули на узкую улочку, ведущую на север от моря, и шли все в гору и в гору, пока она не пересеклась с другой, большой улицей. Перешли ее, оглядываясь по сторонам, чтобы не попасть под какой-нибудь из дребезжащих трамваев, которые как раз катили навстречу друг другу.

– Где это мы? – робко спросила Катерина минут через двадцать.

– А я знаю! А я знаю! – пропела София. – А я знаю, где мы!

– Ну, так где же? – спросила Мария.

– Мы... возле кладбища, – ответила сестра, оглядевшись вокруг и заметив, что они стоят напротив ворот большого городского некротафио.

– Идемте! Посмотрим...

– На что там смотреть? – возразила Мария.

– Как на что? Посмотрим, что там! – воскликнула София.

– Ты хочешь сказать – кто? – вмешался Димитрий.

– Ну да, наверное, – буркнула Мария: ее, как всегда, сердило, что такой маленький мальчик вечно ее поправляет с почти взрослой педантичностью.

Дети решительно вошли в железные ворота. Они были не одни в этой деревне мертвецов. Несколько женщин, убирающих могилы близких, подняли на ребят глаза и улыбнулись. Они работали так, словно занимались какими-то привычными делами по хозяйству, – мыли и чистили надгробия так же, как дома натирали ступеньки лестницы или отмывали до блеска окна, ставили цветы, словно на столик в кухне, сметали листья так же, как утром у себя на заднем дворе. Тут было несколько внушительных памятников – изваяния ушедших в натуральную величину, и в сумерках казалось, что они вот-вот оживут.

Катерина читала надписи и стихи, посвященные покойным, и заметила, что многие могилы совсем свежие. Она оглянулась на Марию:

– Как ты думаешь?..

– Нет, – твердо ответила Мария. – Я думаю, твоей мамы здесь нет.

София сидела на мраморной ступеньке в конце одной из «главных улиц» кладбища, которых тут было не меньше десятка. Она обнаружила семейство котят, живущих под плитой у входа в какой-то фамильный склеп, и один из них уже устроился у нее на коленях и мурлыкал. Мать котят, по всей видимости, куда-то исчезла. Димитрий с Элиасом неподалеку соревновались в меткости, кидая камешки в начерченный



в пыли круг.

– Может, возьмем одного домой?

– Глупости, София, – сказала Мария. – Мало нам кошек на улице. Идем. Домой пора. Катерине тут, похоже, не нравится.

Хорошо, что можно было сослаться на Катерину. На самом деле им всем было не по себе в быстро сгущающихся сумерках – среди теней и призраков.

Евгения еще раз сходила в контору Комиссии по расселению беженцев. Та самая элегантная американка, что так помогла им несколько месяцев назад, была все еще здесь: распределяла пожертвования и давала советы нуждающимся.

– Как ваши девочки? – спросила она.

– Неужели вы нас помните?

Евгения даже не поверила. После них еще столько тысяч беженцев приехало в Салоники, и почти все они прошли через эту контору.

– Конечно. Вы, девочки-двойняшки и еще малышка. Каждая семья чем-то запоминается, не тем, так другим. А у вас еще и близнецы, как тут не запомнить. А младшая ведь не ваша дочь, да?

– Не моя, – ответила Евгения. – Я, собственно, потому и пришла. Мы все ищем ее мать и сестру.

– Можно понять, – улыбнулась американка. – Кое-какие записи велись, да. Но лучше всего вам начать с ближайших лагерей беженцев.

– Но она же уехала в Афины!

– Это малышка так считает, но на самом деле совершенно не исключено, что ее корабль ушел в Салоники. Мне кажется, стоит для начала проверить здесь.

Вокруг города было несколько лагерей беженцев, и там расположилось более ста тысяч человек. Обещанные новые дома предстояло еще построить. Конечно, ехать туда нужно было вместе с Катериной, чтобы та могла опознать мать, и на следующий же день они отправились на автобусе за город и приступили к поискам.

Жилища в лагере представляли собой странное зрелище. Пустые расплюснутые жестяные канистры из-под керосина служили стенами, разломанные дорожные чемоданы пущены на рамы. Все это были временные постройки, однако в них чувствовалось что-то постоянное. Это было видно хотя бы по горшкам с цветами, стоявшим у дверей. Просунув голову внутрь одной из времянок, Евгения увидела чисто выметенный земляной пол и обычную обстановку простого дома Малой

Азии – тяжелые плетеные одеяла вместо матрасов, икона святого на стене.

Много часов подряд они ходили по рядам этих серебристых домиков, снова и снова спрашивая об одном и том же. Случалось изредка, что кто-то как будто даже припоминал это имя. Один старик долго чесал в затылке, словно надеялся выскрести оттуда какие-то важные сведения. Одна женщина скрестила руки на груди и отшатнулась, словно вдруг что-то вспомнила. Оба раза Катерина воодушевлялась – и тут же сникала, когда оказывалось, что никто ничего не знает. Все остальные сразу же качали головами, или пожимали плечами, или вообще не слышали вопроса: они были слишком подавлены своими несчастьями, чтобы заинтересоваться чьими-то пропавшими родственниками.

Евгения всегда начинала с того, что спрашивала людей, не знают ли они кого-нибудь из Смирны. Многие из тех, кого они встречали, были похожи на уроженцев Черноморского побережья, Евгения даже встретила кое-кого из Трабзона. Тут были и слезы, и улыбки, и короткий обмен воспоминаниями о Малой Азии, но фамилия Катерины не оказалась знакома никому. Ни единому человеку.

Через несколько дней хождения по лагерю у Евгении не осталось иллюзий по поводу того, не лучше ли им было бы здесь, среди других беженцев. Она поняла, что им выпала невероятная удача в тот день, когда их поселили на улице Ирины. По сравнению с картинами нищеты и убожества, которые они видели в этом лагере, Митилини казался цивилизованным местом, и Евгения вернулась домой, в старый город, переполненная неожиданной благодарностью судьбе за то, что у них есть своя собственная дверь.

Все было за то, что Катерина, пожалуй, права, и ее мать с сестрой – в Афинах. Американка сказала Евгении, что там тоже сотни тысяч беженцев, и у многих еще нет постоянных адресов, но она постарается чем-нибудь помочь. А пока Евгения заверила Катерину, что они не отступятся от поисков. На следующей неделе женщина с девочкой отправились в другие лагеря, подальше.

В желающих присмотреть за Марией и Софией недостатка не было. То они ходили обедать к Ольге с Димитрием, то кирия Морено приглашала их к себе и угощала совсем другой едой. Саул Морено обычно приходил с работы в пять часов, и они все усаживались плечом к плечу вокруг стола на кухне, а маленькая бабушка, иногда одетая в свой меховой жакет, тихонько жевала что-то в углу. Беспорядок тут был какой-то уютный, а еда еще лучше.

Когда совершенно вымотанные Евгения с Катериной вернулись после

своих безуспешных поисков, в доме не было никакой еды. И в течение нескольких дней Морено звали их к себе обедать. И Евгении, и девочкам нравилась атмосфера этого дома, и бабушка в своем традиционном наряде, и обрывки стихов на ладино.

Саул Морено рад был публике и с удовольствием пересказывал истории о переселении евреев из Испании. В один из вечеров он особенно проникся грустью по тем временам, которых не застал, но наследием которых не переставал восхищаться. Он потихоньку признался Евгении, что двадцатый век пока не стал для них золотым и что до 1912 года, пока город еще входил в Османскую империю, им жилось лучше. Мусульманские правители относились к евреям с большей терпимостью, чем православные греки, которые сделали официальным выходным воскресенье, пренебрегая важностью Шаббата.

Дети уже болтали ногами, покашливали и ерзали на стульях, заскучав от этих разглагольствований.

– Я не говорю, что сейчас плохо живется, – продолжал Саул, наклоняясь к Евгении. – Но все-таки не то, что было до пожара. А потом еще все мусульмане уехали, как вам известно. Это тоже был не подарок. После всех этих перемен мы остались в меньшинстве, а это, разумеется, породило новые сложности.

– Ну, будет, дорогой, не расстраивайся. – Кирия Морено погладила мужа по плечу. – И сейчас все не так уж плохо. Не стоит донимать бедную Евгению такими скучными разговорами.

Элиас подавил зевок и тут же получил тычок под ребра от старшего брата.

– Мне совсем не скучно, – возразила Евгения. – Когда знаешь, что мы не первые приехали сюда, не имея крыши над головой, становится легче.

– Вы определенно не первые. Может быть, и у вас будет свой золотой век, как у нас был.

– Сомневаюсь, – сказала Евгения. – Но и сейчас жить можно. Вот если бы еще хоть к кому-нибудь вернулись мужья...

Пока Евгении не было дома, там накопилось дел. Вымыв полы, она принялась за самую трудную работу – стирку постельного белья. Сообразив, что это прекрасный случай устроить возню и поколотить друг друга мокрыми тряпками, Мария с Софией охотно взялись выкручивать огромные белые хлопковые простыни. Катерина же потом помогала Евгении их развешивать. Когда работа была закончена, они вернулись в дом.

– Катерина, – сказала Евгения, – давай напишем письмо твоей маме? Та американская леди обещала помочь его доставить.

Простыни, вывешенные на балконе, сохли на свежем воздухе.

За много миль от них, в Афинах, мама Катерины тоже развешивала белье. В обитом изнутри плюшем здании Афинского оперного театра она пристраивала влажную блузку на барьер балкона.

Беженцев разбросали по всей столице: разместили в школах, театрах, церквях – повсюду, где можно было найти место для детей и взрослых, пристроить какие-никакие пожитки и переночевать.

Оперный театр был последним зданием, чьи двери распахнулись для беженцев. По ночам люди спали рядами на твердой покато́й сцене или поперек скрипучих бархатных кресел в партере. Большим семьям предоставили в качестве временного жилья бельэтаж. Весь театр им завидовал – там было больше уединения, да еще и ковры на полу.

Когда-то прекрасное здание теперь походило на мусорную свалку, и запах там стоял как из открытой канализации. Водопровода не было, а когда кто-нибудь пытался развести костер, чтобы приготовить поесть, к отвратительной смеси запахов добавлялась еще и вонь тлеющего бархата.

Зении с малышкой отвели место в бельэтаже вместе с другими матерями с младенцами. Там же оказалось несколько ее соседок из Смирны. Они не разлучались с самого дня побега. Эти женщины расспрашивали Зению о том, как она потеряла дочь, заверяли, что они непременно найдут друг друга, обещали помогать ей всеми силами. Но ей было трудно забыть, что эти самые люди не выпустили ее из лодки, когда она поняла, что Катерины с ней нет. Женщина до сих пор недоумевала, зачем послушалась их тогда. Простить такое было трудно, и горечь на душе не проходила.

За эти месяцы Зения поняла, почему все так беспокоились, что лодка перевернется. Они боялись не за себя. Эти люди успели спасти мощи и несколько икон из их церкви в Смирне и с тех самых пор планировали построить новую церковь и принести в нее частицу старой. Бесценные осколки прежней жизни лежали тогда на дне лодки, и беглецы никак не могли допустить, чтобы кто-то помешал их спасти. Только поэтому они и встали между Зенией и Катериной.

Зения старалась выкинуть эти мысли из головы. Она тосковала по убитому мужу и пропавшей дочери и каждый день уходила из шумного и грязного Оперного театра в ближайшую церковь. Она целовала стеклянный экран, стоявший между ней и иконой Панагии, и думала,

сколько же отпечатков губ на этом стекле – ее. Каждый день она просила об одном: открыть ей правду. И горевала, даже не зная, жива ее любимая дочь или нет.

Удалось ли Катерине спастись от жестокой мести турецких солдат? Зении нужно было только одно: «да» или «нет». Слухи о массовых изнасилованиях и отрезанных головах быстро расползлись за пределы Смирны. Она хотела только знать, жив ее ребенок или умер, каким бы страшным ни был ответ.

Поговаривали о новых домах для обитателей Оперного театра, и эти вести вызвали радостное волнение. Зения мечтала, что в новом доме будет камин, туалет на улице, стол и стулья, кроватка для малышки и диванчик для Катерины. Словно для того, чтобы подстегнуть ее фантазии, одна из соседок по бельэтажу рассказала, что есть люди, которые могут помочь ей разыскать дочь.

– Может быть, им удастся найти ее и передать письмо. Возьми да напиши, посмотрим, что из этого выйдет. Хуже ведь не будет, правда?

На следующий день Зения отыскала дорогу в Комиссию по расселению беженцев.

– Моя девочка еще маленькая и читать толком не умеет, – объяснила она женщине, сидевшей за столом, – но, может быть, кто-нибудь где-нибудь увидит ее имя и догадается...

– Да, – сказала женщина и повторила слова Зении с сильным французским акцентом: – Может быть, кто-нибудь где-нибудь догадается...

Она равнодушно взглянула на письмо и бросила его в стопку на столе.

«Катерине Сарафоглу, – было написано на конверте. – Из Смирны».

Зения мало надеялась, что письмо дойдет до адресата, но что еще она могла сделать? Это было все равно что выпустить наугад стрелу в темноту.

## Глава 12

Несколько лет Катерина старательно писала письма, однако ответа все не получала. Но это ее не останавливало. Заодно и хороший повод поупражняться в письме. Месяц за месяцем ее горячее желание разыскать маму слабело, зато почерк становился тверже. В этих письмах без ответа она писала обо всем, что делала, о том, как проводила дни. Это был дневник совершенно счастливого ребенка.

Каждое письмо Евгения относил в контору Комиссии по расселению беженцев, а оттуда их, в свою очередь, передавали на почту. Евгения заметила, что их знакомой американки там уже нет, и поняла, что служащих сокращают. Жизнь беженцев начала устраиваться. Правда, многие до сих пор еще жили в лагерях, но большинство благополучно переселили в специально построенные деревни на севере. Кухни, где раздавали бесплатный суп, еще работали, но почти все люди уже сами зарабатывали себе на жизнь: перебирали табак или изюм, ткали, шили. Те, у кого была какая-то профессия, наконец-то смогли устроиться.

Ольга одолжила Евгению денег на покупку ткацкого станка, и маленький домик наполнился ритмичными звуками снующего туда-сюда челнока.

– Деньгами отдавать не надо, – сказала Ольга, – но можете когда-нибудь потом, когда мой дом будет готов, соткать мне туда что-нибудь.

Евгения улыбнулась. Денег, которые она зарабатывала, едва хватало на еду и одежду, и она была очень благодарна Ольге за ее доброту. Особняк понемногу отстраивался, но времени до того дня, когда нужно будет выплатить долг, оставалось еще немало.

Катерина любила смотреть, как у нее на глазах растет ковер. Близнецам это было не так интересно. Ткацкий станок напоминал им о доме, о прежних временах, до приезда в Грецию. Стук челнока и вид шерстяных мотков, сваленных кучами у матери под ногами, переносил их в почти уже забытое прошлое, и они сами не знали, были ли эти смутные воспоминания сладкими или горькими. Самые яркие впечатления оставил побег. За несколько минут до этого мать сидела за станком и ткала.

Евгения не поддавалась на Катериныны просьбы дать ей поиграть со станком. Ковер требует твердой руки, чуть собьешься – и цена ему уже не та. Поэтому Катерина сидела рядом и довольствовалась своей работой –

вышивкой, которой занималась под руководством настоящей мастерицы – кирии Морено.

Кирия Морено не ходила каждый день в швейную мастерскую, а работала дома: вручную доделывала мелкие детали на одежде, которую шили на предприятии ее мужа. У нее было два сына и ни одной дочери, и она с радостью согласилась научить Катерину кое-каким из своих излюбленных швов и приохотила ее к вышиванию картин цветным шелком – она сама этим увлекалась, когда ей было девять лет. Через несколько месяцев тоненькие пальцы и острые глаза Катерины уже справлялись с такими тонкими узорами, что и самой кирии Морено были не под силу.

Соседи по улице Ирины еще больше сблизились. Двери в домах были, но их никто никогда не закрывал. Зимой вход завешивали плотной занавеской, чтобы тепло не выходило, а летом – другой, полегче, чтобы дом хоть немного продувало ветерком, веющим с моря. Занавеска означала, что и дети, и взрослые могут входить друг к другу без приглашения. Ребятишки носились туда-сюда всей гурьбой, и получалось так, что в доме или все шестеро малышей, или ни одного. Они росли вместе, почти как братья и сестры, а не просто друзья.

На этой улице всегда кипела работа. Разве что Ольга иной раз оставалась без дела. Она все-таки была дама и вот-вот должна была вернуться в свою обычную жизнь, в роскошный особняк, но ей вовсе не хотелось с этим спешить. Раз в неделю она заходила в новый дом, когда нужно было решить, в какой цвет красить стены, и уже несколько лет отдавала распоряжения по поводу обстановки комнат. Маляры, драпировщики, мебельщики, ткачи-ковровщики – кто только не побывал в доме у моря. Когда дошло до подписания контрактов на работу, всем им пришлось удивиться.

– Торопиться некуда, – говорила Ольга с милой улыбкой.

Все высшее общество Салоников всегда требовало, чтобы работа была сделана вчера. Исключая кирию Комнинос. В этом городе, где богатые становились все богаче, а бедные – все беднее, те, у кого были деньги, только и делали, что ужесточали требования. Все подрядчики обсуждали между собой эту странность. Они не могли понять эту женщину, что велела им работать потихоньку, без спешки, и недоуменно чесали в затылках.

Торговые склады Комниноса процветали. Его бизнес рос в геометрической прогрессии, и теперь Константиносу уже не терпелось перебраться в новый дом. После пожара прошло уже почти десять лет, и, хотя их с Ольгой и Димитрием жизнь вошла в рамки, которые ему

идеально подходили, позволяя всецело сосредоточиться на бизнесе, теперь ему хотелось утвердить свой статус роскошным домом, и семья должна была переселиться туда.

Димитрия тоже несколько раз брали в новый дом. Ему он казался пугающе огромным. Комнаты больше, чем его школьный класс, а необычайно высокие потолки напоминали о церкви. Мальчику казалось, что там все время холодно и слишком много слепящего света, и пахло чем-то странным – он не мог определить чем.

Рассказывая об этом Павлине, Димитрий сказал только:

– Пахнет белым.

Павлина пыталась пробудить в нем энтузиазм, но он ничего не хотел слушать.

– У тебя будет такая большая комната, – говорила она. – А я тебе буду готовить всякие вкусные вещи на новой кухне!

Димитрий стал со страхом ждать того дня, когда придется переезжать в новый дом, – он понимал, что после этого в его жизни многое круто изменится. Столько лет он каждый день видел Элиаса, Исаака, Катерину и близнецов. Он знал: теперь придет конец играм в чет-нечет или его любимым лос-паликос.

Кроме того, отец сказал Димитрию, что переведет его в новую международную школу, где он будет изучать французский язык и общаться с совсем другими детьми. Обе эти перспективы его не особенно радовали. Он любил своих старых друзей и не хотел учить чужой язык.

Ольгу тоже не радовала мысль, что ей придется вернуться к прежней одинокой жизни у моря: ее пугало затворничество, она понимала, что будет скучать по этим удивительным людям, которые научили ее тому, что утраты, разлуки и предчувствие надвигающихся бед могут делать людей не слабее, а сильнее. Павлина ощущала то же самое и думала, что больше всего будет скучать по безобидным сплетням, которыми обменивались между собой женщины на улице.

Настал день, когда они наконец начали укладывать вещи. До нового дома было меньше двадцати минут пешком, но в груди у них бурлило столько эмоций, словно они уезжали за границу. К двери подкатила ручная тележка, чтобы забрать коробки с вещами, накопившимися за эти годы, а блестящий черный автомобиль ожидал их в конце дороги. Улица Ирины была слишком узкой, и автомобиль не мог подъехать прямо к двери, но все знали, что он уже здесь – ждет, чтобы увезти Ольгу в прежнюю жизнь, а Димитрия – в новую. Димитрий торжественно попрощался с друзьями за руку, а Элиаса, своего молочного брата, крепко обнял. Женщины, когда



настало время прощания, плакали без всякого стеснения.

Наверное, в последний раз мальчик позволил матери взять его за руку, и они пошли прочь от дома, где были так счастливы.

У Зении не было никакой уверенности, что Катерина жива, но она продолжала писать ей. Более четырех лет прошло с тех пор, как обе бежали из Смирны, и их письма друг к другу так и лежали в сортировочном отделе на окраине Афин. Десятки, а может, и сотни тысяч неотправленных писем были свалены там пачками – свидетельство того, какое огромное количество людей оказалось в разлуке со своими близкими или не имело постоянного адреса.

Разбирал письма один педантичный, почти маниакально дотошный почтальон. Он делал все возможное, чтобы доставить корреспонденцию по адресу. Этот пятидесятипятiletний холостяк жил с матерью-вдовой и всю свою жизнь посвятил изучению иностранных языков. Он читал по-французски, по-итальянски, по-болгарски и по-английски и изучил алфавиты еще нескольких языков, чтобы разбирать адреса. Все это он выучил сам, по книгам, при свете свечи, в той самой темной и мрачной комнатухе, в которой когда-то давным-давно появился на свет. Под густой гривой седых волос скрывались такие блестящие лингвистические способности, что иной раз к нему обращались за консультацией по переводам даже университетские профессора и политики. Однако он не претендовал ни на какие посты и хотел только одного: выполнить официально порученную ему работу, добиться, чтобы все письма дошли до адресатов. При таком количестве приезжих и таких перемещениях людей это обернулось невероятно трудной задачей.

Когда письма уже некуда было складывать, пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Что, по понятиям почтальона, означало вскрыть конверт и нарушить тайну переписки. Для такого педанта, как он, действительно крайнее средство. Если же и это не сработает, придется пойти еще дальше и уничтожить письма, а для него это было бы такое позорное поражение, что он не смог бы потом заснуть ночью.

В огромном складе, заставленном коробками с письмами от пола до потолка (на каждой коробке – место назначения), почтальон трудился до глубокой ночи, начиная обычно с самых давних писем. Однажды выдался день, когда голова у него работала особенно ясно – с такой отчетливостью вспоминались письма, которые, как он знал, хранились на складе, и так быстро выстраивались связи.

Одни письма были помечены в соответствии с видами почтовых марок,

другие по месту назначения, третьи – по названию бывшего места жительства отправителя в Малой Азии. Временами почтальона осеняло, и он вспоминал, где именно видел письмо, подходящее по тем или иным приметам.

Катерина подписывала конверты: «Зении Сарафоглу, Афины». Почтальон заметил письма, адресованные «Катерине Сарафоглу, из Смирны». Не связаны ли эти два адресата друг с другом? Надежды было мало, и все же он осторожно вскрыл по письму из каждой пачки и отметил адреса, с которых они были отправлены.

Он увидел, что письма Катерине отправлялись из той части Афин, где селили в основном беженцев из Смирны, уже известной как Новая Смирна. Затем аккуратно надрезал конверт с почтовым штампом Салоников. На листке он увидел буквы, выписанные крупным, но разборчивым детским почерком. Наверху стоял адрес: «Улица Ирины, 5», а внизу подпись: «Катерина».

Сердце у него слегка дрогнуло. Не было уверенности, что это та самая Катерина, но он почувствовал, как у него вспотели ладони, словно он был детективом и интуитивно нащупал ключ к разгадке преступления. Попытка не пытка! Он отправил письма для Катерины своему коллеге в Салоники с припиской: «Попробуйте передать по этому адресу».

Через несколько недель Евгения услышала стук в дверь.

– Я знаю, это не ваша фамилия, – сказал почтальон, – но... – Он показал ей пачку писем, не выпуская из рук. – Вы не знаете никого по фамилии Сарафоглу?

Евгения взглянула на имя и кивнула.

– Тогда кому-то будет что почитать! – весело сказал почтальон, повернулся и ушел.

Писем, перевязанных веревочкой, было по меньшей мере тридцать или сорок. Евгения взгляделась в тонкий изящный почерк. Вздохнула. Вот оно, то, чего Катерина ждала все эти годы. Евгения сама делала все для того, чтобы Катерина не забывала свою настоящую семью, но теперь, держа в руках то, что должно было вернуть ей семью, поняла, как сильно полюбила эту девочку. Она по целым неделям не вспоминала, что Катерина не ее плоть и кровь. Письма отправились на высокую полку возле иконы, где всегда светилась маленькая лампадка, и несколько дней лежали нетронутые.

Однажды, через несколько дней, Евгения пошла в церковь Святого Николая Орфаноса, мучаясь чувством вины за то, что до сих пор не отдала письма Катерине. Перед собой она оправдывалась тем, что не хочет

расстраивать девочку. Она помолилась Панагии, чтобы та наставила ее на путь истинный.

Дома Евгения начала готовить ужин, но письма никак не шли у нее из головы. Она подняла взгляд, чтобы убедиться, что они никуда не делись, но тут заметила кое-что еще. В первый раз с тех пор, как Евгения зажгла масляную лампадку перед иконой – года четыре назад, – она погасла. Это знак. Должно быть, Господь гневается на нее за то, что она не отдает письма.

Девочки пришли домой примерно через час. Дорога из школы была длинная, они проголодались. Сразу же после ужина Евгения услала близнецов наверх и, стараясь скрыть волнение, сказала Катерине, что у нее есть кое-что для нее.

– Тебе тут письма пришли, – сказала она. – Я не открывала, они тебе адресованы, но думаю, они от твоей мамы.

– От мамы! – воскликнула Катерина. – Где они? Где?

Евгения уже разрезала веревочку и разложила письма по датам на штемпеле.

– Вот они, – сказала она и выложила их на стол двумя стопками.

Катерина смотрела на письма, охваченная внезапным страхом. Письма от женщины, которая уже стала незнакомой. Только сейчас девочка поняла, что совсем забыла ее лицо. Если бы они встретились на улице, Катерина не узнала бы ее.

Евгения начала читать письма вслух, иногда пропуская строчку-другую, когда ей казалось, что так будет лучше. Катерина уже довольно хорошо читала, но сотни страниц, исписанных наспех неровными строчками, ей было не осилить.

С десятков самых первых писем были написаны легко и весело, там упоминались всякие мелочи, случившиеся за время путешествия из Смирны в Афины. Эти письма писались без надежды, что они когда-нибудь дойдут до адресата, но тон у них был такой, словно мать и дочь отправились в увеселительную прогулку и скоро увидятся снова. На каждой странице встречались беззаботные мечтания о том, что они будут делать, когда снова окажутся вместе, о том, какие платья Зения сошьет Катерине, какую отделку подберет на чепчики и слюнявчики для малышки, и о новых темах для вышивок.

Мать писала и о том, что было с ней и Артемидой, когда они приплыли в Афины. Это было совсем не похоже на то, что пережили Катерина с Евгенией, общее было только одно: руки помощи, протянутые им благотворительными организациями.

«Без них, – писала Зения, – нам было бы не выжить».

*Но ты и представить себе не можешь, где нас поселили! Это не обычный дом, вовсе нет. Это Оперный театр – одно из самых красивых зданий в Афинах. Тут ставят спектакли, только артисты там не говорят, а поют. Все певицы там в длинных платьях, и люди, что приходят смотреть, тоже всегда красиво одеты (только сейчас, пока мы все здесь живем, представлений не дают). Все тут красное и золотое: ковры красные, кресла красные и огромные красные бархатные портьеры, расшитые золотом, с такими длинными кистями, каких нигде в мире больше нет. Ты только представь, как выглядел бы дворец великана, если бы этот великан был королем, – вот в таком мы и живем сейчас. Все такое огромное, и мы будем жить в этом сказочном доме, пока нам не найдут постоянное жилье!*

Жизнь в Оперном театре, если верить этим письмам, была веселой, дружной и приятной. Совершенно очарованная, Катерина слушала, как мама описывает этот дворец, населенный обычными людьми, которых пригласил туда милостивый, хотя и невероятно огромный монарх. Описание гигантских котлов, из которых им разливали суп, дополняло эту картину жизни под дружеским покровительством невидимого великана. Ни разу Зения ни словом не обмолвилась об убогой действительности.

*Конечно же, мы не сидим весь день в Оперном театре. Иногда мы выходим на улицы и осматриваем Афины.*

Правдиво описывать улицы переполненной людьми столицы Зения тоже избегала. Она старательно опускала такие детали, как попрошайничество и проституция – хотя для Катерины подобные беды были не в диковинку, – все больше рассказывая о широких площадях, о памятниках, которые даже дети, выросшие в Смирне, видели на картинках в книжках.

*На большой скале над городом стоит одно из самых древних и знаменитых зданий во всем мире. Оно называется Парфенон, там когда-то был храм. Он нарисован на обложке книги, которая была у тебя, когда ты была маленькой. Когда солнце садится, он весь залит янтарным светом, и кажется, будто охвачен огнем.*

Катерина сидела за маленьким столиком, вокруг которого вращалась вся жизнь в этом доме, и жадно впитывала каждое слово. Иногда голос делался таким близким, что казалось, это мама с ней говорит. А потом вдруг становился похожим на отдаленную мелодию, и приходилось напрягать слух, чтобы уловить ноты.

Тут и там в письмах были рассыпаны имена людей из Смирны, и кое-

какие из них Катерина смутно припоминала. Вплетенные в историю жизни Зении, они снова стали близкими.

После первых десяти-двенадцати неизменно веселых писем, написанных в первые месяцы после бегства из Смирны, поток корреспонденции прервался.

Затем пошли письма с описаниями новой деревни, куда они переселились. Зения призналась, что с домом великана они расстались без всякого сожаления.

*Он запустил туда столько народу, что не повернуться, а новые дома строили специально для нас, в них гораздо просторнее. Тут все как в обычной деревне – улицы, маленькие домики. Нас поселили вместе с одной женщиной и девочкой, но дети друг с другом уже неплохо ладили.*

Евгения отметила этот нюанс. Выходит, дети естественно и охотно стали играть вместе, а вот матери еще не знают, уживутся ли друг с другом. Такое вынужденное соседство посторонних людей обычно никого не радует.

Один из очень немногих мужчин в этом вдовьем царстве сделал Зении предложение. Ангелос Пантазоглу жил по соседству вместе с тремя детьми (его жена умерла родами младшего).

Женщин среди беженцев было в два с лишним раза больше, чем мужчин, и Зения понимала, что ей выпала редкая возможность найти отца для своей дочери. И вот в один прекрасный день, в пятницу, она во второй раз в жизни испила из общей чаши и ощутила на голове легкое касание свадебного венца. В письме к дочери она описывала тучного священника, который так страдал от одышки, что еле-еле обошел положенные три круга вокруг алтаря.

В письмах, написанных почти через год, сообщалась новость о сыне: «Теперь у тебя и у Артемиды есть братик, конечно, и у других твоих братьев и сестер тоже».

Евгения прочитала всю пачку почти без остановок. Ей казалось, что эту повесть лучше читать подряд. Катерина ни разу не перебила, только когда Евгения перечисляла имена ее сводных братьев и сестер, повторяла за ней: Петрос, Фросо, Маргарита, а теперь еще брат, маленький Манос.

Письма всегда кончались одними и теми же словами: «Если это письмо дойдет до тебя, Катерина, надеюсь, оно вернет тебя к нам. Я рассказываю Артемиде про тебя, и она спрашивает о тебе каждый день. Наверное, ей трудно представить, что у нее где-то далеко есть сестра».

Когда Евгения дошла до конца последнего письма, время близилось

к полуночи. Обычно Катерина в этот час уже спала, но сейчас сна у нее не было ни в одном глазу – девочка была вне себя от восторга.

– Мы нашли ее! – восклицала она. – Я снова увижу маму!

Евгения заставила себя улыбнуться, но в душе она плакала.

Через несколько дней почтальон разыскал Зению в Афинах и вручил ей пачку писем от Катерины, которые она писала несколько лет подряд. Их не нужно было даже сортировать по порядку написания: изменения почерка, от первых каракулей до почти по-взрослому твердой руки, сами подсказывали, какое письмо было написано первым, а какое – последним.

Там были длинные и несвязные, но радостные рассказы о жизни в Салониках, и, читая о женщине, что заботилась о Катерине все это время, Зения ощутила внезапный острый приступ ревности. Это чувство возникало каждый раз, когда она видела на странице имя Евгении. Она ничего не могла с собой поделать.

Читая письма, Зения все больше узнавала о семьях Караянидис, Комнинос и Морено и о многих других, населявших живописную старинную улочку, где жила Катерина. Детская горячая любовь к шумному и живописному городу – Салоникам – струилась из каждого слова, с каждой страницы.

К последнему письму Катерина даже приложила платок с аккуратно вышитым маминым именем. Зения улыбнулась, радуясь тому, что ее дочь унаследовала семейную традицию. Сама она свое швейное мастерство употребляла теперь разве что на пришивание пуговиц к дешевым рубашкам, которые затем отправлялись к оптовому поставщику, а от него – в торговые палатки.

– Давай писать, давай писать! – несколько дней подряд приставала Катерина к Евгении. Так ей не терпелось наконец-то послать письмо, которое наверняка дойдет.

Письмо состояло из сплошных вопросов. Ей хотелось узнать больше о братьях и сестрах, о том, как отыскать их дом и когда можно будет приехать. Евгения приложила к Катерининому еще одно письмо, от себя – вежливо представилась и спросила, как им теперь следует поступить.

Теперь, с точным адресом, послание быстро дошло по назначению, и через пару недель почтальон уже снова стучался в дверь дома на улице Ирини.

На конверте Зения указала имя Евгении, но в конверте оказалось два письма: одно для Евгении, другое для Катерины.

Пока девочка не вернулась из школы, Евгения прочитала свое письмо,

где Зения объясняла, как обстоят дела. Теперь у нее на руках пятеро детей. Четырех своих муж балует, а вот маленькой Артемиде достается не только от отчима, но и кое от кого из старших детей. Когда Зения пытается доказывать, что так несправедливо, она получает хлесткий удар. Уже даже синяки остаются, правда, под одеждой их не видно. Стены в их шатком домике тонкие, но соседи в семейные дела не вмешиваются. Что там у других творится за закрытой дверью – их дело.

*Вы должны знать всю правду о том, в каком я сейчас положении, кирия Караянидис. Для меня не было бы большего счастья, чем снова увидеть Катерину, но мне кажется, что ее, возможно, ждет лучшее будущее в Салониках, с вами, чем здесь, в Афинах. Я знаю, время сейчас трудное, но не могли бы вы позаботиться о ней еще немного?*

Когда Катерина пришла домой, письмо ждало ее на столе, и она тут же радостно схватила его.

– Почитаешь мне? – воскликнула она. – У нее такой чудной почерк, я сама не разберу.

– Ну конечно, моя хорошая, – сказала Евгения. – Давай сядем. – Она сделала глубокий вдох.

*Милая моя доченька, я была так рада получить все твои письма. По ним видно, что жизнь у тебя хорошая и счастливая, а Салоники, должно быть, чудесный город. В Афинах живетесь труднее. Дома у нас тесно и прокормить всех нелегко.*

Евгения сделала паузу. Она уже знала, что будет дальше.

*Как ни мечтаю я тебя увидеть, я хочу, чтобы ты хорошенько подумала, надо ли тебе ехать к нам. Оцени то, что имеешь, и если тебе сейчас хорошо, если ты среди хороших людей, может быть, стоит тебе остаться там. Иногда то, что тебе уже знакомо, может оказаться гораздо лучше неизвестного.*

Евгения подняла взгляд и увидела, что глаза девочки полны слез. Еще она заметила, что Катерина, не осознавая этого, поглаживает свою покрытую шрамами руку – этот жест повторялся у нее автоматически, когда она была чем-то взволнована или огорчена. Евгения чувствовала, с какой болью писалось это письмо, и понимала, что мать хотела сказать дочери. Ей было одинаково жаль обеих. Катерина еще слишком мала, чтобы сделать такой выбор, но деваться от него некуда – вот он, черным по белому, в письме, лежащем перед ней.

Не успела еще Евгения дочитать, как и сама Катерина кое-что поняла. Она уже не знала, какая из этих женщин ее настоящая мать: та, что читала ей письмо, или та, что его написала. Она не высказала этого вслух,

но стремление поехать в Афины, о чем она мечтала так давно и страстно, стало слабеть.



## Глава 13

Долго еще грусть оставалась постоянной спутницей Катерины. Подстерегала ее каждое утро, стоило только ей проснуться, и не отставала весь день, пока Катерина была в школе и играла с друзьями. Иногда она приходила и в сны, и тогда девочка просыпалась вся в слезах. Но она с раннего детства умела быть стойкой и твердо решила отделаться от этой незваной гостьи. Евгения озабоченно приглядывалась к ней и через много недель заметила, что девочка постепенно снова начинает улыбаться.

Почти одновременно с потерей мечты о встрече с матерью она потеряла и одного из самых близких друзей. Без Димитрия улица Ирины была уже не та. Ни он сам, ни его мама, хотя и по разным причинам, не сдержали своего обещания приходить в гости.

Димитрий тоже скучал по друзьям. Новая школа была совсем в другой стороне, за Белой башней, среди огромных особняков на улице Королевы Ольги. У многих из этих домов были башенки и купола, а к входной двери вели двойные лестницы – с какой стороны хочешь, с такой и поднимайся. Тут жили богатые купцы, желающие продемонстрировать не столько свой вкус, сколько достаток, и в сравнении с этими домами даже особняк Комниноса выглядел скромно.

По воскресеньям Катерина, Элиас, Исаак и близнецы все так же ходили к морю, а Димитрий смотрел на них через огромные окна гостиной на первом этаже.

– Можно, я пойду погуляю? – спрашивал он мать.

– Только к ужину будь дома, – отвечала она. – Отец придет в восемь.

Ее муж днем часто уходил на склад или в контору. Ольга понимала, что Константинос этого не одобрил бы, но радовалась, что Димитрий немного отдохнет от занятий. В придачу к дюжине других предметов ему приходилось учить французский, немецкий и английский язык, и отец считал, что он непременно должен владеть ими свободно, если только будет стараться как следует.

– Если мы хотим развивать свой бизнес, Димитрий, эти языки надо знать. Мы теперь ориентируемся на Европу и Америку. Будем покупать на Востоке, а продавать на Запад. На этом можно сделать состояние.

Ольга иногда недоумевала: о чем это он? Какое еще состояние ему нужно?

В первые же дни в заново отстроенном доме Ольга заметила, как сильно Димитрий скучает по старым друзьям, и стала уговаривать его сходить повидаться с ними. Все усиливающиеся страхи не давали ей самой добраться до улицы Ирины, но ей не хотелось, чтобы и сын потерял своих давних друзей.

Однажды Димитрий увидел, что они идут мимо, и побежал к ним. Ольга наблюдала за этой компанией с балкона.

Глядя вниз на толпы людей, движущихся по набережной навстречу друг другу, она с особенной силой ощутила свое одиночество. Что-то в душе тянулось туда, к ним. Она видела сына с друзьями и тысячи других людей, прогуливающих на солнце в выходной, наслаждающихся опьяняющей смесью тепла, свежего ветерка и света, и это была привычная картина. Чувство, что она заперта не только в стенах дома, но и в собственном теле, невидимым барьером стояло между ней и другими.

Теперь она совсем не могла заставить себя выйти из дома. Летом ее угнетала жара, а зимой от сырости ломило кости. Но это были не единственные причины. Четыре стены роскошного дома стали клеткой, внутри которой она чувствовала себя в безопасности. Ей подавали еду, шили одежду, парикмахер приходил на дом укладывать ей волосы, а теперь и сын мог ходить по улицам без ее сопровождения и присмотра. С тех пор как они вернулись сюда с улицы Ирины, мир за окнами стал вызывать у Ольги необъяснимый страх, и простое нежелание выходить превратилось в настоящую панику.

Константинос Комнинос тайная фобия жены ничуть не беспокоила. Он часто приглашал важных клиентов в дом на ужин, и Ольга в этих случаях была неизменно безупречна – это касалось как внешности, так и расположения духа. Зимой она надевала строгие платья, демонстрирующие качество тяжелых богатых тканей, на которых специализировался Комнинос, а летом – более легкие. Иногда, если клиент был из самых важных, нанимали портного, чтобы сшил что-то специально для такого случая. К примеру, когда у них гостил французский кутюрье, Ольга встретила его в красно-бело-голубом наряде. В этот вечер даже Димитрия позвали прочитать стихи по-французски.

Ольга больше не смотрела на улицу – дети скрылись из виду. Она представила, как они прямо руками едят треугольные пирожные, потягивают лимонад, купленный у уличного торговца, совсем как она сама, когда была маленькой. Женщина опустила жалюзи и вернулась в полутемную комнату, отдохнуть. В положенное время Димитрий придет

домой, и лицо у него будет сиять от солнца и смеха.

Исаак всегда следил за тем, чтобы девочки тоже были дома вовремя. Он чувствовал себя ответственным за них, и Евгения была рада, что рядом с ними такой крепкий и самостоятельный мальчик, который не даст им попасть в беду. Софии с Марией исполнилось по четырнадцать лет – почти тот возраст, когда не стоит ходить одним, без сопровождения.

Двойняшки заканчивали школу и уже заявили, что не хотят идти по стопам матери и становиться ткачихами. Им хотелось работать на свежем воздухе. К ужасу матери, дочки сообщили ей, что собираются перебирать табачные листья. Какой-то фермер уже приходил в школу, искал среди учеников желающих поработать, и София с Марией тоже записались.

– Но почему бы вам не заняться ремеслом? – взмолилась мать. – Если начнете учиться чему-нибудь сейчас, к двадцати годам будете мастерицами. Неужели не хотите?

– Мы не хотим всю жизнь просидеть в темной комнате, – возразила София.

– И хотим работать там, где много людей, – сказала Мария.

– И чтобы платили сдельно.

– Но с ткачеством ведь то же самое. Мне платят за каждый сотканный ковер.

– Только на один ковер у тебя уходит несколько месяцев!

– Это еще не значит, что в месяц я заработаю меньше, чем те, кому раз в неделю платят за сортировку табака!

Но похоже было, что девочек кто-то уже хорошенько постарался убедить, будто их будущее в табачном деле, процветавшем в Северной Греции.

Катерина сидела, забившись в угол. Она была еще слишком мала, чтобы наниматься на работу к фермерам, приходившим в школу, и в любом случае она не поддавалась бы на их пропаганду. Когда в доме разгорались споры, она потихоньку выскальзывала за дверь.

Роза Морено любила, когда Катерина приходила к ней. Сама она всегда была занята, в любое время дня, но за работой можно было славно поболтать. Обычно рядом на вешалке плотным строем висели законченные за сегодняшний день пиджаки с безукоризненно отделанными петлями и пришитыми пуговицами (а на двубортных пиджаках их целая дюжина, да еще маленькие пуговички на манжетах). В последнюю очередь Роза пришивала к атласной подкладке этикетку «Морено и сыновья – лучшие портные в Салониках».

– Каждый раз, когда я заканчиваю вещь и читаю эти слова, – говорила она Катерине, – меня охватывает гордость.

Первым в династии Морено был прадед Саула, и теперь их ремесло продолжалось уже в третьем поколении. А у них двое сыновей, значит будет и четвертое.

Большую часть дня Роза Морено работала с костюмными тканями: зимой это были шерсть и твид, летом иногда добавлялся лен. Уже больше тысячи раз Катерина наблюдала, как она аккуратными, ритмичными движениями обшивает петлю для пуговицы. Катерину завораживало это зрелище: человек работает, как машина. Но приходила она не за этим.

Роза занималась не только окончательной отделкой костюмов, но еще и ажурным вязанием крючком и вышивкой, которую часто заказывали для приданого. Этим своим мастерством она славилась среди богатых европейских клиенток и рада была обучить ему девочку с такими ловкими пальцами, каких она еще никогда не видела. Она учила Катерину всему, от самых основ (кожа на руках всегда должна быть гладкая, чтобы ткань не цеплялась) до тонкостей – как важно правильно продевать шелковую нить, так, чтобы она ложилась вдоль утка ткани. Такие мелочи в этом ремесле были необычайно важны и, раз заученные, уже никогда не забывались.

Очень скоро, когда Катерина переняла у нее некоторые швы, Роза уже не могла отличить работу девочки от собственной. Кирия Морено была виртуозом своего дела, а Катерина, ее ученица, – необычайно одаренным ребенком.

Однажды вечером, когда ссора по поводу табачной фабрики была в полном разгаре, кирия Морено, как всегда, с радостью встретила Катерину. Приход девочки означал, что можно отложить пиджак и заняться тем, что составляло ее настоящую страсть.

– Здравствуй, Катерина! – сказала она. – Как дела?

– Хорошо, спасибо, кирия Морено. А у кирии Морено как дела?

Девочка кивнула в сторону угла, где всегда сидела свекровь Розы. Кирия Морено-старшая была в эти дни необычайно молчалива и почти не замечала ничего вокруг. Она походила на восковую фигуру, наряженную в традиционную одежду сефардов, чтобы зрители могли полюбоваться этим произведением искусства.

– У нас все хорошо, правда, кирия Морено?

Роза Морено привыкла говорить со свекровью, и перед совершенно безучастной ко всему старушкой часто произносились странные длинные монологи.

– Ну что, достаем шкатулку?

Катерина подтащила стул к высокой полке, забралась на него и дотянулась до деревянной шкатулки. Коробка была чуть ли не с самую девочку размером, но та все же подняла ее, сняла с полки и подала кирии Морено, которая поставила шкатулку в центр стола.

Катерина погладила ладонью крышку, наслаждаясь ее приятной гладкостью, провела пальцем по врезанному в нее искусному изображению граната. Шкатулка была овальная, отделанная изнутри бледно-розовым шелком, и с внутренней стороны крышки тоже была шелковая подушечка. Внутри шкатулка была разделена на маленькие ячейки, в которых лежали катушки белых хлопковых ниток для кружев, длинные полоски газовой ткани для окантовки, мотки шелковых нитей в пастельных тонах, крохотные катушки, тоньше мизинца, а в подушечку на крышке были воткнуты иголки разных размеров, по порядку.

Из другой шкатулки, поменьше, Роза Морено достала кусок шелкового полотна, бережно переложенного слоями ткани. Оно предназначалось для свадебного наряда дочери богатого клиента, который не поскупился ни на платье, что шили в мастерской, ни на белье под него.

Обе уселись рядом за стол, так, чтобы Катерина могла смотреть, как работает Роза, и учиться.

– Передай-ка, пожалуйста.

Катерина взяла в руки невесомый шелк, и он заструился по пальцам, как прохладная вода.

– Вот, – хихикнула она, кладя материю на льняную скатерть. – Ее как будто и вовсе нет!

– Это самая тонкая ткань, какую только вообще можно сшить, – сказала кирия Морено. – Еще тоньше – и для нее просто иголки подходящей не найдется.

У Катерины в работе тоже был кусок шелковой ткани – крепдешин. Она уже вышила кайму, а теперь приступила к надписи. Девочка намеревалась вышить целиком имя – такими же каллиграфическими буквами, какие ее учительница вышивала на белье. Это требовало большого искусства и сосредоточенности – нужно было вкалывать кончик иголки правильно, так, чтобы не повредить ткань, однако у девочки была твердая рука и словно бы врожденное мастерство.

– Вденешь мне в иголку номер восемь?

«Номер восемь» – это была самая тонкая нитка, которая могла легко проскользнуть сквозь ткань, не оставив следа. Кирия Морено разделяла шелковую нитку на две, а потом каждую – еще на две, и тогда

для вышивания оставалось волокно тоньше человеческого волоса. Тут-то, чтобы вдеть его в иголку, и нужны были острые, как у орла, глаза Катерины. Узелок она не завязывала – конец нити вплетался в ткань так, что его не было видно.

Обе принялись за вышивание. Искусство состояло в том, чтобы «выписать» имя стежками, да так, чтобы оно походило на настоящую быструю подпись – это делало вещь неповторимо-личной.

Так они работали еще час или дольше под приглушенные звуки непрекращающейся ссоры за стеной. Роза что-то мурлыкала за шитьем – тихо-тихо, себе под нос, изредка бросая взгляд на Катерину, которая все так же аккуратно вышивала имя, с каждым стежком приближаясь к цветку, которым собиралась завершить работу.

– Великолепно, дорогая, ни одного изъяна, – сказала Роза. – Но не пора ли тебе домой?

– Я хочу закончить, – ни секунды не колеблясь, отозвалась Катерина. – Да ведь когда будет пора, кирия Евгения меня позовет.

– Мне-то уже хватит, глаза совсем устали, но за компанию еще посижу. Вот Саул придет, тогда закончу.

Кирия Морено уже вышила бледно-розовой ниткой имя на кюлотах, аккуратно сложила их и убрала в шкатулку, а затем перевязала ее ленточкой. Теперь им там лежать до самой свадьбы.

После этого она взялась за работу, которой занималась для собственного удовольствия. Это была вышивка – готовая и в то же время незаконченная, бесконечная работа, которую можно было доделывать всю жизнь: вышитое одеяло, что давно уже лежало на кровати, с аппликациями в виде птиц, фруктов, цветов и бабочек. Роза всегда находила, куда еще можно втиснуть маленькую гроздь винограда, веточку жасмина или, как сегодня, апельсинового цвета.

– Это мой маленький рай, – говорила она.

Для Розы Морено это одеяло, согревавшее по ночам их с мужем, имело огромное символическое значение.

– Даже если проживу еще тысячу лет, – говорила она, – все равно его не закончу. У этой работы есть только начало, а конца ей не будет.

Слова Розы отпечатались в памяти Катерины. С этих пор любовь и шитье для нее остались связанными навсегда.

За каких-нибудь несколько минут до того, как Саул пришел домой, Катерина сделала последний стежок и с гордостью выложила готовую работу на стол, а тоненькую иголку воткнула в мягкую внутреннюю сторону крышки.

– Прекрасно, Катерина, – проговорила Роза, откладывая свое рукоделие, чтобы полюбоваться на Катерину вышивку. Она уже несколько недель смотрела, как девочка работает, – без сомнения, ничего лучше она еще не делала. – Давай поищем какую-нибудь салфетку, завернуть.

Когда вышивка была завернута, Катерине настало время идти домой. Запах фаршированных овощей, гемисты, которую готовила Евгения, доносился сюда из соседнего дома и говорил о том, что ужин почти готов.

Спор по поводу будущего близнецов так и не утих и продолжался за столом.

– Вон Исаак уже ушел из школы, и ничего! – ныла София.

– А нам почему нельзя? – подхватила Мария.

Евгения спокойно резала помидоры в салат. Ее близнецы никогда не любили школу, и она знала, что они частенько прогуливают уроки. Двойняшки явно не видели большого смысла в образовании, им хотелось поскорее вырваться в большой мир и наслаждаться свободой.

– Исаак – другое дело. Он войдет в семейное предприятие. Будет подмастерьем, – спокойно ответила мать.

Три девочки за столом ждали ужина. Мария в волнении крошила ломоть хлеба на маленькие кусочки. София, которая всегда высказывалась за обеих, не отступала.

– А мы почему не можем быть подмастерьями?

– Можете. Можно попытаться найти места учениц у ткачих. Или я сама вас буду учить.

– Но мы не хотим делать то, что делаешь ты.

Евгения знала не хуже самих близнецов, что у них слишком мало терпения, чтобы быть ткачихами или швеями. София раз сумела дошить образец, хотя и очень неуклюже, а у Марии гибкости пальцев не хватало даже на самые простые швы. И все же матери не хотелось, чтобы дочки шли в табачницы. Кто знает, куда такая жизнь их заведет.

Спор повторялся по кругу снова и снова. Катерина сидела молча. Съела то, что лежало перед ней на тарелке, и потихоньку отошла к кровати. Вынула из кармана завернутый в салфетку подарок и сунула под подушку.

Наутро, перед тем как идти в школу, Катерина положила свой подарок на табуретку возле ткацкого станка. Сегодня у Евгении были именины, и девочка знала, что, управившись со всеми делами по хозяйству, она сядет ткать.

Когда Евгения развернула сверток и носовой платок упал ей в ладонь, глаза у нее широко распахнулись от удивления. Что-то потрясло ее даже

сильнее, чем вышитые с безукоризненным искусством ее собственное имя и лепестки розы, на которых видна была тень. Над великолепно вышитым цветком летела бабочка – с крыльями, с усиками. Точность деталей была поразительной. С платком в руке Евгения поспешила в соседний дом.

– Роза, – сказала она, приподнимая занавеску и входя в дом Морено, – ты это видела?

– Да, конечно. Она при мне вышивала.

– Не знаю, что и сказать...

– У этой девочки огромный дар. Я тоже, как и ты, глазам не поверила.

– Но как может десятилетняя девочка такое вышить?

– Не знаю. Даже Саул говорит, что никогда не видел ничего подобного. Я ей показала азы, но теперь она уже сама себе мастерица.

– Так, значит, это правда ее работа? Я было подумала, что ты ей помогала...

– Даже не прикасалась! Все ее рук дело, можешь мне поверить. Рядом с ее вышивками мои кажутся топорными.

– Вот бы моим близнецам хоть немного ее таланта...

Женщины посмеялись, поболтали еще немного, и Евгения засобиравшись домой. Ей нужно было доткать ковер до конца месяца, а значит сегодня придется постараться как можно больше часов провести за станком.

– С днем ангела, Евгения, – сказала кирия Морено.

– Спасибо, – поблагодарила та и улыбнулась. – Заходи к нам вечером, чем-нибудь сладким угощу.

Она вернулась домой и все утро ткала, мечтая об обеспеченном будущем Катерины и одновременно тревожась о том, что это будущее уготовило ее упрямым двойняшкам.

Ее мечты прервал резкий стук в дверь. Это был почтальон. Теперь он появлялся в доме номер пять на улице Ирины сравнительно нечасто, поскольку Зения стала писать реже, однако, поздоровавшись, Евгения протянула руку, ожидая получить привычный маленький светлый конверт, подписанный знакомым тонким почерком.

Но на этот раз письмо оказалось отпечатано на пишущей машинке и на конверте стояло ее имя.

По виду письма было ясно, что государство рассылает тысячи таких – совершенно одинаковых, не считая собственно имени. В нем сухо сообщалось, что муж Евгении Микаэлис Караянидис (имя было вписано от руки в специально оставленном промежутке) пропал без вести пять лет назад и, хотя твердых доказательств нет, может считаться погибшим.

Вот уже много месяцев Евгения даже не вспоминала о муже, и теперь



ей трудно было горевать. Она свое отгоревала давным-давно.

Когда девочки вернулись из школы, близнецы начали стряпать торт. Это было кособокое непонятное сооружение из толченого миндаля, меда и сахара, такое огромное, что всей улице хватило бы отпраздновать мамины именины.

Можно было сказать девочкам сейчас, но они так весело смеялись и болтали, замешивая тесто, что минута показалась Евгении неподходящей.

Потом, вечером, когда Морено уже ушли и большое блюдо, на котором лежало угощение, было выскоблено дочиста, Евгения сообщила девочкам печальную новость. Те встретили ее спокойно. Они совсем не помнили отца.

– Я знала, что он погиб, – сказала София.

– Откуда? – с вызовом спросила Мария.

– Просто знала. Давным-давно.

– Всегда-то ты все знаешь, – сказала Мария; ее раздражали пророчества сестры.

– Когда забываешь чье-то лицо и знаешь, что никогда больше его не увидишь, значит человек умер, неужели не понятно? Или все равно что умер.

– Да, но точно ты не знала. Неоткуда тебе было знать. И никто не знает, даже сейчас. Так и в письме написано.

Катерина подумала о своей матери, о том, что уже почти не помнит ее лица. Что же, выходит, она тоже умерла?

Близнецы еще немного поспорили, умер их отец или нет. Наконец Евгения не выдержала:

– Перестаньте, пожалуйста, девочки. Сейчас же! Спать пора.

Двойняшки с топотом ушли по лестнице наверх, а Катерина задержалась, чтобы пожелать Евгении спокойной ночи.

Катерина обняла ее и увидела, что платок, который она вышила, лежит у Евгении на коленях.

– Спасибо тебе, Катерина, – сказала та, расправляя платок, чтобы еще раз полюбоваться розой и бабочкой. – Ты, должно быть, очень много труда вложила в свой подарок, и получилось просто замечательно.

Катерина видела, что в глазах Евгении стоят слезы, и подумала, это из-за мужа. Она не знала, что делать.

– Времени ушло немало, – веселым голосом сказала она. – Тебе нравится кайма? А бабочка?

На самом деле комок застрял у Евгении в горле не из-за известия

о муже. Это было уже в прошлом. Ее тронула безупречная вышивка и детская чистота исполнения. Где есть стремление к красоте и чутье, чтобы ее передать, там есть и надежда. За те пять лет, что прошли со времени бегства из Малой Азии, они пережили немало черных дней, но вот такие минуты, такие поступки даже эти дни делали светлыми. Красота и совершенство, созданные этими маленькими руками, растрогали Евгению настолько, что она не находила слов.

– Да, – с трудом выговорила она вполголоса. – Мне очень понравилась бабочка.

## Глава 14

К тому времени как Катерине исполнилось тринадцать, ее необычайный талант к швейному делу расцвел, и страсть к нему захватила ее целиком. Она все больше и больше времени проводила у кирии Морено.

Теперь она вышивала салфетки для мягкой мебели, скатерти и наволочки с вставленными в них кружевами ручной работы. Кайму вывязывала крючком не толще ткацкой иглы. Раз в неделю Евгения складывала все это в сумку, шла в один из самых богатых районов города и разносила по домам на продажу. Работа была наивысшего качества и стоила гораздо больше того, что за нее платили, и все же домой Евгения всегда возвращалась с пустой сумкой и с полным кошельком. Талант Катерины был порукой тому, что голодными они не останутся.

В споре с близнецами Евгении пришлось уступить. Они уже начали работать на табачной фабрике на окраине города и были очень довольны своим новым распорядком дня. Работа была нелегкая, зато все время среди людей, и занимала она их с семи утра до четырех дня. Случались и премии, если управляющий был удовлетворен скоростью и качеством работы. София частенько получала в день выплаты жалованья лишнюю монету, хотя перебирала табак не лучше и не хуже других, и Мария заметила, как она кокетничает с мастером. Она решила, что оба эти явления, вероятно, связаны между собой, но ничего не сказала, посчитав за лучшее не связываться лишней раз с острой на язык сестренкой.

Без близнецов в доме номер пять на улице Ирины стало тихо. Евгения беспокоилась: как-то они там, так далеко от дома, и огорченно вспоминала, что у них за работа. Ну что ж, по крайней мере, она знала, что Катерина-то вряд ли пойдет по их стопам. Ее выдающийся талант выведет на другую дорогу.

– Евгения, – сказала однажды Роза, – Саул говорит, что, как только Катерина захочет уйти из школы, он готов взять ее на работу к себе. Элиас уже начал работать на прошлой неделе, и было бы хорошо, если бы еще кто-нибудь из молодых пришел в дело.

– Думаю, Роза, ждать недолго. Она этого хочет.

– Он хотел бы взглянуть, как она проявит свое мастерство в шитье дамского платья, – добавила кирия Морено. – Большие надежды на нее

возлагает.

– Давай поговорим с ней об этом?

Вечером женщины поделились идеей с Катериной. Девочка пришла в восторг при мысли, что можно будет уйти из школы. Математика, которой она там научилась, была полезна: то и дело приходилось рассчитывать узоры, длину и количество стежков, но вот остальные предметы, вроде естествознания, истории и географии, всегда казались ей скучными. Она не понимала, какое отношение все это имеет к ее жизни.

На следующий день они втроем отправились в швейную мастерскую Морено на улице Филиппу, в пятнадцати минутах ходьбы от улицы Ирини. Кириос Морено встретил их в дверях.

– Добро пожаловать, дамы! – сказал он, приветственно взмахнув рукой.

Мастерская была похожа на школу: большие комнаты по краям коридора. В начале был демонстрационный зал, где выставлялись образцы тканей и манекены, облаченные в мужские костюмы различного стиля. В углу они увидели Исаака, увлеченного разговором с клиентом. Он показывал образцы тканей на просвет и помогал пожилому джентльмену выбрать подходящую.

В следующей комнате сделанные пером рисунки – фасоны женских платьев – были развешены на стенах, как в картинной галерее. Катерина ходила, рассматривала ряды рисунков и улыбалась. Все платья на иллюстрациях годились для примерки – так точно они повторяли очертания фигуры.

– Сюда приходят дамы, наши клиентки, чтобы посмотреть на наши фасоны и снять мерки, но часто им хочется чего-то более индивидуального. Поэтому в каждую вещь мы можем добавить какой-то уникальный штрих – вышивку бисером, кружева или особую форму воротника. Мы известны двумя особенностями, Катерина: качеством и вниманием к деталям. Они у нас всегда идеальны.

В этой комнате стоял одинокий, ярко освещенный манекен, и Катерина с Евгенией остановились возле него поглазеть. На нем было свадебное платье, такое ослепительное, что казалось почти неподобающим для простой смертной.

Платье было длинное, прямое, по моде того времени, из очень светлого кремового крепдешина. Лиф весь расшит мелким жемчугом – не больше дождевой капли, и такими же жемчужинами отделан край подола. На плечах слегка колыхалась газовая накидка, по которой тоже бежали тоненькие ручейки жемчуга – еще мельче. Все это походило на наряд феи; если бы не жемчужины, придававшие платью хоть какой-то вес,

его унесло бы ветром. Невозможно было даже представить, какой же красоты должна быть невеста, достойная его надеть.

Кириос Морено заметил, с каким восхищением они смотрят.

– Нечто исключительное, не правда ли?

Ответ был ясен без слов.

– Три недели работы ушло только на то, чтобы пришить жемчужины, – с гордостью сказал Саул. – И каждая из них – точно на своем месте.

В ярком свете от ткани исходило опаловое сияние. Просто волшебное платье.

– Невеста придет за ним сегодня, – сказала кирия Морено. – Но на этом манекене часто выставляют свадебные платья, и иногда они бывают сделаны куда искуснее, чем это. Ты не поверишь, чего только богачи в нашем городе не придумывают для своих дочек!

– А мы стараемся помочь им воплотить свои фантазии в жизнь! – прибавил ее муж. – Вот для этого нам и нужны такие умелые руки, как у тебя.

– Но мне никогда не сшить такого платья! – воскликнула Катерина.

– Пока что нет. Но я тебе гарантирую: через несколько месяцев ты уже с легкостью будешь пришивать такие жемчужины! Идем, покажу остальное.

В следующей комнате стояли огромные столы для раскройки, и мужчины и женщины сидели за ними с ножницами в руках. Катерина заметила Элиаса с мерной лентой на шее. Кто-то показывал ему, как складывать ткань, прежде чем отрезать. Как и сама Катерина, он был здесь новичком-подмастерьем.

В другой комнате, рядом, люди сидели рядами на длинных скамьях, и перед каждым стояла сверкающая швейная машинка зингер. В громком стуке приводимых в движение педалью игл разговаривать стало невозможно. Все казались совершенно погруженными в работу, и только несколько человек подняли руку, приветствуя кириоса и кирию Морено. Здесь были люди всех возрастов – от девочек еще моложе Катерины до женщин лет, наверное, восьмидесяти с лишком, – и среди мужчин то же самое.

Предпоследняя комната называлась складом: там хранились пуговицы, нитки и тесьма для отделки – в сверкающих застекленных шкафчиках и деревянных сундуках, и на все были наклеены четко подписанные ярлыки, чтобы нужную вещь легко было найти. Катерина улыбнулась, вспомнив прекрасно организованный магазинчик лент кириоса Алатзаса, который она так любила.

В последней комнате обстановка была более непринужденная. Несколько десятков женщин работали, держа шитье на коленях. Они занимались той же окончательной отделкой, какую кирия Морено выполняла дома: пуговичные петли, вышивка бисером, окантовка и разнообразные сложные вышивки. Перед каждой был маленький столик, а рядом – деревянный ящичек, и в комнате стоял гул веселых разговоров, которые продолжались и тогда, когда вошел кириос Морено.

– Доброе утро, дамы, – сказал кириос Морено, перекрывая шум. – Позвольте представить вам мою добрую соседку кирию Караянидис и Катерину Сарафоглу, одну из восходящих звезд среди рукодельниц этого города.

Манеры у Саула Морено были безупречные, и после такого представления Катерине показалось, что она стала выше Белой башни.

– Доброе утро, – хором ответили швеи, не прерывая работы.

Катерина стала присматриваться к тому, что делают женщины. Если она еще немного наберется опыта в обработке пуговичных петель, то легко сможет занять место среди них.

Они вернулись в демонстрационный зал, и кириос Морено повернулся к Катерине:

– Ну так как, девушка, что скажешь? Хочешь поступить на работу в «Морено и сыновья»?

Ни секунды не раздумывая, Катерина кивнула.

С шутливой теплотой кириос Морено взял ее руку и крепко пожал.

– Я очень рад, – сказал он. – Когда сможешь приступить?

– С будущей недели можно?

– Тебя будет ждать место в отделочном цеху, – сказал он улыбаясь.

Он повернулся, чтобы их проводить, и тут они увидели знакомое лицо – Константиноса Комниноса. Он поздоровался официальным тоном.

– Доброе утро, – тихо сказала Евгения. – Как поживает кирия Комнинос?

– Хорошо, спасибо. Я приходил подобрать для нее новые ткани.

Евгения уже хотела спросить, почему же она сама не пришла посмотреть, но удержалась. Пять лет прошло с тех пор, как Ольга покинула улицу Ирины, но Евгения еще помнила, как редко та отваживалась выходить из дому.

– А это Катерина, помните ее?

– Нет, – резко сказал торговец. – Но ведь дети растут и меняются, верно?

– А как поживает Димитрий?

Катерина уже много месяцев не видела Димитрия и очень по нему скучала. Она вместе с другими детьми вечно поддразнивала его за то, что он такой серьезный, но зато он был умный и добрый, и теперь всем его не хватало.

– Он хорошо учится и много занимается, – важно ответил Константинос. – У него скоро серьезные экзамены, а потом он начнет изучать право.

– Пожалуйста, передайте вашим родным привет от нас, – попросила Евгения.

Комнинос надел шляпу и кивнул.

– Всего хорошего, – сказал он, повернулся и вышел через парадную дверь.

Евгения была уверена, что кириос Комнинос ничего передавать не станет, и решила, что надо бы навестить Ольгу самой. Она понимала, что будет себя чувствовать скованно в особняке на улице Ники, но ей было неловко, что она так долго не заходила.

Катерина подумала: интересно, сам Димитрий захотел изучать право или это желание его отца? Насколько она помнила, он всегда хотел быть доктором. В любом случае ей было нетрудно представить своего умного друга ушедшим с головой в книги.

Они попрощались с кириосом Морено и втроем направились по залитым солнцем улицам домой. В городе было полно народу. Они прошли мимо нескольких кафе, где сидели элегантные женщины, наслаждаясь кофе и сладкими булочками.

– Видите вон тех дам, справа? – прошептала Роза. – Они все одеты от «Морено».

– Откуда вы знаете? – спросила Катерина.

– По фасону видно. Ты тоже научишься стиль распознавать – качество ткани, детали. Я помню, как пришивала пуговицы к этому жакету цвета мяты.

Евгения рассмеялась:

– Неужели ты все запоминаешь?

– Не все. Я почти никого не помню по именам из тех, с кем хожу в синагогу. Имена у меня в голове не держатся. А вот швы я все помню, сколько их ни перешила на своем веку.

Катерина подумала: наверное, и она когда-нибудь станет такой же. Идя рядом с Евгенией и кирией Морено, она чувствовала себя совсем взрослой, настоящей женщиной. Времена кукол и детских игр прошли. Пора начинать рабочую жизнь.

Женщины стали судачить о том о сем.

– Как думаешь, может, нам зайти к Ольге? – спросила Евгения, которая не переставала думать о кирии Комнинос после встречи с ее мужем.

– Я ей иногда относил кое-что из заказов, но обычно Павлина приходит и забирает. Похоже, она не выходила из дому с тех самых пор, как переехала, – сказала кирия Морено.

– Ужасно! С кем же она видится?

– Кириос Комнинос приглашает в дом клиентов, потому-то и одевает ее все время так хорошо.

– То есть он все еще использует ее вместо манекенщицы?

– Думаю, можно и так сказать. Для нее всегда что-нибудь шьется в мастерской, но вряд ли она многие из этих нарядов надевает больше чем один-два раза.

У Катерины широко распахнулись глаза. Она не могла представить, как это можно надеть платье только один раз. У нее самой большую часть жизни было по два платья – одно на себе, второе сушится после стирки. С того дня, как ее взяла к себе Евгения, она донашивала одежду близнецов. Белое хлопчатобумажное платьице, расшитое маргаритками, в котором она бежала из Смирны, было последней новой вещью, какую она когда-либо носила.

– А что Димитрий? Он хоть раз был дома, когда ты приходила?

– Нет. Он чаще всего в школе, – ответила Роза. – Элиас еще иногда к нему заходит. Помнишь, как они любили играть в тавли?

– Помню, – ответила Евгения.

– Ну, так они не изменились. Там такое соревнование разгорелось – целый чемпионат, и ни один никак не выигрывает, а когда в разгар игры приходит кириос Комнинос, Элиасу приходится тут же уходить. Слишком уж много отец требует от бедного мальчика. Если он не научится свободно говорить на пяти языках, пока не окончит школу, горе ему.

– Вот бедняжка, – рассмеялась Евгения.

Катерина прислушивалась к разговору. Яркая картина непонятной жизни Димитрия в его богатом доме встала перед ней.

Она задумалась о Морено. У них такой большой бизнес, столько богатых клиентов, почему же они живут на улице Ирины, среди таких людей, как они с Евгенией? Она невольно удивлялась. Ведь они же могли бы построить себе огромный особняк, как Комниносы?

Она набралась храбрости и спросила:

– А почему вы не живете так, как Димитрий? В таком же доме, побольше и пороскошнее?



– А зачем это нам? – ответила Роза с притворным удивлением.

Катерина немного смутилась, но считала, что нужно договорить до конца.

– Ну... у вас же такая большая мастерская... и такое известное в городе имя. И все эти важные дамы одеваются у вас... и их мужья тоже.

Роза Морено отлично понимала, о чем говорит девочка. Те немногие из посетителей мастерской, кто знал, где они живут, тоже удивлялись. Дела у семьи Морено шли в гору, однако они так и не расстались со своим тесным домом на грязной улочке в старом городе.

– Я тебе объясню, милая. Это очень просто, – сказала Роза. – Мой муж ведет бизнес не только ради себя, но и ради тех людей, что у него работают. Мы нанимаем только лучших портных и швей в Салониках, а потому и платим им больше обычного. – Катерина кивнула, и кирия Морено продолжала: – Многие из них наши родственники, и они так же, как и мы, стараются поддерживать репутацию компании, что носит наше имя. Но, – тут она помолчала, – мы нанимаем не одних евреев, там и несколько греков есть! Мы всегда за этим следим. Раньше еще мусульман было много, мы до сих пор жалеем, что они уехали.

– Наверное, не во многих мастерских столько света и воздуха, как у вас, – сказала Евгения.

– Обычно помещения гораздо меньше, – ответила Роза. – Саул всю прибыль за последние десять лет потратил на то, чтобы улучшить условия, вот и получилось, что вместо большого дома у нас теперь большая мастерская!

– Да и новые швейные машинки, должно быть, кучу денег стоят.

– Да, – подтвердила Роза. – Это крупное вложение, зато все там за ними ухаживают, как за своими. – Она взяла Катерину за руку. – Вот видишь, нам не нужно жить так, как живут наши клиенты. В конце концов, мы же и не одеваемся, как они. – Она показала на свою одежду – широкую юбку и простую блузку, в которых не было ничего от европейского стиля.

Они уже свернули на улицу Ирины. Вот он, еще один ответ: на этой улице никто никогда не смотрел свысока на других, будь то «старые» греки, «новые» греки из Малой Азии, грекоязычные евреи или евреи, говорившие только на ладино.

У всех троих одновременно мелькнула одна и та же мысль. Разве кто-нибудь из них захотел бы поменяться своей жизнью или своим домом с Ольгой Комнинос? Они представили себе ее – неулыбчивую, одинокую, в большом особняке на берегу.

Через неделю Катерина пришла в школу в последний раз.

На следующее утро Евгения разбудила ее в половине седьмого. За десять минут она умылась, оделась и собралась.

С колотящимся от волнения сердцем девочка вышла на улицу. Кириос Морено и его сыновья ждали ее в рассветном полумраке.

– Вот и она! – радостно воскликнул Элиас. – Готова? Идем?

С сегодняшнего дня начиналась для Катерины рабочая жизнь, с сегодняшнего дня она стала швеей – модистрой.

– Да, – ответила она с гордостью. – Я готова!

## Глава 15

Катерина начала свое обучение под крылышком тетушки Саула – учительницы строгой, но знающей и опытной. Эстер Морено работала в этом бизнесе уже сорок лет – для нее в этом была вся жизнь, так же как и для ее племянника. Она была незамужней и за четыре десятка лет не пропустила ни одного рабочего дня.

Начальная стадия ученичества включала в себя изучение свойств тканей, их преимуществ, недостатков и способов использования: от твида и твила для мужских костюмов до шелка и хлопка для женских платьев. Катерине выдали больше сотни образцов, чтобы она могла поэкспериментировать, попробовать иглы разных размеров, нитки разной толщины и разобраться, какие из них лучше подходят.

– Только когда почувствуешь ткань и иголку в пальцах да увидишь своими глазами, что получилось, тогда и поймешь, что тут годится, а что нет. Когда сядешь шить одежду, ошибаться уже нельзя. Так что уж лучше ошибайся сейчас.

За десятки лет непрерывной работы Эстер Морено хорошо изучила предпочтения клиентов. Ей не хватало чувства юмора, зато она почти всегда оказывалась права, и каждое ее слово было законом для новичков.

Три недели подряд Катерина просидела молча в углу за горой кусков материи всевозможной толщины, от бархата до газа, и прикидывала, что можно сделать с каждой из них, какой толщины нитку, шелковую или шерстяную, лучше брать. До сих пор ей негде было подержать в руках сразу столько тканей разной структуры, качества и плотности. Ничто не могло отвлечь ее от этой задачи.

Потом ее отправили наблюдать за снятием мерок и подгонкой (только дамских нарядов, разумеется), а потом она два дня просидела в цехе раскройки. Вот тут легко можно было разом потерять всю прибыль до последней драхмы. Хорошая ткань стоила так дорого, что ни один сантиметр не должен был пропасть зря. Стоило ошибиться, положить ткань для раскройки не тем концом, или по неосторожности не там щелкнуть ножницами, или неэкономно разместить выкройки – и пропало целое платье.

– Одна ошибка на этом этапе – и одежда нам обойдется дороже, чем мы за нее выручим, – без обиняков разъяснила Эстер.

Катерина взяла со стола громоздкие, рассчитанные на мужские руки ножницы и подумала: хорошо бы ей никогда не пришлось заниматься раскройкой.

Затем был швейный цех, где Катерину встретил оглушительный, хотя и ритмичный, стук машин. Они с Эстер сели рядом за одну машинку, и Катерина провела пальцем по ее холодному, изогнутому металлическому корпусу. Они были настоящими произведениями искусства, эти зингеры, – изящная гравировка на серебряных пластинках, закрывавших механизм, тонко выписанные цветы и листья на корпусе. Эстер Морено показала Катерине, как заправлять нитку и как нажимать ногой на педаль, но Катерину пугало ощущение, что игла бежит куда-то вместе с ней, и она надеялась, что свои дни в «Морено и сыновья» ей не придется провести среди этих машин.

– Ну а теперь в отделочный цех, – сказала Эстер. – Тут можно дать волю воображению.

Катерина мечтала об этом цехе с тех самых пор, как его увидела. Когда они вошли, все женщины подняли головы и заулыбались.

– Итак, когда дело касается шитья и подгонки, всегда нужно соблюдать определенные правила, – говорила Эстер. – Почти все тут определяет математический расчет, законы пропорций и, до некоторой степени, уникальные и часто необычные особенности человеческой фигуры, но...

Катерина старалась слушать внимательно, но такая наукообразная манера рассуждений о фигуре казалась ей странной. Наконец ей удалось сосредоточиться. Эстер продолжала:

– ...что же касается украшений для платья, то тут нет никаких правил, никаких ограничений. Кое-что приходится обговаривать с клиентом заранее. Ты должна будешь определить, сколько времени тебе понадобится, во что обойдется материал, рассчитать цену и обсудить со мной, чтобы я могла оценить вероятную прибыль.

Катерина понятия не имела, что под этим подразумевается. Ей хотелось только одного – шить, и она уже засмотрелась на банты, которые одна из женщин пришивала в ряд по всей спинке длинного бального платья.

Катерина кивнула. Видимо, это был тот ответ, который от нее требовался. Эстер Морено явно не ожидала от нее многословия.

– Насколько я знаю, кириос Морено определил тебя сюда, так что оставляю тебя на попечение кирии Рафаэль.

– Спасибо вам, кирия Эстер, – вежливо поблагодарила Катерина.

Эстер Морено уже открыла дверь, собираясь уходить. Она куда свободнее чувствовала себя в собственном кабинете, среди смет и счетов,

да и все остальные вздохнули с облегчением, когда она вышла из комнаты.

Катерине сразу же поручили работу – расшивать платье бисером. Только такие молодые глаза, такие тонкие пальцы и могли подобрать крошечные бусинки и удержать иголку девятого номера, которой их нужно было пришивать. К концу дня Катерина уже обшила кругом подол платья, и женщины собрались вокруг, восхищаясь ее работой.

– Как аккуратно!

– И ровно!

– Замечательно, Катерина!

Девочку немного смутили такие щедрые похвалы, но они были ответом на ее невысказанный вопрос: получается у нее хорошо.

С этого дня Катерина блистала в мастерской, и ей всегда поручали работу, требовавшую особой тонкости. Она умела вышивать, делать аппликации, пришивала окантовку и рюши швом, который почти невозможно было разглядеть невооруженным глазом, и даже самые длинные швы выходили у нее удивительно ровными. Каким бы способом она ни вышивала – гладью, елочкой, «козликком» или тамбурной строчкой, – ее игла сновала в том же механическом ритме, в каком работали машины в швейном цеху.

Иногда, стоило ей начать просто вдеть нитку в иголку, как ее охватывала тоска по прошлому, – никогда она столько не думала о матери, как в эти долгие часы в мастерской. Ей всегда вспоминалось одно и то же – те минуты, когда, по ее детским понятиям, их жизнь была совершенно счастливой. В этот остановившийся миг мама сидела у окна в своем кресле с очень прямой спинкой, сама тоже вся выпрямившись. Она что-то вышивала золотой ниткой, и нитка эта сверкала на солнце, бьющем в окно. Мамина работа – церковная риза – лежала у нее на коленях.

– Никогда не горбись, – всегда повторяла мама Катерине, и, вспоминая об этом, она каждый раз непроизвольно выпрямлялась.

День за днем Катерина жила, не соприкасаясь с теми трудностями, что омрачали жизнь большей части Салоников. Мощные улочки, ведущие к мастерской Морено на улице Филиппу, лежали в стороне от самодельных времянок, в которых до сих пор жили многие из тех, кто лишился крова при пожаре 1917 года. В стороне оставались и деревянные лачуги, втиснувшиеся между великолепными многоэтажными домами и виллами среднего класса, – там по сей день обитали, как цыгане, беженцы из Малой Азии. Не бывала она и у железнодорожного вокзала – пожалуй, самого страшного места. По тесным проходам среди жестяных лачуг шныряли крысы, стекали нечистоты, и каждая вторая дверь там вела или в притон,

где торговали гашишем, или в бордель.

Хотя на улице Ирины дома были простые и тесные, словно их на скорую руку выстроил из кубиков ребенок, однако по сравнению со многими другими районами Салоников она была благополучной и процветающей. Сейчас, как никогда, Салоники стали городом необычайного богатства и необычайной бедности. На одном конце шкалы находились преуспевающие банкиры и торговцы, составлявшие клиентуру мастерской Морено и предприятия Комниноса, на другой – жалкие бедняки из трущоб, выживавшие только благодаря кухням с бесплатным супом. Жители улицы Ирины находились где-то посередине.

Безработица была высокой, да и среди имеющих место то и дело вспыхивало недовольство. Большинство нанимателей, в отличие от Саула Морено, не очень-то заботились о благополучии своих работников, и двадцатые годы ознаменовались многочисленными протестами. Работники табачных фабрик были постоянным источником беспорядков: они требовали улучшения условий и повышения платы. И не они одни. Работники транспорта, наборщики, пекари, мясники – все устраивали забастовки. Эта тревожная атмосфера нищеты и эксплуатации была наилучшей питательной средой для коммунистических идей.

Националисты свирепо враждовали с набирающими силу левыми, но у них была и другая мишень – евреи, которых обвиняли в том, что они не желают ассимилироваться.

Все эти годы правая газета «Македония» неустанно подогревала ненависть и подозрительность по отношению к евреям, распускала слухи, что они готовятся захватить власть в стране. Она напоминала читателям, что в 1912 году, когда город перестал быть частью Османской империи и вошел в Грецию, евреи встретили греческую армию прохладно. Некоторые из них даже не знают греческого и по-прежнему говорят на ладино! Другими словами, они не патриоты и вообще не настоящие греки. Список еврейских «преступлений», согласно «Македонии», выходил длинным.

Это было время назревающего возмущения, и бедность большинства переселенцев из Малой Азии этому только способствовала. Однажды Саул Морено пришел в мастерскую задолго до открытия и увидел, что на двери красной краской намалевано: «ЖИДЫ». Пока никто не пришел на работу, он успел купить банку краски и замазать надпись, а заодно и выкрасить дверь целиком. Все удивлялись, что это ему вдруг вздумалось менять цвет, но он не хотел волновать рабочих и не сказал правды.

– Просто захотелось чего-то новенького, – сказал он, однако через

несколько недель снова перекрасил дверь в свой любимый зеленый цвет.

Жену кириос Морено старался щадить. Каждый день по пути на работу он покупал какую-нибудь из множества газет, которыми был завален киоск, но если там было что-то об антисемитских акциях – поскорее выбрасывал. Помалкивал он и о недоброжелательных взглядах, которые иногда замечал, и о том, что пара его клиентов перевела свой бизнес в другое место, тоже Розе не рассказывал.

В конце июня некоторые важные новости дошли до него еще раньше, чем он успел открыть газету.

Двое из его портных жили в квартале под названием Кэмпбелл, населенном преимущественно евреями. Ночью их дома подожгли. Оба они еще не отошли от потрясения, но хотели рассказать обо всем. Двадцать человек собрались в круг в раскройном цеху и слушали с ужасом и в то же время с жадностью – не каждый день услышишь такое из первых уст. Виновниками происшествия были, судя по всему, беженцы из Малой Азии.

– Сначала мы забаррикадировались. Думали, это самый верный способ и дом защитить, и самим уцелеть.

– А оказалось, наоборот... – сказал второй сосед.

– Они обезумели.

– Просто сумасшедшие!

– Как только они подожгли первый дом, мы поняли, что надо выбираться. И быстро. Вот все и побежали. Буквально спасались бегством, схватили только то, что смогли унести.

– Некоторые потеряли все! Склады, дома – все!

– Нам еще повезло, что живы остались!

– И знаете, они ведь еще в двух кварталах такое устроили!

Этот случай одинаково потряс и евреев, и греков. Кое-кто из виновников попал под суд, в том числе и редактор «Македонии», возбуждавший ненависть к евреям. Многие евреи собирались эмигрировать, даже один из портных, работавших у Морено. Сказал, что если нельзя больше спокойно спать в своей постели, значит надо уезжать. Через месяц вместе с десятками других еврейских семей он отправился в Палестину.

Саул Морено твердо решил: он не допустит, чтобы эти события отразились на его бизнесе. Портной разместил рекламу на целую страницу в самых правых газетах и, заручившись их согласием, привел рекомендации некоторых из самых богатых и уважаемых клиентов.

Все эти рекламные объявления гласили: «Оденем вас с головы до ног». В качестве иллюстрации изображалась элегантная пара – мужчина

во фраке и женщина в длинном, расшитом бисером вечернем платье. Женщина на картинке удивительно напоминала Ольгу Комнинос.

Внизу страницы крупные буквы гласили: «МОРЕНО И СЫНОВЬЯ – ЛУЧШИЕ ПОРТНЫЕ В САЛОНИКАХ».

Это была демонстрация уверенности в своих силах, вызов тем, кто желал евреям зла.

Нашлись у Саула Морено и другие способы поднять моральный дух своих рабочих. Он купил граммофон. Теперь граммофон играл целый час в конце каждого рабочего дня, и женщины с восторгом встречали хозяина, когда тот приходил его заводить. С той секунды, когда иголка с громким стуком опускалась на пластинку и потрескивающий звук заполнял комнату, в ней словно становилось легче дышать.

Набор пластинок был небольшой, и обычно они начинали с сефардской песни Хаима Эффенди из Турции, а заканчивали всегда песней всеобщей любимицы Розы Ашкенази. Руки за работой двигались в такт музыке.

В соседнем цехе люди улыбались, слыша сквозь стрекот швейных машин женский голос, поющий на полной громкости.

Эстер Морено не одобряла музыку и атмосферу праздника, которую она создавала. Женщина была уверена, что, когда играет граммофон, производительность падает. Но она ошибалась. Во всяком случае, работниц теперь уже не так тянуло поскорее собраться и уйти домой. Катерина была в числе тех, кто особенно полюбил музыку, и выучила все песни наизусть от слова до слова. Дома граммофона не было.

Тонкие пальцы девочки обрели сверхъестественную ловкость, и она уже виртуозно владела самыми сложными приемами. Иногда швы на тонких тканях невозможно было качественно сделать на машинке, и Катерина сшивала их вручную. Ее платья ручной работы теперь ценились в городе выше всех прочих.

– Их можно наизнанку носить, – похвалялись богатые заказчицы.

Это была правда. Катериныны швы были безупречны, и даже стежки, которыми она пришивала бисерины, образовывали на изнаночной стороне такой узор, что он иногда оказывался красивее самой вышивки.

Однажды ей поручили отделку светло-желтого крепового платья. Оно было сшито на фигуру с необычайно тонкой талией, и Катерину попросили пришить по переду штук двадцать пять обтянутых тканью пуговиц и сделать для них навесные петли. Работа была бы не такой уж сложной, если бы пуговицы не были мелкими, как перчаточные.

– Это для кирии Комнинос, – сказал Саул Морено.

Катерина знала, что позволять себе замечания о клиентах и их вкусах



не полагается. Эта работа требовала выдержанности и такта, и все же Катерина не удержалась:

– Какая же она худая! Еще хуже, чем была!

Катерине страшно было представить, какой стала Ольга. Ей казалось, что такое истощение бывает только от болезни или от голода, а в данном случае последняя причина исключалась. Тысячи людей в городе не ели досыта, однако бизнес Комниносов, как всем было известно, только укреплял свои позиции.

– А она...

– Что?

– Она здорова?

– Наша закройщица ходила к ней снимать мерки и ни о какой болезни не упоминала. Кстати, когда ты закончишь, не отнесешь ли ей платье?

– Конечно, – согласилась Катерина, стараясь не слишком показывать свою радость.

– Кириос Комнинос хочет, чтобы оно было готово к субботе.

Это означало, что у Катерины осталось меньше двух дней, чтобы закончить работу.

Она приступила к ней немедленно, и в пятницу, в три часа, под музыку Маркоса Вамвакариса, последняя пуговица была пришита. Платье прошло контрольную проверку кириоса Морено, а затем было завернуто в несколько слоев ткани и осторожно уложено в большую плоскую коробку и крепко перевязано желтой лентой.

Катерина надела шляпку и пальто и с коробкой под мышкой не без робости отправилась в дом Комниносов, который столько раз видела и о котором столько раз думала, хотя ни разу не переступала его порога.

Когда она вышла из мастерской, накрапывал дождь, а когда дошла до моря, волны захлестывали набережную. Мимо проехал трамвай, Катерина почувствовала, как водой плеснуло на ноги, залив их по щиколотку, и ускорила шаг. Дождь усиливался, и Катерина, понимая, что платье стоит, пожалуй, больше, чем ее жалованье за полгода, тревожилась, как бы оно не промокло в этой громоздкой коробке. Она ухватила ее двумя руками.

Улицы в этот день были тихими. Люди в большинстве своем пережидали где-нибудь дождь, однако сквозь струи Катерина разглядела одинокую фигуру человека, идущего ей навстречу. В руке у него был кожаный портфель, как у какого-нибудь дельца, и Катерина не знала, кто из них должен уступить дорогу, чтобы второй смог обойти лужу на тротуаре.

И тут Катерина поняла, что он сворачивает к тому же дому, что и она.

Уже около года она видела Дмитрия только издалека, и было странно столкнуться с ним так близко. Он был одет по-взрослому, в модный костюм, но выглядел еще почти мальчиком. «Рановато в шестнадцать лет становиться копией отца» – это была первая мысль, мелькнувшая у нее в голове.

Дмитрий не сразу узнал Катерину. Он смотрел вниз, на дорогу, и поля шляпы немного загораживали обзор, но, как только она заговорила, юноша тут же оживился.

– Дмитрий... здравствуй. Как дела? – произнесла она с колотящимся сердцем.

– Катерина! Вот это сюрприз! Что ты здесь делаешь?

Она не успела ответить – Павлина уже открыла дверь.

– Входите, – сказала она. – Да поскорее. Ужас, что на улице творится!

– Я принесла платье для кирии Комнинос, – пояснила Катерина, протягивая коробку Павлине.

– Ты непременно должна отдать его сама! – воскликнула Павлина. – Снимай все мокрое и иди наверх. Она в гостиной.

Дмитрий с Катериной сняли промокшие пальто и поднялись вслед за служанкой по широкой лестнице. Катерина старалась не глазеть с открытым ртом на всю эту роскошь – огромные комнаты, богатые портьеры. Никогда она не видела ничего подобного. На стенах висели большие картины маслом в позолоченных рамах, и почти вся тщательно отполированная европейская мебель тоже сверкала позолотой.

Дмитрий постучал в двустворчатую дверь наверху. Послышалось тихое: «Войдите».

Ольга сидела у камина в большом кресле, положив ноги на другое, и что-то читала. Подняв глаза, она с удивлением и некоторым любопытством увидела рядом с сыном незнакомую девушку.

– Мама, это Катерина! Она принесла заказ от Морено.

– Катерина! Я тебя не узнала.

У Катерины было все то же круглое лицо, те же глаза, и открытый взгляд, и широкая улыбка, только волосы, которые она раньше заплетала в две косы до пояса, теперь были коротко острижены.

Ольга почти не изменилась, разве что похудела немного.

Болела, должно быть, подумала Катерина. Это объясняло и то, почему она сама никогда не приходила в «Морено и сыновья».

Катерина поставила коробку на кресло рядом с Ольгиным и удивилась, что она не любопытствует и не торопится снять крышку.

– Хотите, я его достану? Наверное, надо куда-нибудь повесить.

– Не беспокойся, Павлина сейчас все сделает. Я хочу узнать, как ты поживаешь. Как Евгения? А близнецы?

Несмотря на всю ее сдержанность и тихий голос, было видно, что Ольге по-настоящему не терпится узнать новости. Катерина начала рассказывать о тех вечерах, что она провела с Розой Морено, о том, как ее позвали работать в мастерскую.

– Каждый день, когда я просыпаюсь, мне кажется, что солнце восходит прямо у меня в груди, – восторженно говорила она. – И каждое утро я иду в мастерскую вместе с Исааком и Элиасом. Их отец обычно уходит гораздо раньше...

Минут десять-пятнадцать она говорила без умолку: описывала свою повседневную жизнь, людей, с которыми работала, песни, которые они крутят на граммофоне, и так далее. Такому радостному оживлению, такой любви к жизни и к работе можно было только позавидовать. Даже о мрачной Эстер Морено, носившей свою язвительность не снимая, как старое застиранное платье, она рассказывала так, что слушатели проникались сочувствием.

Когда она закончила, Ольга уже живо представляла себе ее работу, как и Дмитрий, который все это время стоял в дверях и заворуженно ловил каждое слово. Он невольно сравнивал колоритных товарищей Катерины по работе с преподавателями своего частного колледжа. Обычно юноша кое-как вставал с постели, надевал свой деловой костюм, брал сумку с книжками и шел на лекции. Он просыпался уже усталым, потому что вечером занимался допоздна, и та радость, с какой Катерина вскакивала по звонку будильника, была ему совершенно неведома.

Тут за спиной Дмитрия возникла Павлина с кофе на подносе, и он понял, что торчать в дверях больше нельзя.

Когда он вошел, Катерина замолчала, внезапно застеснявшись.

– Похоже, тебе нравится твоя работа, – сказал Дмитрий.

– Да, нравится, – отозвалась она.

Оба с трудом боролись со смущением.

– Кофе, Катерина? – спросила Павлина.

– Нет, спасибо, – ответила девочка. – Только воды, пожалуйста. А потом мне пора идти.

– Какая жалость, Катерина, – сказала Ольга. – Мне так интересно было послушать о тебе. А ты ведь еще не рассказала мне про улицу Ирени. Посиди еще немножко, пожалуйста.

На какое-то время Ольга почувствовала, что ожила, словно кто-то

раздул огонь в тлеющих углях. Мир за окном был пугающим, при мысли о том, чтобы выйти туда, ее почти парализовало, и все же ей ужасно хотелось влиться в обычную повседневную жизнь, текущую на улицах, в кафе, на фабриках и в мастерских. Муж не пробуждал в ней таких чувств, не пробуждали и те люди, которых он приглашал в дом, – их церемонная вежливость только усиливала ощущение одиночества и затворничества.

С приходом Катерины комната стала другой. Если бы кто-нибудь вытащил из вазы чопорные букеты роз и хризантем и поставил вместо них охапку только что срезанных полевых цветов, над которыми еще жужжали бы пчелы, это было бы почти такое же преобразование.

Димитрий прошел через всю комнату и сел рядом с Ольгой. Мать с сыном снова зачарованно слушали рассказы и шутки девушки и наслаждались мягким юмором, с которым она описывала жизнь и людей.

Когда Константинос Комнинос пришел домой, его встретил непривычный для этого дома звук: взрывы смеха со второго этажа. Его покашливание и приближающиеся шаги заставили всех умолкнуть, и, когда он вошел в гостиную, Катерина уже поднялась, готовясь уходить.

– Это Катерина, из «Морено и сыновья», – поспешно сказал Димитрий, словно извиняясь за ее присутствие. – Она принесла заказ.

– Я знаю, кто она, – грубо сказал Константинос. – И где же заказ? Где платье?

Он увидел коробку, все еще лежавшую на кресле. Павлина не пришла, чтобы повесить платье в шкаф, и, когда Комнинос сам достал его и развернул, все увидели складку на подоле.

– Ты же должна была надеть его сегодня! – воскликнул делец, не пытаясь скрыть раздражение.

Держа платье в руке, он подошел к столику рядом с Ольгиным креслом, взял звонок и сердито затряс им. Через несколько секунд Павлина была уже в комнате.

Ей не пришлось ничего объяснять – служанка взяла платье из рук Комниноса и весело сказала:

– К вечеру все будет в лучшем виде. Отпарить только надо.

Катерина вся сжалась от стыда. Она должна была позаботиться о том, чтобы платье вынули из коробки сразу же. Таковы были точные указания кириоса Морено, и теперь он узнает, что она их не выполнила.

Атмосфера в комнате резко изменилась. Катерина выглянула в большое французское окно и увидела, что и море, и небо все еще грозно-серые. Но даже эта атмосфера сейчас казалась приятнее той, что воцарилась в комнате.

– Димитрий, – с деланой веселостью проговорила Ольга, – проводи Катерину, хорошо?

– Конечно, – отозвался сын.

– И большое тебе спасибо, Катерина, за то, что принесла платье. Очень мило с твоей стороны, что ты его дошила как раз вовремя.

– До свидания, кирия Комнинос.

Катерина пошла за Димитрием вниз. Юноше было стыдно за то, что отец дал волю своему раздражению перед девушкой. Они с матерью очень рады были ее повидать, сказал он, и надеются, что она еще зайдет. Катерина улыбнулась и ответила, что тоже очень на это надеется. Димитрий открыл Катерине дверь, а затем сразу же ушел в свою комнату на третьем этаже.

Через несколько часов он услышал, что начинают сходить гости отца. Он представил себе мать: бледное лицо искусно оживлено румянами, темные волосы уложены в элегантную высокую прическу, открывающую длинную тонкую шею, светло-желтый шелковый креп платья спадает волнами и красиво развевается на ходу. Она затмит всех прочих жен, и вскоре многочисленные гости, приехавшие для такого случая из Афин, решат, что отныне будут покупать ткани только у Комниноса. Их особенно впечатлит Ольгин наряд. Пять лет назад Комнинос купил двадцать тысяч акров земли на севере, в земледельческой местности, и засадил ее шелковицей. Шелкопряды делали свое дело, и теперь у торговца тканями был шелк собственного производства. Его качество должно было вывести бизнес на новый уровень.

Весь вечер Димитрий просидел, склонившись над книгами. Если он выдержит предстоящий школьный экзамен, ему обеспечено место в медицинской школе, и хотя отец был против, Димитрий твердо решил настоять на своем.

Димитрия отвлекал не только несмолкающий гул голосов и звон вилок о тарелки. Глядя на строчки в учебнике, он вспоминал рассказы Катерины и ее полудетский голос, звеневший в комнате, как колокольчик. Как давно он не слышал, чтобы мама так беззаботно смеялась. Юноша очень надеялся, что Катерина будет еще приходить и приносить платья, даже если маме они и не нужны.

Он старательно зубрил периодическую таблицу, но в памяти не хотело держаться ничего, кроме улыбки Катерины.

## Глава 16

В тот год Дмитрий сдал экзамены и поступил на медицинский факультет университета. Отец был в ярости. Бизнес требовал все больше работы с контрактами и документацией, и если бы сын получил юридическое образование, это еще более укрепило бы их позиции. Изучение медицины ничего в этом смысле не давало.

Константинос решил не принимать во внимание бунт Дмитрия, как он поступал с большинством преград, встававших на его пути. Самым большим удовольствием в жизни для него было одолеть препятствие, в чем бы оно ни заключалось: конкуренты, поставщики, а теперь вот еще и рабочие на фабриках.

Комнинос благополучно пережил финансовый спад тридцатых годов, когда многих его конкурентов погребли под собой долги, и был теперь силен, как никогда. Если он сумел достичь такого финансового успеха во время политической и экономической нестабильности в городе, то почти невозможно представить, чего он добьется в будущем.

Каждое утро он встречал с оптимизмом и уверенностью. Все, казалось, шло по плану. Он чувствовал себя великаном – в своих сшитых на заказ туфлях размера пять с половиной.

Дмитрию тем временем открывался новый мир, где идеи и мнения базировались не на экономической целесообразности, а на совершенно иных принципах. В отличие от школьных учителей, которым платили за то, чтобы они внушали своим ученикам строго определенные убеждения и взгляды, университетские профессора, у которых занимался Дмитрий, были более независимы в суждениях. Помимо лекций по анатомии и фармакологии, он стал посещать занятия по философии и вскоре втянулся в дискуссии о природе добра и зла, о противостоянии веры и знания, мудрости и истины и так далее. Вскоре к этому добавились лекции по политической теории, и у Дмитрия стали быстро складываться собственные взгляды на общественное устройство.

Он никогда не закрывал глаза на то, что происходило вокруг, и детские годы на улице Ирины дали ему больше знания жизни в бедных кварталах Салоники, чем было у его товарищей по университету. И все же до сих пор он не видел своими глазами всей пропасти нищеты в родном городе. Юноша думал, что уличные торговцы, продававшие сигареты и гребенки,

живут, вероятно, в каких-нибудь лачугах у железнодорожного вокзала или в районе Тумба, а теперь узнал, что бывают места значительно хуже. Ему волей-неволей пришлось осознать тот факт, что его вырастили в среде, изолированной от жизни большинства.

Было, пожалуй, хорошо, что в эти дни он редко видел отца. Иначе бы у них дошло до драки. Димитрий впитывал в себя всевозможные политические идеи и вскоре понял, что отец не придерживается никакой определенной идеологии, ни в политическом, ни в духовном отношении. Настоящим богом для Константиноса были деньги. Он принадлежал к Греческой православной церкви как религиозному институту, полагая ее краеугольным камнем нации, но ходил на службы только тогда, когда это было ему удобно. У него не было никакой истинной веры, он просто соблюдал ритуалы, считая, что это делает его греком. По-настоящему он верил только в одно: в свою способность наращивать прибыли своей финансовой империи.

Не принадлежал Константинос Комнинос и ни к какой политической партии. По природной склонности он был консерватором. Его тревожил поток беженцев, хлынувший в город в двадцатые годы, и возмущало то, во что это обошлось городу и что сделало с его улицами. У него почти не было друзей среди депортированных мусульман, так что он только порадовался, когда их не стало. С одной стороны, он одобрял опытного политика Элефтериоса Венизелоса – при нем Греция стала все-таки больше похожа на Грецию. С другой стороны, стоял за монархию. Голосовал он исходя из прагматических соображений, но всегда оставался консерватором с маленькой «к» и роялистом с маленькой «р» и никогда не вешал у себя дома портретов ни короля, ни Венизелоса. Закон, порядок и подавление недовольства среди рабочих были выгодны для бизнеса, и Константинос полностью поддерживал чистки, проведенные в армии и в университете после недавней провалившейся попытки военного переворота.

Димитрий ощущал все нарастающее беспокойство. Он жил в роскошном особняке, а сам инстинктивно сочувствовал большинству, которое составляли бедняки. Это противоречие было трудно разрешить, но он надеялся, что медицинское образование даст ему возможность хотя бы помочь кому-то из тех горожан, которым в жизни посчастливилось меньше, чем ему.

– Главное, постарайся прожить жизнь как можно достойнее, – просто сказала Ольга Димитрию; она слушала рассказы о метаниях сына и понимала, что с мужем об этом говорить не стоит.

Димитрий старательно избегал отца. Это было нетрудно. Константиноса почти никогда не было дома.

Однажды ранним утром, когда шел уже второй семестр университетских занятий, Димитрий встретил на улице Катерину и Элиаса, идущих на работу. Юноша увидел, что они идут ему навстречу и, казалось, целиком погружены в собственный мир – мир смеха и радости. Они даже не замечали его, пока между ними не осталось каких-нибудь несколько футов.

– Димитрий! – воскликнула Катерина. – Как поживаешь?

За пару минут они обменялись десятками новостей, перебивая друг друга вопросами, ответами и восклицаниями.

– А Евгения как поживает?

– Она теперь ткёт ковры в мастерской. Работа тяжелая, зато все время среди людей.

– А близнецы?

– Мария вышла замуж и уехала в Трикалу с мужем и ребенком.

– С ребенком! Она же еще такая молодая!

– И София тоже все замуж собирается...

– Собирается?

– Ну... Они уже два года как помолвлены. По-моему, это у них как-то затянулось... А как кирия Комнинос?

Катерина как раз заканчивала вышивку бисером на новом платье для Ольги и вспоминала о ней.

– У нее все хорошо, – отвечал Димитрий, зная, что именно такого ответа от него ждут. – Может быть, тебя опять попросят отнести ей платье?

– Я бы с радостью. Но помнишь, что получилось в прошлый раз? Столько неприятностей у меня вышло из-за того желтого платья. Да и вообще, у нас сейчас слишком много работы, заказы специальные люди доставляют. У кириоса Морено даже свой фургон теперь есть!

Вот это жаль, подумал Димитрий. Он не забыл тот день, два года назад, когда Катерина пришла передать желтое платье, и помнил, сколько веселья она принесла с собой в дом. Мама, кажется, с тех пор больше ни разу не улыбалась. Он видел ее каждый день – бледную и прекрасную, – и знал, что она никогда не покидает особняк на улице Ники. Ее единственными собеседниками были Павлина и сам Димитрий, и он замечал, что между собой родители почти не разговаривают. Отец приходил домой, когда мама уже спала, а уходил, когда она еще не поднималась, и единственная связь с внешним миром, которая осталась у Ольги, – наблюдение с безопасного расстояния, через окно гостиной, за происходящим на набережной.



Она всегда с удовольствием выслушивала университетские новости, с жадностью выпытывая у Дмитрия все до мелочей: до чего они dospорились на своих диспутах, с кем он дружит. Она жила его жизнью – своей у нее не было.

– Давайте как-нибудь сходим кофе попьем! – предложил Элиас. – У нас же с тобой еще одно дело не закончено, помнишь?

Дмитрий рассмеялся. Элиас вспомнил про их чемпионат по тавли, начавшийся больше чем полжизни назад. Они сыграли бесчисленное количество партий, и никогда ни один не обгонял другого больше чем на один выигрыш. Это превратилось у них в манию. С тех пор оба многому научились и включили в свой репертуар новые варианты игры.

Передав наилучшие пожелания всем родственникам, они договорились встретиться в ближайшие выходные.

Дмитрий не удержался и оглянулся. Он почувствовал укол ревности, когда заметил, что Катерина наклонила голову к Элиасу. Так близко, почти вплотную.

Важной частью университетской жизни Дмитрия были новые друзья. Покончив с занятиями, они часто встречались по вечерам. У них всегда было о чем поспорить, и кафенио казались более подходящим местом, чем библиотека.

Главным в их кружке был Василий, и не только потому, что был лучше всех развит физически (он играл в футбол за одну из городских команд), но еще и благодаря громовому голосу и привычке никогда не сомневаться в себе. Биография и воспитание у него были совсем иными, нежели у Дмитрия. Его отец, беженец из Малой Азии, был работником профсоюза, и социалистические воззрения были у него в крови. Несколько месяцев назад он познакомился с харизматичным лидером коммунистов Никосом Захариадисом, тоже приехавшим из Малой Азии, как и родители Василия. Василий был им просто очарован.

На стороне коммунистов была сложившаяся система взглядов, четко определенные цели, и юнцов-идеалистов вроде Василия притягивала невероятно мощная и яркая личность человека, распространявшего эти идеи в городе. В прошлом они, может быть, и стояли бы за Венизелоса, но теперь у него давно борода поседела и силы уже не осталось. Новое дело захватило Василия более властно, чем новый роман, и подействовало на него сильнее, чем переход в другую религию.

Единственным, что могло отвлечь его от политики, была музыка. Как-то в пятницу, поздно вечером или, скорее, уже рано утром, когда они впятером – Дмитрий, Василий, Лефтерис, Маноли и Александрос –

осушили бутылку цикудьи и темы для идеологических дискуссий были почти исчерпаны, Василий заявил друзьям, что поведет их слушать музыку. В деловом центре города выступает популярный певец ребетики<sup>[5]</sup>, и им всем нужно пойти на его концерт.

Отец Дмитрия почти любую музыку презирал, и в доме у Комниносов никогда не было граммофона. Несмотря на это, Дмитрий за последние месяцы чего только не слушал. Музыка в жадном до развлечений городе была на каждом углу, толпы собирались хоть в солнечный день, хоть в снегопад, чтобы послушать горцев-кларинистов, мандолинный оркестр или цыганских барабанщиков.

Почти в любом кафе было радио, и из хрипящих приемников, чаще всего прикрученных к стене, Дмитрий услышал, хоть и с опозданием, популярную «музыку трущоб», музыку горя. Ему нравились ностальгические восточные мотивы, в которых слышалась тоска по потерянной родине, но ни на одном концерте ребетики он еще не был. Каждый раз нужно было то работу закончить, то книгу дочитать.

– Брось, Дмитрий, подождут твои опыты. А этот певец ждать не будет.

Они двинулись к вокзалу и вышли на улицу, забитую притонами, клубами ребетики, барами, где курили гашиш, и борделями. Дмитрий подумал, как разгневался бы отец, если бы ему стало известно, где он бывает. Но как же узнать жизнь, если ни на шаг не отходить от чисто вымытых каменных мостовых буржуазных кварталов? Василий уверенно провел его через узкую арку в грязную комнату, тускло освещенную и насквозь продымленную. Тут была толпа, и они с трудом протолкались сквозь нее к свободному столику. Через несколько секунд на столик со стуком поставили бутылку с прозрачной жидкостью и шесть рюмок.

Три музыканта уже играли – один на бузуки, двое на ее сестрах, отличавшихся более высоким голосом, – багламах. Музыка была ритмичная, напористая, с повторяющейся мелодией, и в воздухе чувствовалось нетерпеливое ожидание.

Наконец предмет всеобщего внимания показался из смежной комнаты и пробрался сквозь толпу. На это ушло немало времени. По пути к сцене, слегка приподнятой над полом части зала, он раз десять останавливался, чтобы пожать кому-то руку. У каждого столика угощался цикудьей, чокаясь со всеми, кто был рядом, и двигался дальше. Он был хорошо одет – в костюме, в ослепительно-белой рубашке, – красивый, обаятельный, улыбчивый.

– Стелиос Керомитис! – прокричал Василий, перекрывая шум.

Это был знаменитый певец из Пирея, он приехал в Салоники

на несколько дней.

Керомитис наконец пробрался к своим музыкантам, взял ожидавшую его бузуки и сел. Покрутил колки, настраивая инструмент, аккуратно вставил сигарету между мизинцем и безымянным пальцем левой руки, кивнул остальным и начал играть. После нескольких вступительных аккордов он запел. Это был какой-то львиный рык, низкий, полный боли и страдания, всецело соответствующий словам песни, в которой говорилось о смерти, болезнях и разлуке. Такие темы были частью повседневной жизни в грязных переулках, которыми Дмитрий с друзьями шли сюда.

Немалую часть людей в этом зале, включая Василия, составляли беженцы из Малой Азии, и тоска по родной земле никогда их не покидала. Наполовину восточные, наполовину западные мотивы ребетики воплощали в себе чувство оторванности и печали, и они вдыхали эту музыку так же глубоко, как втягивали гашиш в легкие.

К ночи зрители начали подпевать, и иной раз голос самого Керомитиса был уже почти не слышен. Теперь он курил кальян и запевал только в промежутках между затяжками. В воздухе плотной завесой висели дым и шум, а алкоголь обострял ощущения.

Часа в три ночи какой-то человек, сидевший у самой сцены, поднялся, и ближайшие столики отодвинули назад. Он стал медленно кружиться на месте, вытянув руки, с сигаретой в пальцах, склонив голову набок. Дмитрию вспомнились дервиши, которых его однажды водили смотреть. Этот человек был словно в каком-то трансе и этим действительно напоминал дервишей, только смотрел не в небо, а в землю.

Танцор был худой, жилистый, расстегнутая рубашка открывала мускулистый торс. Его друзья начали ритмично хлопать в ладоши, а он все кружился, приседая все ниже и выпрямляясь снова, ни на миг не теряя равновесия. Казалось, он совершенно погружен в себя и взлетает в воздух, когда его подхватывает вытянутая из земли энергия.

Дмитрий заметил, что несколько женщин, стоявших в самом конце, у бара – скорее всего, проституток, – вытянули шеи, стараясь разглядеть получше. Одна даже вскочила на стул, чтобы видеть через головы толпы.

Женщины, что привыкли получать почасовую плату за секс, этому удивительно раскованному человеку с радостью предоставили бы свои услуги бесплатно. Их очаровывало его гибкое тело и то, что он словно не замечал их восхищенных взглядов.

Его выступление возбудило всех разом, и мужчин, и женщин, и за эти шесть с половиной минут на Керомитиса никто ни разу не взглянул. Магия

зейбекико покорила всех. Наконец, после того как у ног певца разлетелось на осколки несколько бокалов – знак одобрения и поощрения, – странная, парадоксальная музыка в ритме 9 на 8 сменилась другой, и танцор вернулся на свое место, снова смешавшись с толпой.

Часов в пять утра, когда Керомитис устал, Дмитрий с друзьями покинули бар. Улицы были залиты бледным оранжевым светом только что поднявшегося солнца. Молодые люди зашли в ближайшее кафе.

– Давайте поедим, – сказал Василий, бывший среди них вожаком.

В сочетании с гашишем ребетика, хоть и была исполнена тоски, оставила у них чувство радостного возбуждения. Впервые в жизни Дмитрий провел целую ночь без сна и был удивлен тем, с какой обостренной чуткостью стал реагировать на все. Ошеломляющая атмосфера теке, пронзительность и искренность музыки, крепкое чувство студенческого товарищества дали ему новое ощущение жизни. Аромат городской субкультуры показался ему неожиданно заманчивым, и он недоумевал, как могут буржуа довольствоваться ужинами в богатых европейских ресторанах или зваными вечерами в роскошных домах, когда рядом с ними существует культура, полная таких обнаженных эмоций.

Потом, в свободную минуту и в трезвом состоянии, более способствующем размышлению, он нашел ответ на этот вопрос. Но в то раннее утро, сидя над своей магритцей, ложку за ложкой отправляя в рот теплый и сытный суп с овечьими потрохами, он просто по-детски удивлялся: как можно не хотеть быть здесь, сейчас, с ним?

– Пойду вздремну немного перед занятиями, – объявил Василий.

Ответом ему был негромкий одобрительный гул, и компания, оставив на столике несколько драхм, разошлась разные стороны.

Дмитрий приблизительно представлял, какой дорогой его отец ходит на работу, и в таком виде, с мутными глазами, старался на этих улицах не показываться. Через пятнадцать минут он пришел домой, открыл дверь и проскользнул в свою комнату. Отец с вечера был уверен, что сын сидит там, запершись, и прилежно готовится к предстоящим экзаменам.

После этой ночи посещения баров ребетики стали чаще, и непричесанная городская субкультура приблизила Дмитрия к самому сердцу Салоников. Легко отпечатывающиеся в памяти стихи о разбитых сердцах и жизнях, пусть и не отражавшие его собственного опыта, помогали думать и мечтать.

Сутенеры, певцы ребетики и торговцы гашишем казались такой же необходимой составляющей города, как и банкиры и владельцы магазинов, и было что-то притягательное в безыскусности этой изнанки жизни, такой

далекой от безупречного порядка дома, под крышей которого Дмитрий проводил ночи. Лет десять, если не больше, Константинос Комнинос твердил сыну, что в некоторые районы Салоников ходить слишком опасно. «Там одни голодранцы да проститутки, – говорил он Дмитрию. – Держись от них подальше».

Элиас Морено тоже начал ходить с ними по вечерам. За этим обычно следовало ожесточенное и шумное сражение в тавли с Дмитрием. Около часа они перебирали все известные им варианты игры: портес, плакото, февга, – играли быстро, напористо, никогда не выбиваясь из ритма. Секунда не успевала пройти от броска до следующего хода, и каждому движению сопутствовал свой звук. Сначала стук костей, когда их бросают о край доски, затем рокот, когда они крутятся, как волчки, наконец быстрый шорох и стук передвигаемых фишек – и тут же снова гремят кости. Фишки стучали, не умолкая, но сами игроки с начала игры и до финального, победного удара по фишке противника в центре доски не произносили ни слова.

Изредка над костями бормотали заговоры, чтобы не выпало двойное число. Пока шла игра, они оставались воюющими сторонами и около часа не отрывали глаз от доски, даже мельком не смотрели друг на друга. Дмитрий вытирал лоб платком, Элиас – рукавом. Только после того как игра прекращалась, разговор возобновлялся. Тут-то Дмитрий и расспрашивал Элиаса о его родителях, а заодно и о Катерине.

Теперь, когда близнецы покинули дом на улице Ирины, а Евгения целыми днями работала на ткацкой фабрике, Катерина стала, можно сказать, членом семьи Морено. Она часто приходила к ужину и занимала то место за столом, на котором сидела когда-то мать Саула, умершая несколько месяцев тому назад. Без ее молчаливого присутствия дом словно бы немного опустел.

Чаще всего Катерина и после ужина засиживалась на пару часов – заканчивала какую-нибудь вышивку и беседовала с Розой Морено. Для обеих это была не работа, а все то же любимое занятие, которым им посчастливилось наслаждаться и днем, и вечером.

Элиас говорил о Катерине с неизменным восхищением и нежностью, и Дмитрий, хоть и понимал, что не годится ревновать к молочному брату, каждый раз чувствовал легкий укол досады.

Элиас выучился играть на уде и иногда выступал в одном из баров. Дмитрий, Василий и другие всегда приходили послушать. Элиаса охотно приняли в компанию. Он, в отличие от остальных, был рабочим, человеком из мира коммерции, такого далекого от академической среды, библиотек

и аудиторий, однако всех их объединяла страсть к ребетике.

Музыка и люди, которые ее играли, стали фоном для многих вечеров, проведенных вместе, а предметом дискуссии зачастую была политика.

В стране по-прежнему царила бедность, политическая и экономическая нестабильность. Беспокойство нарастало. За десять с небольшим лет в Греции произошла целая дюжина военных переворотов, а правительства сменилось почти вдвое больше, и маятник все так же раскачивался между теми, кто желал возвращения монархии, и ее противниками. Место монархии в Греции по-прежнему оставалось предметом ожесточенных споров и дискуссий. В 1920 году, когда король Александр умер от укуса обезьяны, его отец вернулся из изгнания, однако уже через два года вынужден был снова покинуть страну. Его сменил старший сын Георг, которому, в свою очередь, тоже пришлось уехать, не прошло и года. Почти двенадцать лет король Георг провел в изгнании, но наконец вернулся после всенародного голосования.

Выборы в 1936 году прошли почти с равными результатами, и, хотя роялисты заняли большую часть мест в парламенте, коммунисты сохранили политическое равновесие. В отсутствие ведущей политической силы обстановка сложилась тревожная.

Полиция получила больше полномочий – теперь можно было арестовать кого угодно за простое выражение несогласия с правительством или протест.

Василий чувствовал, что пришло время действовать. Он пытался подстегнуть и остальных.

– Эти люди, которых арестовали, не совершили ничего дурного! – возмущался юноша. – Почти все они просто говорили правду: что им мало платят и эксплуатируют. А это непреложный факт.

– Это нелогично, несправедливо...

– Недопустимо! – громыхал Василий. – Надо же что-то делать!

Димитрий понимал, что, если ввяжется в дискуссию с отцом по поводу того, справедливо ли обходятся с левыми, у них дойдет до драки. Чаще всего он прикрывался неотложными занятиями, опытами в лаборатории, важными встречами с профессорами и так далее, но раз в неделю, главным образом ради матери, ужинал с родителями. Чтобы побережь Ольгу, которой определено ни к чему была грандиозная ссора между отцом и сыном, Димитрий держался подальше от спорных предметов, поддерживал легкую беседу, рассказывал о занятиях по анатомии, расспрашивал о бизнесе и в целом сохранял у родителей иллюзию, что когда-нибудь войдет в дело Комниносов.

Был субботний вечер, вскоре после Пасхи, и назавтра Димитрию вновь предстояло это еженедельное испытание. Сегодня они с Элиасом играли в тавли, а потом отправились на встречу с Василием в их любимое теке. Вышли они из кафенио уже после одиннадцати, но музыканты, которых они надеялись послушать, все равно редко начинали играть до полуночи.

Димитрий выпил только кружку пива – на следующий день предстояло много заниматься, готовиться к экзаменам. Если бы голова у него не была такая ясная, он, может быть, и не поверил бы своим глазам, когда они с Элиасом шли по убогим улочкам. Впереди, метрах в пятидесяти, долго маячила темная, с трудом различимая в тени фигура человека. Вот он остановился, огляделся и вошел в дверь, которую перед ним отворили. Он не заметил ни Димитрия, ни Элиаса – их скрывала тень, зато они его ясно разглядели.

– Это же?.. – Элиас в смущении умолк, жалея, что вообще заговорил.

– Мой отец. Да. Я уверен.

Не говоря больше ни слова, они пошли дальше. Димитрий был потрясен. Это был публичный дом – относительно пристойный, да, но все же бордель. Его отец ходит к проституткам.

Первой мыслью Димитрия было дождаться отца и потребовать ответа прямо здесь, на месте.

Словно прочитав его мысли, Элиас взял Димитрия под руку. Он чувствовал, что друг зол и растерян.

– Пожалуй, ни к чему устраивать сцену, Димитрий, – сказал он. – Да и вовсе ничего не стоит говорить.

Димитрий понимал: ему нужно время, чтобы переварить увиденное. Сейчас он мог думать только об одном – все принципы его отца основывались на лжи. Он связан с темной изнанкой Салоникиков даже теснее, чем сам Димитрий. Он лицемер и ханжа.

Домой юноша пришел ночью, пьяный почти до бесчувствия. Споткнулся, врезался в дверь и с грохотом сшиб на пол какую-то статуэтку. Отец возник на верхней площадке лестницы так стремительно, что Димитрий подумал, уж не дожидался ли он его.

– Ты знаешь, который час? – Отец говорил шепотом и в то же время почти кричал, быстро сбегая по лестнице к сыну. – Где ты шатался?

Димитрий думал, что Константинос его ударит – иначе к чему такая торопливость? Он стоял неподвижно, а отец летел к нему, похожий на ворона в своем черном шелковом халате. Он оперся рукой на столик – для устойчивости.

– Ты что, не слышишь? Где ты был? – Теперь голос Константиноса

звучал уже на полную громкость. – Отвечай!

Павлина, потревоженная шумом, стояла в дверях своей спальни в цокольном этаже, и на ее круглом сонном лице читались недоумение и тревога.

Не теряя самообладания, Димитрий наклонился к отцу, так, что их лица были в дюйме друг от друга, и тихо, чтобы не слышала Павлина, ответил на его вопрос:

– Я был на улице Диониса.

Комнинос побледнел. В голосе сына явственно слышалась торжествующая нотка.

Павлина исчезла, тут же появилась снова, с метлой, и стала сметать осколки статуэтки. Она собрала их в аккуратную кучку, и глаза ее остановились на лицах двух мужчин.

Константинос быстро овладел собой. Ольга уже стояла на верхней площадке лестницы.

– Что случилось? – спросила она. – Димитрий, с тобой все хорошо?

Прежде всего она подумала о том, о чем только и могла подумать как мать. Она знала, что Димитрий часто бывает в самых беспокойных местах города, и читала, что в теке то и дело случаются поножовщины.

– Все в порядке, мама, – ответил он.

– Всем пора в постель! – рявкнул Константинос. – Павлина, отложи уборку до утра, будь любезна.

Ольга исчезла, и Павлина молча попятилась к себе в комнату, оставив метлу у стены. Константинос повернулся к Димитрию спиной и спокойно ушел наверх.

Димитрий подождал, пока закроется дверь родительской спальни, а потом, крепко держась за перила, поднялся к себе.

Назавтра за обедом Димитрий, Ольга и Константинос уселись за большой круглый стол, тарелки на котором были расставлены, как всегда, «через двадцать минут». Букет сухих цветов в центре отражал общее настроение. Павлина появлялась и исчезала, подавая новые блюда. Беседа шла принужденно. Каждый раз, унося тарелки, Павлина замечала, что Ольга почти не притронулась к еде. Димитрий ел немногим лучше.

Ольга понимала, что между мужем и сыном что-то произошло, и старалась поддерживать легкую беседу. Димитрий избегал смотреть на отца.

Всего неделю назад, на Пасху, они все вместе ходили в церковь. Из памяти юноши еще не выветрились картинки, как отец целует икону, крестится и подобоострастно преклоняет колени, касаясь губами кольца



на протянутой руке священника. Его передернуло при мысли об отце, сидящем в первом ряду. Это почетное место, как он теперь понимал, отражало его финансовый вклад в церковь, а вовсе не близость к Богу. Он смотрел на свою милую мать и размышлял, догадывается ли она хоть о чем-нибудь.

Константинос Комнинос, кажется, еще явственнее обычного испытывал мазохистское удовольствие, обнажая глубину политических разногласий между собой и сыном, и, как всегда, предполагал, что Димитрий рано или поздно склонится к его точке зрения. Сыновья на то и сыновья, чтобы наследовать семейный бизнес. По-другому просто не бывает. Он до сих пор не смирился с тем, что его отпрыск выбрал другую дорогу.

Константинос знал, что Димитрий не выдаст его матери, и пользовался этим, играя с сыном в еще более жестокую игру, чем обычно, заставляя того корчиться от невысказанного гнева по поводу положения дел в стране. Король только что назначил генерала Иоанниса Метаксаса первым министром, а Метаксас отдал приказ полиции жестко подавить протесты рабочих, которые представляли собой нарастающую угрозу закону и порядку в стране. Несколько профсоюзных активистов и коммунистов уже отправили в ссылку, и Комнинос, как владелец фабрики, радовался, что есть кому держать пролетариев в узде.

– Что до меня, я считаю, чем суровее меры, тем лучше!

Это было адресовано напрямую Димитрию, и Константинос не сомневался, что на этот раз добьется какой-то реакции.

Ради Ольги Димитрий не поддался на провокацию. Он боялся, как бы не сказать что-нибудь такое, о чем потом придется пожалеть, чего не хотелось бы говорить при матери, но понимал, что отец испытывает его, доводит до крайней точки. Константинос Комнинос знал: пока Ольга здесь, ему ничто не угрожает.

Димитрий резал мясо, воображая, что сверкающий нож вонзается в тело отца. Еще не прожевав, он поднялся.

– Мне пора.

– Куда это ты собрался в воскресенье вечером? – резко спросил отец. – Библиотеки же закрыты.

– У меня встреча с друзьями.

– Вот жаль, дорогой, – сказала Ольга. – Павлина приготовила твоё любимое глико.

– Оставишь мне немножко, мамуля? – попросил он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в лоб. – Прости, но мне надо идти.

В одну секунду он оказался на улице и вскоре уже торопливо шагал

к кафенио, где они договорились встретиться с Элиасом и Василием. Проходя мимо окна, он заметил с ними кое-кого еще. Катерину.

Димитрий шел быстро, но сердце у него колотилось сильнее обычного, когда он открыл дверь, не от скорой ходьбы.

Не так часто в этом кафенио можно было увидеть девушку, и Катерина поспешно объяснила:

– Я ходила на дом к заказчице снимать мерку. Это на соседней улице, и Элиас уговорил меня после зайти выпить с ним кофе.

– В воскресенье? Воскресенье же выходной.

– Когда как, если работаешь у кириоса Морено, – со смехом ответила Катерина и взяла свою сумку. – Ну, надеюсь, до скорой встречи, Димитрий.

– Хочешь, я провожу тебя домой?

Эти слова вырвались сами собой, и Димитрий тут же смутился. Ясно же, что провожать ее будет Элиас. Они ведь живут на одной улице.

– Не надо, но все равно спасибо, – снова засмеялась она. – Еще светло. Я сама дойду.

– Уверена? – уточнил он.

К немалому удивлению юноши, Катерина вдруг передумала.

– А знаешь, вообще-то, было бы неплохо. Ты ведь не идешь еще домой, Элиас?

Тот покачал головой.

До улицы Ирины было недалеко, и Димитрий поймал себя на том, что старается идти помедленнее.

По пути Катерина рассказывала о семье Морено. Кирия Морено научила ее почти всему, что она теперь умела, и каждый день ей представлялись новые возможности отточить мастерство. О своем ремесле она говорила с жаром.

– Я как подумаю про этих девушек с табачной фабрики – каждый день одно и то же, день за днем, – и понимаю: я бы умерла, если бы мне пришлось так работать. У меня на работе каждый час что-то новое. Там десятки разных швов, и каждый раз я их шью разными цветами, на разных тканях, в разных сочетаниях. И результат каждый раз разный.

– Немного похоже на музыку, да? – отозвался Димитрий.

– Да! Мне кажется, очень похоже, – засмеялась девушка.

– Нот всего семь, но из них можно составить тысячи разных мелодий! Так, значит, ты совсем как Моцарт, только вместо нот у тебя нитки? – Димитрий сам улыбнулся такому сравнению. – Элиас говорит, ты еще и вундеркинд, как Моцарт.

Катерина покраснела. Может быть, потому, что он упомянул об Элиасе. Димитрий не мог этого сказать точно и старался не думать о том, сколько времени они проводят вместе.

– Я не так уж много знаю о Моцарте, но думаю, Элиас преувеличивает.

Дорога домой кончилась что-то уж очень быстро. Катерина оживленная, раскованная речь завораживала. Димитрию казалось, что она вся как-то светится изнутри. Девушка улыбалась не только губами, но и глазами, и даже в ее походке чувствовалась радость.

Прошло несколько дней, и Димитрий понял, что все время думает о Катерине и мечтает увидеть. Ее образ отпечатался в памяти, и молодой человек никак не мог прогнать его. Катерина на своем примере показала ему то, что он, пожалуй, уже и сам понимал: счастье не обязательно связано с богатством. То, что ему самому вечно было не по себе при мысли об ожидавшем его огромном состоянии, тоже это доказывало.

А вот голод и недовольство были определенно связаны. В Салониках многие жили у самой черты бедности, и уже назревали неизбежные волнения.

Василий каждый день приносил новости от отца. На улицах с приходом мая стало жарче, нежное тепло весны сменилось иссушающим летним зноем, и одновременно с этим люди потеряли терпение и стали выдвигать требования. Поговаривали о всеобщей забастовке.

– Салоники на грани революции, – докладывал Василий товарищам, горя возбуждением. – Рабочие на табачных фабриках готовят забастовку! Завтра! Мы должны их поддержать.

Выбора не было. Не могли же они не поддержать эксплуатируемых, обездоленных, тех, кому за неделю работы платят меньше, чем богачи тратят на один обед в дорогом ресторане. Василий не раз водил Димитрия в кварталы, где они жили, и теперь настало время хоть как-то проявить солидарность.

На следующий день молодые люди встретились в университете и направились к зданию муниципалитета. Через несколько минут их подхватила целая река людей. Чувствовалось приподнятое настроение: в этот солнечный день в стране рождалась демократия, открытый уличный протест. Это радовало.

– Вот так мы и дадим понять, что чувствуем! – восклицал Василий. – Правительство не может просто отмахнуться от нас, верно? – Ему приходилось кричать, чтобы перекрыть шум толпы.

Пролетел слух, что к ним присоединяются рабочие из трамвайного и железнодорожного депо и электрики. Жажда протеста распространялась,

как эпидемия, и на улицах собралось больше двадцати тысяч человек.

Василий был вне себя от восторга.

– Может, и добьемся чего-то, смотри-ка, – сказал он. – Это и есть власть народа!

Наконец демонстранты разошлись.

Нечаянно столкнувшись в этот вечер с отцом, Димитрий услышал неприятную новость.

– Ну что ж, – сказал Константинос, отдавая шляпу Павлине, но глядя при этом прямо на сына, – ты будешь рад услышать, что Метаксас дал полиции полную свободу действий!

Димитрий старался не выдать себя. Ему не хотелось, чтобы отец узнал, что он тоже был сегодня на улице.

– Это как-то слишком, – отозвался он.

– Мне так не кажется, Димитрий, нет, не кажется. – (Молодой человек промолчал.) – И еще лучше: он вводит военное положение. С этим народом только так и нужно.

Уже от того, как отец произнес «с этим народом», Димитрию захотелось сплунуть, но умение сдерживаться всегда было его сильной стороной. Каждый раз он оставлял за отцом последнее слово и почти забавлялся этим.

– Не суйся завтра на улицу, хорошо?

Выходит, Константинос знал, что Димитрий ходил сегодня на демонстрацию. Значит, кто-нибудь из зевак увидел его и доложил.

Следующий день начался так же, как предыдущий. Группа студентов, и Димитрий в их числе, собралась вместе и направилась к центру Салоников, чтобы присоединиться к народу.

Атмосфера была уже совсем другая. В центре протестующие кричали: «Да здравствует забастовка!» – а напротив стояли полицейские и военные. Какое-то время они просто смотрели друг на друга. Это было похоже на затишье перед бурей.

Василий, которому непременно хотелось быть в центре событий, пробился ближе. Димитрий пытался последовать его примеру, но его остановила внезапно уплотнившаяся толпа. Раздался многоголосый рев, и все разом, дружно двинулись вперед.

И тут, словно поняв, что теряют контроль над ситуацией, полицейские открыли огонь.

Димитрий стоял сзади и ничего не видел, только почувствовал обратное движение – народ попятился, кто-то повернул, пытаясь убежать. Начался хаос, паника, всеобщее смятение. Никто не верил в то, что происходит.

Полиция открыла огонь по безоружным.

Люди бежали во все стороны, крича, пробивая себе дорогу кулаками, и среди них были студенты, друзья Дмитрия. Но сейчас было не до того, чтобы высматривать в толпе друг друга.

Никто не понимал, что происходит, никто не знал, что будет дальше, всех подгонял животный инстинкт самосохранения, и кого-то уже сбили с ног в давке. Дмитрий сам не заметил, как оказался в каком-то переулке. Все соседние магазины и кафе были закрыты, спрятаться негде. Он бежал вслепую, не останавливаясь. Сейчас демонстрантов схватят, а Дмитрий знал, как жестоко в полиции обходятся с задержанными.

Когда ноги уже подкашивались от изнеможения и страха, он увидел, что добежал почти до самой улицы Ирины. Там он постучал в дверь кирии Морено.

У нее он и просидел несколько часов, чувствуя себя в безопасности, но тревожась за друзей, которые были с ним. Наконец юноша подумал, что полиция, наверное, уже прекратила разыскивать нарушителей порядка, и собрался уходить. Кинул взгляд вдоль улицы, туда и обратно, чтобы убедиться, что путь свободен, и еще, как он признался себе, чтобы посмотреть, нет ли где поблизости Катерины, а потом быстрым шагом направился к улице Ники.

Мать была вне себя от радости, увидев его.

– Дмитрий! – воскликнула она, обнимая сына, и он почувствовал, как ее теплые слезы каплют ему на рубашку. – Ты был там, правда?

– Прости, мама, мне очень жаль. Ты, должно быть, так волновалась.

– Я знаю только, что люди погибли, – сказала она. – Павлина только что пришла, принесла новости... Я подумала, вдруг и ты тоже среди них.

– О господи! – воскликнул Дмитрий, отстраняясь. – Мы все были без оружия.

– А многих страшно покалечило, – прибавила мать. – Я так рада, что ты дома.

– Василий был впереди. Я должен узнать, где он.

Дмитрий выскочил из дому и побежал по улицам к больнице. Повсюду валялись какие-то обломки, брошенные вещи – свидетельства паники, охватившей демонстрантов, когда полицейские повернули против них оружие.

Поиск по всем палатам ничего не дал – значит его друга не было среди раненых, и Дмитрий с замиранием сердца отправился в стоявший рядом морг. Врач в больнице сказал, что убитых свозили туда.

Подходя к зданию, он увидел знакомое изможденное лицо. Это был

отец Василия.

– Здесь его нет! – крикнул тот и обнял Дмитрия со слезами облегчения. – Здесь его нет!

– И в больнице тоже нет! – сказал Дмитрий.

– Нет? Я как раз туда собирался.

– Уже незачем. И домой он не приходил?

– Нет, – ответил отец Василия. – Остается только одно.

Они понимали, что молодой человек, скорее всего, арестован.

– Пойду в тюрьму, – сказал отец Василия. – А вы лучше не ходите. Лишний риск.

Следующий день стал днем траура. Проводить погибших в последний путь пришли тысячи. Двенадцать усыпанных цветами тел пронесли по улицам в открытых гробах, и люди скорбели по убитым и по десяткам раненых, что лежали в больнице. Те, кто шел в траурной процессии, оплакивали не только погибших друзей, но и свою свободу. Лепестки цветов устилали место, где пули настигли демонстрантов.

Когда были объявлены новые забастовки, Метаксас воспользовался поводом, которого давно ждал. Он доложил королю, что в стране готовится коммунистический переворот. Четвертого августа генерал получил разрешение на введение военного положения. В Греции установилась диктатура.

Жара в тот день стояла невыносимая, и вечером температура не опустилась ниже тридцати пяти градусов. Ольга рано ушла спать.

Дмитрий увидел, что его место за столом изменилось. Теперь он сидел напротив отца. Павлина еще не принесла первое блюдо, однако вино уже было налито.

Константинос Комнинос поднял бокал:

– Я хочу произнести тост.

Дмитрий, против обыкновения, взглянул на отца.

Он упрямо не прикасался к своему бокалу, но все смотрел и смотрел в эти холодные, неподвижные глаза.

– За закон и порядок, – сказал Комнинос. – За диктатуру.

Он не улыбался, но весь его вид выражал торжество.

Что это – самообладание или трусость? – думал Дмитрий. Что удерживает меня от того, чтобы запустить отцу графином прямо в лицо?

– Ну же! Выпей! – Тот, кажется, насмеялся.

Молча, осторожно Дмитрий поднялся и вышел из комнаты. В сердце у него пылала ненависть, но он не мог доставить отцу удовольствие

полюбоваться на его реакцию.

Константинос Комнинос услышал, как внизу хлопнула дверь, и продолжил свой ужин в одиночестве. На улице Дмитрия вырвало в канаву.

## Глава 17

В точности как боялся Димитрий и как надеялся его отец, Метаксас принял новые меры к тому, чтобы подавить профсоюзное движение, и дал полиции новые полномочия. На коммунистов и левых активистов устраивали облавы и отправляли в лагеря. Их пытали, выбивая признания или заставляя называть имена других коммунистов.

Василия больше месяца не выпускали из тюрьмы. Свиданий с ним никому не разрешали, и Димитрий с друзьями много раз приходили к его отцу, чтобы обсудить, что делать. Тот каждый раз отвечал сурово:

– Я знаю, что вы не состоите в партии, но если будете к нему ходить, вас все равно могут взять на заметку как коммунистов. Держитесь в стороне – это лучшее, что вы можете сделать.

Один из профессоров права организовал кампанию за освобождение Василия, даже дал показания, что его студент шел к нему на лекцию и на демонстрации оказался случайно. Через шесть недель после ареста отец Василия получил письмо. Он торопливо распечатал его, ожидая известия об освобождении сына, и прочитал.

*Уважаемый кириос Филипидис, считаем своим долгом сообщить Вам, что Ваш сын скончался 14 июня. Причина смерти: туберкулез. Если Вы желаете забрать его личные вещи, это можно сделать до 18 числа сего месяца.*

Письмо пришло как раз восемнадцатого.

Отец Василия был совсем раздавлен горем и не нашел в себе сил идти в тюрьму, вместо него отправились Димитрий с другом Лефтерисом. Димитрий понимал, что подпись под казенной бумагой компрометирует его в глазах полиции, но гордился своей дружбой с мучеником за свободу.

На похоронах по щекам у него текли слезы печали, а в груди кипел гнев. Вне всяких сомнений, смерть Василия была на совести властей, и Димитрий поклялся себе, что никогда не встанет на сторону правительства, допустившего такое. Греция, безусловно, заслуживает лучшего.

Внешне жизнь в городе шла по-прежнему. Димитрий снова ходил на лекции в университет, предприятия вроде мастерской Морено продолжали работать, как раньше. Катерина иногда заходила выпить кофе



вместе с Элиасом и Димитрием, только тон их разговоров изменился. Они горевали по Василию и все трое понимали, что под внешним благополучием в городе назревает тревожная обстановка.

В эти дни Димитрий всеми силами старался не встречаться с отцом. Даже редкие совместные ужины были ему в тягость. При отце он пребывал в постоянном страхе, и не потому, что боялся самого Константиноса Комниноса, он боялся того, что может сказать этому человеку, которого теперь презирал.

Мать, кажется, поняла все без слов. Она ни разу не задала Димитрию ни одного вопроса, когда он исчезал из дома за несколько секунд до возвращения отца или обедал в неурочное время.

Ольга понимала те чувства, которые Димитрий испытывал к отцу, и те, что Константинос питал к сыну. С того дня, как Димитрий появился на свет, любви тут не было и следа. Она помнила, как ее муж глядел на спящего ребенка, словно это не его собственная плоть и кровь, а какое-то диковинное животное. А потом случился пожар, и обстоятельства их жизни резко переменились. Тот миг, когда отец впервые берет сына на руки, смотрит ему в глаза и видит в них свое отражение, был упущен.

В эти первые двадцать лет жизни Димитрия Ольга часто заводила об этом разговор с Павлиной.

– Это я что-то не так сделала? – спрашивала она, заламывая тонкие руки.

У Павлины было свое мнение по поводу Комниноса, но инстинктивно она старалась щадить Ольгу.

– По-моему, так бывает иногда, – говорила она. – Многие мужчины не интересуются своими детьми. Считают, что это женское дело.

– Может быть, ты и права, Павлина...

– А вот потом, когда сын подрастет, отец поймет, что это уже мужчина, и пойдут у них свои разговоры. Вот увидите.

В каком-то смысле на эту теорию Павлину натолкнуло поведение самого Константиноса. Он, казалось, ждал одного: когда сын начнет вносить вклад в растущую бизнес-империю. Он все еще рассчитывал заставить Димитрия поступать по-своему, однако тот уже знал, что никогда не подчинится воле отца.

Он презирал самую роскошь этого дома и поднимался на крыльцо одним прыжком, как вор, потому что не хотел, чтобы его увидели, но с нетерпением ждал момента, когда войдет и мать покажется на верхней площадке лестницы. Димитрий никогда не задумывался над тем, почему она всегда там, всегда ждет его. Так было с тех самых пор, как они

переехали на улицу Ники, и ему хотелось, чтобы так было всегда. Ее красота, ее молчаливое присутствие были неизменны в доме. Диктатура ли, республика – никакой политической режим не мог изменить одного: улыбки и объятия, которыми Ольга встречала сына.

На улице Ирины такой же теплый прием часто ждал и Катерину. Евгения, проработав целый день на фабрике, возвращалась домой к своему станку и бралась за челнок. Когда Катерина появлялась в дверях, Евгения всегда встречала ее. Тут же загорался язычок газа под туркой, и дом наполнялся ароматом кофе. Ужин готовили позже. Пока еще оставался целый час дневного света, им обоим не хотелось его упускать – при масляной лампе глаза устают. Каждая секунда, пока солнце еще не село, была дорога.

Иногда, пока пили кофе, Катерина становилась у Евгении за спиной, массировала ее затекшие плечи, и они рассказывали друг другу о том, что у них случилось за день.

Однажды Евгения получила письмо от Марии. Та спрашивала, не хочет ли мама переехать жить к ним, в Трикалу. София жила в каком-нибудь километре от них, в ближайшей деревне.

– Я уже один раз в своей жизни переезжала, – сказала Евгения. – Хватит с меня... Хотя я, конечно, очень скучаю по близнецам.

– Конечно скучаешь! – поддержала Катерина.

– Тяжело, когда людей вот так разбрасывает в разные стороны, правда?

– Да-да! Конечно, разлука – это тяжело.

Грустная ирония, скрывавшаяся в этих словах, дошла до них обеих одновременно. Евгения обернулась к Катерине и посмотрела ей в лицо:

– Прости. Я не подумала... – В молчании Евгения снова взялась за свой ковер, а Катерина раскрыла шкатулку для рукоделия и достала кофточку, на которой как раз вышивала кайму. – Нет, правда, я не хотела...

– Да ничего, Евгения, – сказала Катерина. – Иногда целые месяцы проходят, пока я вспомню, что совсем не думаю о маме. – Катерина отложила свое шитье и наклонилась вперед. Евгения увидела, что глаза у нее блестят. – Это странное чувство. В душе я понимаю, что у меня что-то отняли. Но уже не могу толком понять, что именно. Что-то? Кого-то? Даже не знаю, как сказать... – Она пыталась выразить словами то, что выразить было почти невозможно, и по лицу ее текли слезы. – А вот здесь... – Евгения протянула Катерине платок, и девушка вытерла глаза. – Здесь... Евгения, ты ведь понимаешь, о чем я?

– Да, конечно понимаю, любовь моя. Это наш дом, правда? Я чувствую

то же самое.

Катерина боролась с собой. Она ощущала себя и верной, и предательницей одновременно.

– Салоники теперь моя родина, – сказала она.

– Я чувствую то же, что и ты, – согласилась Евгения, – и никуда уезжать не собираюсь.

Письма Зении к дочери стали приходиться не так регулярно. Она уже не скрывала от Катерины, как тяжело ей живется с мужем, и откровенно писала, что самой Катерине лучше остаться в Салониках. В последнем письме она описывала сложный состав семьи, обитавшей в их доме. Теперь там поселились еще и мужья двух ее падчериц и их вдовы матери. Одна уборная на двенадцать человек. Живут они убого. Работает одна Зения.

В конце концов Катерина перестала бороться с угрызениями совести, и разлука ощущалась теперь по-другому. Вместе с новым чувством потери появилось и новое чувство дома. По устоявшейся привычке Катерина незаметно для себя поглаживала левую руку. Шрам за эти годы не исчез.

Несколько минут они сидели в тишине, потом Евгения прервала молчание:

– Уже трудно становится вспомнить те места, где мы когда-то жили. Люди до сих пор о них говорят, но для нас это уже прошлое, верно? А Салоники так хорошо нас приняли.

– Хорошо, – эхом отозвалась Катерина. – Я уже мало что помню, но, кажется, нас тут встретили с радостью?

Евгения запрокинула голову и рассмеялась. Катерина никогда не видела ее такой. Женщина раскачивалась от смеха взад-вперед, почти не в силах говорить.

– Да, моя хорошая, с радостью. Но не все, не забывай об этом. А многие и вовсе совсем с другим столкнулись. Но вот тут, на улице Ирины... Тут нас встретили хорошо! – Евгения улыбнулась при этом воспоминании.

– Я помню, как мы первый раз пришли в этот дом, – сказала Катерина. – На нас все таращились на улице.

– Да, но все они были такие добрые. Морено приносили нам еду и одежду. Я все не могла сообразить, откуда у них взялись платья для девочек, если у самих только сыновья. Теперь-то я думаю, должно быть, кирия Морено сшила их специально для вас. Раньше мне и в голову не приходило... А Павлина приносила мед и овощи. Ты же помнишь, как Ольга с Димитрием жили здесь, пока их дом перестраивали?

– Да, конечно.

– И я готова поспорить, Ольге Комнинос здесь гораздо счастливее

жилось, чем там сейчас.

– Я слышала, кирия Морено говорила, что она не выходила из дома с тех пор, как уехала с улицы Ирины. Но, наверное, она преувеличивает?

– Кто знает? – пожала плечами Евгения. – Но зачем-то же ей шьют все эти модные платья у вас в мастерской? Не для того же, чтобы в шкафу висели?

– Элиас говорит, кирия Комнинос их только дома и надевает. Когда к ним всякие важные люди приходят на обед.

– Никто не знает, что творится за закрытыми дверями в этих огромных домах, и мы никогда не узнаем.

Катерина улыбнулась на это. На тех улицах, где дома были маленькими, двери почти никогда не закрывались, а если и закрывались, их легко было открыть одним толчком. В особняке на улице Ники могло происходить что угодно. Об этом знали только сами хозяева. Катерина не забыла тот день, когда пришла туда, и представляла себе, как Ольга сидит одна в своей гостиной с высоким потолком, с искусной работы наличниками и карнизами. Весь их дом на улице Ирины свободно поместился бы в прихожей Комниносов.

Две женщины продолжали беседу в темноте. Катеринина вышивка осталась неоконченной, челнок станка не двигался.

Теперь они если и роняли слезы, так только от смеха.

Несколько раз за последние месяцы Катерина натыкалась на Димитрия, и у них вошло в привычку каждый раз заходить в один и тот же кондитерский магазинчик. Он был рядом с восхитительным галантерейным магазином, куда Катерина забегала каждую неделю с тех самых пор, как приехала в этот город. Они с кириосом Алатзасом, владельцем, остались крепкими друзьями, хотя ему уже не нужно было дарить ей ленточки для волос.

Пока стояла жара, Димитрий с Катериной пили лимонад прямо на улице, а когда дни стали короче, начали заходить внутрь, и Катерина выбирала пирожное в стеклянной витрине. Димитрий всегда заказывал ей еще одно, чтобы отнесла домой, и подшучивал над ее любовью к сладкому. Разговоры у них были странные.

– Не надо бы мне тебе об этом рассказывать, но... – так обычно начинались ее забавные истории.

В Салониках было много богатых женщин «в возрасте», как выразилась Катерина, которые приходили на примерку, чтобы сшить себе платье по последней моде. Приносили рисунки и фотографии, вырезанные

из журналов, и были уверены, что в таком наряде будут выглядеть точно так же, как дамы на картинках.

– Это забота кириоса Морено – объяснить так, чтобы не обидеть клиентку, что такой фасон может ей и не подойти. Это всегда бывает одинаково. Нужно найти его и сказать: «Кириос Морено, не могли бы вы поговорить с клиенткой по поводу Шанель?» Это у нас вроде шифра. И вот он идет, и тут уж ему нужен исключительнейший такт, чтобы примирить то, чего заказчица желает, с тем, что ей подходит. Говорит что-нибудь такое, с чем они не могут не согласиться, сочиняет, будто сейчас у нас как раз шьют уже штук двадцать похожих платьев или что такой покрой будет их старить – это обычно действует. А еще цвета. Скажем, в моду входит канареечно-желтый оттенок, а желтое ведь не всем идет. Многие в нем выглядят как ходячие мертвецы. Мне еще повезло, – вздохнула она, – редко приходится иметь дело с богатыми капризными дамами, но иногда нужно снимать мерки, и вот тут-то я вижу, чего от них можно ждать.

Димитрий понимающе улыбнулся. Многие из этих богатых капризных дам были, по всей вероятности, частыми гостями за обеденным столом у его родителей. Он зачарованно слушал, как мягко, но в то же время насмешливо описывает их Катерина.

Катерина и не догадывалась, что Димитрий специально ходит другой дорогой, чтобы встретиться с ней. Эти встречи никогда не были случайными. Раз или два, видя, что она идет домой с Элиасом, он не показывался им на глаза и сворачивал на другую улицу, оправдываясь перед собой, что не хочет мешать их, очевидно, личному разговору.

Катерина не меньше интересовалась новостями из того мира, в котором жил Димитрий. Она всегда жадно слушала его рассказы о музыкантах, игравших ребетику, и иногда какие-то имена оказывались ей знакомы. Димитрий стал реже ходить на такие концерты после гибели Василия и установления диктатуры, за которым последовали новые цензурные правила. Ребетикку объявили крамольной, и полиция регулярно устраивала рейды в тех местах, где ее играли.

Димитрий рассказывал о своих занятиях, о профессорах, которые ими руководили. Пытался вернуть что-нибудь забавное, но это было трудно. Медицина оказалась не самым подходящим предметом для юмора.

Разумеется, Катерина спрашивала об Ольге.

– Жаль, что она никуда не выходит, – говорил Димитрий. – Я не очень понимаю, что с ней, но, может быть, когда-нибудь пойму, если как следует изучу медицину.

– Может быть, мне скоро придется зайти к вам домой, – сказала однажды Катерина.

У Дмитрия загорелись глаза.

– Зачем?

Кириос Морено на днях сказал Катерине, что скоро поручит ей отделку нового платья для кирии Комнинос. Их старейшая швея наконец уволилась после шестидесяти лет работы, и кириос Морено видел в Катерине ее преемницу. Марта Перес была знаменита в городе. Швы у нее выходили совершенно невидимые, а вытачки и складки она на руках прошивала лучше, чем любая современная машинка. Ее одежда прилегалась к телу, как вторая кожа. Она была лучшей модистрой в мастерской, и Константинос с тех пор, как женился на Ольге, всегда настаивал на том, чтобы ее платья шила Марта. Но к семидесяти пяти годам усталость взяла свое.

Дмитрий иногда видел кирию Перес, когда она приходила к ним, но его привела в восторг мысль, что теперь вместо нее будет приходиться Катерина.

– Я уверен, мама будет рада тебя видеть, – сказал он с улыбкой.

Мир Катерины был царством шелка и атласа, пуговиц и бантов, вышивки и украшений – целая фабрика красоты. Это был мир цвета, а мир Дмитрия был черно-белым. Обстановка в университете всегда была строгой, а во времена диктатуры стала еще мрачнее. В воздухе ощущалась смесь страха и протеста с нотками горечи: студенты, принадлежавшие к разным партиям, учились вместе, что создавало атмосферу напряжения и соперничества. Левых активистов и коммунистов загнали в подполье, но это, кажется, только придало им сил.

В одном отношении жизнь семьи Морено на какое-то время стала лучше: диктатура подавила организации, подогревавшие антисемитские выходки в начале тридцатых годов, и евреи в городе вздохнули свободнее.

– Вот уже полгода, – сказал Саул Морено сыновьям, – как на стенах нам ничего не пишут. Ни единого слова.

Они шли в мастерскую, и Катерина, как обычно, с ними.

– Это хорошо, – откликнулся Элиас, – иначе рано или поздно пришлось бы сказать маме, зачем мы без конца покупаем краску.

Исаак, который всегда смотрел на мир менее оптимистично, чем младший брат, и своими глазами видел погром в квартале Кэмпбелл каких-нибудь пять лет назад, не удержался от замечания:

– Можно посадить одного, другого, но если есть люди, которые нас ненавидят, поверь мне, они найдут способ проявить свое отношение.

– Да ладно тебе, Исаак, не будь таким пессимистом! – сказал отец.

– Я сам хотел бы ошибаться, но это ведь идет не только от левых. Ты не видел вчерашнюю газету?

– Нет, не видел.

– В Германии были еврейские погромы. Страшные. И сделали это не левые.

– Да где она, та Германия? – фыркнул отец. – А? Мы-то с вами в Греции!

– Отец прав, Исаак! Что нам до Германии? Давай уж остановимся на Салониках!

– Можешь останавливаться на чем хочешь, – сказал Исаак, – но, по моему, это очень наивно с твоей стороны.

– Ну, не будем спорить из-за пустяков, – попытался унять сыновей Саул Морено. – Особенно при матери. Вы же знаете, она терпеть не может, когда вы ссоритесь.

– Неужели ты думаешь, что люди стали бы заказывать у нас все эти роскошные наряды, если бы они нас так ненавидели? – не отступал Элиас – ему хотелось посрамить теорию брата.

Пока сыновья спорили, Саул Морено открыл дверь в мастерскую. Да, нескольких клиентов он потерял, но все равно книги заказов у него исписаны сверху донизу. Людям в небывалом количестве требовались наряды для крещения и бар-мицвы, бальные платья, свадебные платья и костюмы – все новые и новые костюмы. Стоило моде измениться на сантиметр, касалось ли это ширины, длины отворотов или клеша на брюках, как в городе находилось множество мужчин, немедленно приходивших снимать новые мерки.

Жизнь в Салониках текла практически по-прежнему, богатые оставались богатыми, а бедные – бедными, разве что у последних теперь было меньше возможностей выразить недовольство. Люди почти не заметили, что в других странах Европы произошли резкие перемены. А потом, в сентябре 1939 года, Германия вторглась в Польшу, и началась новая мировая война.

В последующие месяцы Салоники не испытывали недостатка в новостях. Некоторые левые издания при диктатуре закрылись, но все равно оставались еще сотни газет, придерживавшихся самых разных взглядов на войну. Позиция диктатуры была двойственной. Она поддерживала политический союз с Францией, экономически зависела от Германии и находилась в дружеских отношениях с Муссолини,

что в целом составляло шаткий нейтралитет, который не мог сохраняться долго. Хорошие отношения между Грецией и Италией, которые поддерживал Метаксас, начали портиться, когда итальянские самолеты стали летать над греческой территорией.

Димитрий и его друзья без конца спорили по этому поводу.

– Чего он ждет, этот Метаксас? Он что, не видит, что мы вот-вот окажемся там же, где остальная Европа? Что за пассивность!

– А что он может сделать?

– Готовить страну к войне!

– Возможно, он знает, что делает, – предположил Димитрий. – Может быть, это какая-то сложная дипломатическая игра, которой мы просто не понимаем.

– Я в это не верю. По-моему, он просто боится воевать.

– Генерал – и боится воевать! При любых политических убеждениях, если ты не готов воевать за свою страну, ты просто трус.

Студентам до сих пор приходилось напрягаться только умственно, но не физически, и теперь они рвались в бой. Молодые люди понимали, что Греция представляет собой легкую добычу.

Рано утром 28 октября 1940 года итальянский посол передал послание Метаксасу в его резиденции в Афинах. Муссолини намеревался оккупировать некоторые стратегические позиции в Северной Греции.

Греческий премьер-министр ответил решительным «нет!».

Через несколько часов итальянцы вторглись в Албанию.

«Это война!» – кричали заголовки газет, цитируя Метаксаса. Всем было известно, что греческая армия не подготовлена и плохо вооружена.

– Я ухожу на фронт, – сказал Лефтерис, университетский товарищ Димитрия. – Учеба подождет. Если мы сейчас не вытурим итальянцев с нашей земли, может быть, скоро и университетов никаких не будет.

– Что? Ты, заклятый враг генерала, идешь на войну? – недоверчиво переспросил Димитрий.

– У нас ведь теперь общий враг, верно? Как еще мы можем его победить? Дождаться, пока Муссолини появится на пороге, и прихлопнуть его книжкой по голове?

Все засмеялись, хотя время для шуток было не самое подходящее.

– Вот что – если мы сейчас запишемся добровольцами, то сегодня же вечером сядем на поезд в Иоаннию и через сорок восемь часов вступим в бой. Хоть что-то сделаем, черт возьми.

Каковы бы ни были политические симпатии студентов, все они в душе были патриотами, готовы были защищать свою родину, хотя ни один



никогда не держал в руках винтовки, и на фронт рвались, подчиняясь не здравому смыслу, а душевному порыву.

– Я с тобой, – сказал Димитрий. Все, сидевшие за столом, присоединились к нему. – И Элиасу скажу, что мы решили.

После этого разговора события развивались очень быстро. По пути домой, где он собирался взять кое-какие вещи, Димитрий зашел в мастерскую Морено. Он никогда там не бывал, и кириос Морено удивился, увидев его.

– Можно мне поговорить с Элиасом? – решительным тоном спросил Димитрий, понимая, что его появление здесь посреди рабочего дня выглядит странно.

– Я позову его, подожди минутку, – сказал Саул Морено. – Он сейчас с клиентом. Казалось бы, людям должно быть не до новых костюмов, но дела идут по-прежнему. Может, все думают, что из-за войны цены поднимутся.

Хозяин вышел за дверь, что вела из приемной в цеха, и оставил ее приоткрытой. А за ней Димитрий увидел такое, что застыл как вкопанный. Девушка в длинном кремовом платье, покрытом блестками, сверкавшими, будто рыба чешуя, стояла на стуле, пока другая девушка подкалывала подол. Она стояла, вытянув руки вперед и в стороны, разведя широкие рукава, и походила не то на ангела, не то на дервиша, а когда повернулась, чтобы другой девушке было удобнее работать, Димитрий увидел, что это Катерина. Пряди волос спадали ей на лицо. Казалось, ее мысли где-то за тысячи миль отсюда.

Вдруг дверь распахнулась, и Катерина заметила его.

– Димитрий! – воскликнула она с удивлением и неприкрытой радостью. – Что ты здесь делаешь?

Он не успел ответить – вошел Саул Морено.

– Элиас сейчас придет, – сказал он.

А Катерина уже стояла перед Димитрием. Она казалась ему маленькой богиней.

– Тебе к лицу, – только и нашелся он, что сказать.

– У меня точь-в-точь такой размер, как у заказчицы, – сказала Катерина. – Так что ей даже не нужно приходить на примерку.

Димитрий не находил слов. Он всегда видел Катерину только в простой повседневной одежде, и это преображение было поразительным.

Тут появился Элиас:

– Димитрий! Что ты здесь делаешь? Отец сказал, что ты хотел меня видеть. Что случилось?

Димитрий быстро овладел собой:

– Вторжение...

– Да, знаю. Мы же говорили, что так и будет, помнишь?

– Ну так вот – некоторые из нас идут на фронт.

После секундного колебания Элиас ответил:

– Я тоже.

– Я знал, что ты так скажешь. Но уезжать надо прямо сейчас. Поезд уходит в Иоаннию сегодня в семь.

– Так скоро! Ну ладно. Скажу отцу, зайду домой за вещами, и встретимся на станции.

В голосе Элиаса звучала решимость. Димитрий знал, что к отходу поезда он будет в условленном месте.

Элиас пошел к отцу, а Димитрий отправился домой, чтобы сообщить эту новость матери. Константинос Комнинос узнает обо всем, когда сын будет уже далеко.

Ольга словно ждала этого. Когда Димитрий постучал в дверь гостиной, она стояла у французского окна, выходявшего на беспокойное в этот день море.

– Ты ведь пришел попрощаться, правда?

– Откуда ты знаешь?

– Я знаю своего сына, – ответила Ольга таким голосом, словно у нее сдавило горло. – А потому знаю, как он поступит.

Димитрий обнял мать:

– Надеюсь, ты согласна, что я поступаю правильно.

– Ты идешь защищать Грецию, Димитрий. Конечно, это правильно. Ты молодой, сильный. Кому же еще, если не тебе?

– Со мной идут друзья, мне не придется сражаться в одиночку, – шутливо сказал он.

Ольга попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло, и тогда она отвернулась и подошла к позолоченному бюро, стоявшему у стены. Открыла один из многочисленных ящичков и достала коричневый конверт.

– Тебе понадобится, – сказала она.

Димитрий без смущения взял конверт. По его толщине было понятно, что там несколько миллионов драхм. Ему и его друзьям деньги могли пригодиться, и он принял их без колебаний.

– Спасибо, мама.

Ни к чему было затягивать прощание, мучительное для обоих. Ольга стояла прямо, крепко сжав руки на груди.

Она стиснула их так, что почти не могла ни говорить, ни дышать.

Только так и можно было удержаться и не потерять самообладания. Ни при каких обстоятельствах она не могла позволить себе заплакать.

Мать устремила на сына умоляющие глаза и кивком дала понять, что отпускает его.

Он поцеловал ее в лоб и шагнул за дверь. Павлина сунула ему в руки какую-то еду, и, захватив кое-что из одежды и несколько книг, он выбежал из дома.

На следующий день вся мастерская Морено гудела, обсуждая отъезд Элиаса. Кириос Морено восхищался храбростью сына и объявил всем молодым рабочим, что поддержит их, если они примут такое же решение. На следующее утро двое из них не вышли на работу. Они последовали примеру Элиаса и ушли на фронт. Все гордились ими, зная, что вместе с ними уходят воевать тысячи еврейских мужчин.

Вскоре начали поступать вести с фронта. Армия страдала от чудовищной нехватки оружия и продовольствия, и погодные условия стали суровыми – глубокий снег и температура в горах ниже нуля. Большинству солдат не хватало опыта, но они его быстро приобретали.

Катерина думала о том, как кирия Комнинос приняла отъезд сына, и представляла, что она волнуется так же, как кирия Морено. По пути домой в этот вечер девушка зашла в маленькую церковь Святого Николая Орфаноса и поставила две свечи. Она смотрела на пламя и молилась одинаково долго и истово за здоровье Димитрия и Элиаса. Элиаса и Димитрия. Трудно было решить, в каком порядке называть их имена.

Дни шли за днями, все ждали вестей. В мастерской Морено все так же шили. Женщины всегда старались отвлечься шитьем, когда их мужчины уходили на войну, и никогда это не было так верно, как сейчас.

Катерина только что начала пришивать окантовку к одному из самых роскошных платьев за все время ее работы – свадебному, для девушки из богатой еврейской семьи, жившей в одном из самых больших особняков в Салониках, который затмевал своим великолепием даже дом Комниносов.

Белые складки, лежавшие у нее на коленях, вызвали в воображении вид суровых гор, где сейчас велись бои. В городе ходили слухи о том, в каких условиях солдатам приходится воевать, и все боялись за своих близких, которым морозы угрожали не меньше, чем итальянские пули. Катерина мысленно перенеслась за сотни километров от Салоников и видела застывшим взором одни лишь белые вихри снежной бури. Она поняла, что глаза ей застилают непролитые слезы.

Вдруг девушка почувствовала резкую боль. Задумавшись, она уколола

палец, глубоко воткнув в него иглу, и не успела понять, что случилось, как капля крови упала на ткань. На чистой, девственной белизне платья, лежащего у нее на коленях и волнами спадающего на пол, появилось красное пятнышко. Катерина пришла в ужас. Она быстро замотала палец ненужным лоскутом, и кровь остановилась, но с пятном уже ничего нельзя было поделать. Кирия Морено давно говорила ей, когда еще только начинала ее учить, – пятно крови никакими силами не ототрешь. Разве что прикрыть чем-нибудь. Вот поэтому-то все модистры приучались никогда не колоть пальцы. Теперь оставалось это пятно как-то искусно спрятать, и Катерина начала вышивать жемчужным бисером первый из сотни цветов, надеясь, что невеста останется довольна этим дополнительным украшением.

Продолжая работу, она вспоминала об этом «несчастье» и поняла наконец, почему не могла сосредоточиться на шитье. Она любила Элиаса как брата, но слезы навернулись ей на глаза от страха за Димитрия. Это Димитрия она видела в тех горах.

Потом с фронта стали приходить хорошие новости. Несмотря на плачевное состояние греческой армии, она начала теснить итальянцев. Через месяц взяли албанский город Корчу. Затем отогнали врага к морю, получив тем самым доступ к морским поставкам продовольствия, и продолжали продвигаться вглубь Албании.

Это была первая победа в борьбе против гитлеровской коалиции. Итальянцев выгнали с греческой земли. Солдаты стали героями, и то, как они выстояли в таких суровых условиях, вошло в легенды.

В особняке на улице Ники давали званый обед, а за обедом прозвучал тост. Наконец-то Константинос Комнинос чувствовал, что у него есть сын, которым можно гордиться.

– За нашу армию! За Метаксаса! – провозгласил он. – И за моего сына!

Ольга подняла бокал, но пить не стала.

– За моего сына, – тихо повторила она.

В мастерской Морено тоже царило радостное оживление.

– Как вы думаете, когда они вернутся домой? – спрашивала Катерина у кириоса Морено.

– Думаю, через несколько дней. Может быть, через несколько недель. Мы же не знаем точно, где они.

Морено получали письма от Элиаса и знали, что они с Димитрием сражаются в одной части.

Было, конечно, наивно думать, что они вернутся так скоро. Теперь солдаты должны были охранять границы, и Элиас сообщил в письме

родителям, что остается в армии. Катерина постаралась скрыть свое разочарование.

Если бы основные силы не были сосредоточены в Албании, может быть, и удалось бы сдержать новую атаку на греческую территорию. Она обрушилась на Грецию с ужасающей, непреодолимой мощью в начале апреля.

Прорвав границу со стороны Югославии, немецкие части ворвались в страну с такой скоростью, что греческие и британские войска не смогли их остановить.

Жители Салоников затаили дыхание. Даже весенняя листва словно замерла. На улицах было тихо – все ждали. Их город был первым крупным городом на пути немецких захватчиков.

– Может быть, надо что-то делать? – спрашивала мужа кирия Морено, в слезах заламывая руки, – так странно было знать, что приход немцев уже только вопрос времени.

– Вот уж не думаю, милая, – спокойно ответил Саул Морено. – Видимо, остается ждать, что будет дальше. У нас ведь у всех полно работы, верно?

– Да, пожалуй, за работой можно отвлечься от всего этого.

Кириос Морено был прав. Ничего сделать было нельзя.

После смерти Метаксаса три месяца назад, как ни ненавидели его многие, страна осталась без сильного лидера, способного принимать решения, хотя бы в армии. Сил на то, чтобы противостоять немецкому вторжению, не хватило.

9 апреля 1941 года в город вошли танки.

## Глава 18

В Салониках люди привыкли к звукам разных языков: греческий, арабский, ладино, французский, английский, болгарский, русский и сербский различали даже те, кто на них не говорил. Эти звуки лились по улицам, как музыка. Их необязательно было даже понимать – перемешанные между собой ноты вплетались в ткань города и, словно струны, создавали музыку, приятную для слуха.

Теперь же к ним добавился язык, для большинства почти незнакомый: немецкий. Как только в Салоники вошли оккупационные войска, жители слышали, как немцы отдают лающие приказы друг другу, а потом и им. Это усиливало тревожное ощущение.

– Думаю, нам нужно продолжать жить своей обычной жизнью, насколько это возможно, – сказала Катерине кирия Морено через несколько дней после начала оккупации.

Особого выбора и не было, а работы в мастерской навалилось столько, что тревожиться о происходящем за окнами, на улице, времени не оставалось. Морено, как и все их соплеменники в Салониках, кое-что слышали о том, каким гонениям нацисты подвергают еврейское население в Германии. Это беспокоило, но они не хотели пугаться раньше времени. До некоторой степени успокаивало то, что в городе их много. Почти пятьдесят тысяч, как-никак. Мастерская Морено была защитным коконом, внутри которого можно было спокойно жить дальше, будто ничего не изменилось, и как только люди склонялись над своей обычной работой и сосредотачивались на ней, они словно отгораживались от внешнего мира.

– Может, и Элиас скоро вернется? – решила спросить Катерина.

Она знала, что хозяева мастерской не спят ночами, думая о младшем сыне, и надеялась, что теперь, когда немцы вошли в Грецию, они с Димитрием вернутся домой. Что им еще остается делать? Немцы продвигаются к Афинам, война уже, можно сказать, проиграна, хотя многие и не желали этого признавать.

– Надеюсь, Катерина, – сказала Роза со слабой улыбкой. – Надеюсь.

А пока главным было не падать духом, и с этой недели, невзирая на явное неодобрение Эстер Морено, граммофон стали заводить, не дожидаясь конца рабочего дня. Красивый, мелодичный голос Софии Вембо день за днем звучал в отделочном цеху. Всем делалось веселее,

когда иголки работали в ритме песни.

В первую неделю оккупации жизнь текла как обычно, не считая того, что почти сразу же исчезли оливковое масло и сыр.

– Ничего, скоро снова появятся на полках, – оптимистично говорила Евгения, к нехватке продуктов ей было не привыкать.

Для Катерины первым грозным знаком перемен стал тот день, когда она пришла в мастерскую и увидела, что волшебного свадебного платья, которое она уже почти дошила, нет на манекене. Его кто-то снял.

– А где же?.. – начала было девушка с ноткой недовольства в голосе, подходя к обнаженному манекену.

Тут она повернулась к кирии Морено и увидела, что та плачет.

– Я пока убрала его, – ответила хозяйка, вытирая лицо платком. – Свадьбу отложили.

Катерина онемела. Она трудилась над этим платьем уже четыре месяца и знала, что его нужно закончить к концу мая.

– Но почему? Что случилось?

У Катерины пересохло во рту. Должно быть, с бедной невестой произошло что-то ужасное.

Кирия Морено заломила руки. Еще несколько работниц вошли в цех, и все спрашивали об одном и том же:

– А где же платье?

Свадебное платье стало центром внимания для всех. Даже для мастерской Морено оно превосходило все мыслимые пределы мастерства и роскоши. Невеста, Аллегра Леви, неделю назад приходившая на примерку, хотела походить на европейскую принцессу, и швеи сумели выполнить ее желание.

Кирия Морено начала рассказывать. Она говорила тихо, словно не хотела, чтобы ее услышали в соседней комнате:

– Кириоса Леви арестовали.

На нее обрушился шквал вопросов:

– Когда?

– За что?

– И не его одного. Арестовали многих членов совета и руководителей общины. Без всяких причин.

В комнату вошел Исаак.

– Причина есть, мама, и мы все ее знаем, – прямо сказал он. – Все дело в том, что они евреи.

В комнате наступила тишина. Призрак антисемитизма вернулся, и все надежды на то, что можно будет жить обычной жизнью, рухнули.

Не прошло и месяца, как были предприняты и другие антиеврейские шаги. Евреев обязали сдать радиоприемники. Кириос Морено мало интересовался музыкой, которую играли по радио, но новости слушал всегда.

– А давайте возьмем да и не отдадим, – сказал Исаак. – Откуда они узнают?

– Слишком рискованно, – возразил отец.

– Ну, про граммофоны-то они ничего не сказали? – заметила кирия Морено. – Так я его спрячу. Уж музыку-то они у нас не отнимут.

Через три дня им нанесли первый визит немецкие офицеры. Их сопровождал молодой грек, служивший переводчиком.

Морено сдали радиоприемник, как и было приказано, и теперь не знали, что еще немцам от них нужно.

– Они хотят обследовать помещение, – пояснил переводчик. – И имейте в виду, у многих евреев предприятия уже отобрали.

Молодой человек знал, что немцы не понимают ни слова по-гречески, и мог говорить с кириосом Морено свободно, ничего не опасаясь.

– Не думаю, что они пришли за этим. Будьте осторожны, и все обойдется, – прибавил он.

Офицеры захотели осмотреть все цеха. Портные и швеи механически прекращали работу и вставали, когда они входили. Не из почтения – просто так казалось безопаснее.

Младший из двух офицеров провел рукой по рулонам шерсти на складе. Кажется, его особенно заинтересовала тонкая шерсть, и он задержался, рассматривая ее. Наконец вытащил рулон и тяжело швырнул на стол для резки.

– Dieser! – рявкнул он. – Вот эту!

– Им нужны костюмы, – сказал переводчик Саулу Морено. – С вашим ремеслом вам нечего опасаться. Им самим невыгодно вышвыривать вас отсюда. Дело не только в тканях, их и в другом месте можно достать, дело в мастерстве. До них уже дошла ваша репутация. Повезло вам!

– Ну что ж, тогда нужно снять мерки.

Саул Морено позвал своего лучшего мужского портного и тщательно, почти подбострастно начал измерять.

Переводчик свободно переходил с немецкого на греческий, с очевидной почтительностью и официальностью обращаясь к офицерам.

Таким образом, между кириосом Морено и старшим из офицеров состоялось нечто вроде беседы.

– Я вам расскажу, откуда мы про вас узнали... – начал офицер.



Он с явным злорадством начал описывать реквизированный дом, в котором они поселились. – Это где-то неподалеку от Белой башни. Превосходное местечко, и люди культурные, самый радушный прием нам оказали. У них две дочери, великолепный «Стейнвей», и повар в доме замечательный.

В Салониках было не так много людей, у которых имелось пианино фирмы «Стейнвей». Исаак, не отходивший от отца, переглянулся с ним.

Тут же офицер подтвердил то, о чем они и сами уже догадались.

– Я сразу отметил платье кирии Леви. С виду прямо как от лучших портных Берлина, а то и Парижа! Она устроила нам маленькую экскурсию по своему гардеробу – и надо же! Рядами висят платья одно лучше другого – и на всех ваши ярлыки! Я надеюсь через пару месяцев привезти жену и знаю, что сюда она нанесет визит в первую очередь. Вас можно поздравить!

Младший офицер подхватил:

– А потом мы увидели костюмы кириоса Леви. Жаль только, все брюки оказались нам до середины икры. Не был бы он таким коротышкой, можно было бы сюда и не ходить!

Он добавил еще что-то, что молодой грек не стал переводить, и оба офицера расхохотались.

При мысли о том, как эти двое роются в шкафах и гардеробной одного из его лучших клиентов, пока он сидит в тюрьме, портному стало жутко и противно.

Потом переводчик обратился к кириосу Морено:

– Насколько я понял, они собираются рекомендовать эту мастерскую всем своим сослуживцам. А пока вы на них работаете, им ни к чему вас закрывать. Настоящую цену они не заплатят, но опасаться вам, думаю, особенно нечего. Они все щеголи, эти офицеры, так что оденьте их как можно шикарнее.

Как только они ушли, кириос Морено собрал всех своих работников. Немецких офицеров все видели.

– У нас появились новые клиенты, – сказал он, – и мы должны постараться для них наилучшим образом.

Все разошлись по своим рабочим местам, однако в воздухе ощущалось напряжение. В мастерской работали только евреи, за исключением Катерины. В отделочном цеху кто-то поставил пластинку ребетики, убавив звук.

По ночам в городе стояла теперь непривычная тишина, однако днем тут и там кипела жизнь. Десятки тысяч беженцев стали стекаться из Болгарии, еще увеличив и без того огромные очереди за бесплатной едой. Пшеницу,

сыр, орехи, масло, оливки, фрукты вывозили из страны немцы, так что нехватка продуктов ощущалась все сильнее, и очереди к бесплатным кухням все росли. Товары, пропавшие с магазинных полок, так и не вернулись, и даже самое необходимое можно было достать только на черном рынке.

Вечером после визита в мастерскую немецких офицеров Катерина шла домой вместе с кирией Морено. Проходя мимо кондитерской неподалеку от улицы Ирины, она заметила на витрине новое объявление. Может быть, оно висело там уже не первый день, кто знает, может быть, девушка обратила внимание просто потому, что больше в витрине смотреть было почти не на что. Теперь, когда доставать ингредиенты с каждым днем было все труднее, на прилавках уже не было такого разнообразия сладостей.

«ЕВРЕЯМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН».

Так и было написано – черным по белому, жирными, беззастенчивыми буквами, с возмутительной холодной бесцеремонностью. Катерина едва удержалась, чтобы не ворваться туда и не устроить скандал.

Кирия Морено смотрела в другую сторону и ничего не заметила. Девушка взяла ее под руку, и они вдвоем пошли дальше, к старому городу. Обсуждали новость о том, что Афины пали и флаг со свастикой уже развевается над Акрополем. Это был знак окончательного поражения.

На улицах было тихо. Люди теперь старались как можно реже выходить из дома, даже пока не стемнело, и звуки шагов по мостовой на пустой улице казались пугающе гулкими.

– Что бы ни случилось с нашей страной, дорогая, – сказала кирия Морено, подходя к улице Ирины, – мы-то всегда будем держаться вместе.

Два офицера вскоре снова пришли в мастерскую на примерку. Остались очень довольны результатом и заказали еще по четыре костюма. После этого потянулся нескончаемый поток немецких клиентов. На каждый отмененный заказ от греков приходился один новый от немцев. Офицеры то и дело листали модные журналы и рассматривали картинки на стенах. Как только жены и подруги прислали им свои мерки, у закройщиков прибавилось работы. В Германии тканей такого качества было не найти, и офицеры посылали платья домой, как туристы посылают открытки. Особенно сильное впечатление на них произвел шелк от Комниноса, и хотя они платили меньше обычной цены, расценки так или иначе оставались приемлемыми. Во всяком случае, голодать никому в этой мастерской не приходилось.

Модистры не вкладывали в эту работу ни страсти, ни воображения. Не старались изобрести что-нибудь новенькое, поинтереснее, просто

вышивали что-нибудь самыми простыми швами, делали стандартные рюши – никакой там прихотливой вышивки бисером или плетеных украшений. Тем не менее результаты неизменно приводили немцев в восторг, а женщины радовались тому, что утаили от них свое настоящее мастерство. Трудиться вполсилы было непривычно. От такой работы оставалось ощущение пустоты, зато она давала кусок хлеба.

Теперь они садились поближе к граммофону и делали звук тише, чтобы за дверью было не слышно. Если в мастерскую входил немец, кто-нибудь громко стучал в дверь, и граммофон тут же закатывали в кладовку и прикрывали одеялом.

В городе, где люди уже начали продавать все подряд, чтобы купить еды, работники «Морено и сыновья» оказались в привилегированном меньшинстве. Если за картину маслом или ковер можно было выручить цену буханки хлеба, с ними расставались без сожаления. Все это теперь ничего не стоило.

И все же были в Салониках вещи, которые остались бесценными. После 1917 года, когда почти весь город выгорел до основания, из реликвий в синагогах уцелело совсем немного. Все библиотеки и архивы погибли в огне; и древние Торы, и сочинения раввинов, которые, как говорили, привезли из Испании в пятнадцатом веке, тоже были, за редкими исключениями, утрачены.

В конце июня, приблизительно через месяц после ареста главного городского раввина, в Салониках объявились двое хорошо одетых людей, которые нанесли визит двум старейшинам еврейской общины. Один из этих людей умел кое-как объясняться по-гречески, и можно было догадаться, что он изучал древнегреческий в университете. Оба вежливо представились уполномоченными Комиссии по еврейским делам, которую, по их словам, учредили для изучения еврейства. Глава комиссии Альфред Розенберг, человек весьма культурный и образованный, поручил им собрать все важные документы и рукописи и передать в главное управление комиссии во Франкфурт.

Все это звучало правдоподобно и научно, и даже фамилия у человека, учредившего комиссию, была еврейская. Раввины покивали, поулыбались, изобразили живой интерес и полное одобрение такого плана. В изложении людей из Франкфурта эта идея определенно выглядела убедительно.

– И когда же вы приступите? – заинтересованно спросил один из старейшин.

– Завтра, на рассвете, – ответил один из мужчин, с прилизанными

волосами. Его тонкие губы изогнулись в улыбке, однако глаза остались холодными. – На следующей неделе мы планируем закончить опись, и после этого все должно быть готово к отправке. Это, разумеется, требует безусловного содействия еврейской общины. И мы полагаемся на вас.

– Разумеется, – хором сказали оба руководителя.

– Вы будете здесь завтра утром?

Оба кивнули. Они стояли в синагоге, где нашли приют некоторые из тех немногочисленных реликвий, что сохранились во время пожара двадцать с лишним лет назад. Говорил по большей части один из немцев, его коллега в это время ходил по синагоге и внимательно ее осматривал. Он остановился возле Ковчега Святыни – высокого шкафчика, где хранились свитки Священного Писания.

– Свитки Торы, полагаю, находятся здесь, – сказал он. – А нельзя ли взглянуть? – Он почти чувственным алчным жестом провел пальцами по занавесу, висевшему перед Ковчегом.

– Ключ не здесь, – объяснил один из раввинов. – Но завтра я его принесу.

Как только немцы ушли, раввины заговорили торопливыми приглушенными голосами. Вскоре они вышли из синагоги и через пятнадцать минут были уже на улице Ирины. Было семь часов вечера.

Едва заведя в дверях бородастые лица, искаженные тревогой, Саул Морено ощутил прилив ужаса, который не покидал его с того дня, как в Салоники вошли танки.

– Нам нужно кое-что спрятать. Не все. Но хотя бы кое-что, – задыхаясь, объяснил один из раввинов.

– Иначе это, разумеется, вызовет подозрения, – добавил второй.

Оба сели, а Саул Морено зашагал по комнате взад-вперед.

– Но что я могу сделать? Вы же не хотите, чтобы я прятал это в мастерской?..

– Не совсем...

– Туда ведь немцы ходят чуть ли не каждый день. Я не могу подвергать опасности своих работников.

– Нет, об этом мы вас не просим. Нам бы это и в голову не пришло.

– И разумеется, мы не можем спрятать все свитки. Это немислимо. Но нам нужна ваша помощь, чтобы спрятать одну рукопись и фрагмент одного из свитков. И занавес. Нужно попытаться, – взмолился младший из раввинов. – И только вы можете нам помочь.

Саул Морено слушал. Ему очень хотелось помочь. Долг перед своей синагогой он считал самым священным, но очень страшно было

подставить под удар жену, сыновей и всех хороших людей, что у него работали.

В руках у раввина был потрепанный кожаный чемоданчик.

– Давайте я вам покажу, что мы принесли. А потом скажете, такая ли уж это безумная идея.

Кирия Морено уже стояла за спиной мужа, и в дрожащем свете свечи они оба смотрели, как раввин открывает чемодан и начинает доставать оттуда вещи. Он выложил их на стол по одной, а муж и жена Морено стояли, раскрыв рты.

– Вот это – фрагмент свитка Торы, который считается древнейшим из сохранившихся в Салониках.

Затем он развернул знакомый огромный рулон бархата.

Это был парохет – занавес, который, как говорили, висел перед Ковчегом сотни лет и, возможно, не был новым уже тогда, когда его привезли из Испании. Вышивка на нем потускнела, но нить была из чистого золота.

– Сколько раз я сидел в синагоге и разглядывал его, – сказал Саул. – Так странно видеть его у себя дома.

– Взгляните на вышивку, Саул. Так теперь никто не вышьет. Это мастерство из другой эпохи.

Роза благоговейно и восхищенно провела пальцами по рельефному узору.

– А это раввинское учение, рукопись, привезенная из Испании. Теперь ее трудно расшифровать. Сохранилась всего одна страница. Ладино – и посмотрите, с какой любовью выписано.

Наконец он вынул из чемодана талит. Это была тонкая и необычайно хрупкая вещь – полосатый шелк, насчитывавший, вероятно, уже лет пятьсот, с непременными кистями.

– Мы думаем, что он мог принадлежать кому-то из тех, кто приплыл сюда на первом корабле из Испании, – сказал раввин.

Все молчали. Саул Морено разглядывал сокровища и раздумывал, куда же их можно спрятать. Наконец кирия Морено нарушила молчание:

– Саул, мы должны помочь. Думаю, мы сможем.

– Как?

– Будем всю ночь шить.

Саул взглянул на нее с некоторым удивлением. Роза сразу догадалась, что делать, а вот ее муж соображал не так быстро.

– Я знаю верный способ, – сказала она. – На бумаге, правда, останутся следы от иглы, но тут уж ничего не поделаешь.

– Ваша жена права. Придется смириться с незначительными повреждениями. Иначе потеряем все.

– Поэтому мы к вам и пришли.

– Да, и вот еще что. Я и забыл.

Старший из раввинов развернул указку – *яд*, которой водили по страницам Торы, чтобы не пачкать пальцами священные письмена. На конце серебряной указки была крошечная, искусно сделанная рука с вытянутым указательным пальцем.

– Она не такая древняя, как остальные вещи. Но нельзя допустить, чтобы она им досталась.

– Тут мы вряд ли можем что-то сделать, – сказала кирия Морено. – Думаю, лучшее место для нее – у вас под полом...

Против обыкновения, кириос Морено на этот раз уступил жене главенство. У нее явно был какой-то план.

– И чемодан можете забрать, – сказала она. – Когда мы закончим, прятать будет нечего. Все будет на виду. – Она повернулась к мужу. – Позови Исаака, пожалуйста.

Старший сын был наверху, но тут же вышел.

– Исаак, я хочу, чтобы ты сбежал к соседям. Приведи сюда Катерину и Евгению. А потом быстренько пробежишься по городу. Мне нужны Аллегра, Марта, Меркада, Сара, Ханна, Белла и Эстер. Скажи им всем, чтобы шли сюда. Скажи, срочное дело. Саул, сходишь в мастерскую? Нам кое-что понадобится.

Быстрее, чем говорила, Роза нацарапала список необходимых вещей: столько-то ярдов шелка и набивки, два десятка оттенков шерстяных ниток, столько-то тесьмы.

Старейшины уже торопливо шли прочь по улице, когда на пороге появились Катерина с Евгенией.

– Что случилось? – встревоженно спросила Катерина, разглядывая странные предметы. – Что это за люди приходили?

Роза все объяснила. Через пятнадцать минут пришли и остальные женщины, и вскоре все уже знали, что делать. Роза распределила задания и сделала наброски. Она уже лет пятьдесят своей жизни провела за вышиванием разных вещей для синагоги, и теперь у нее не было недостатка в идеях для узоров и украшений.

Восемь женщин принялись шить одеяло, в которое предстояло спрятать парохет. За одну ночь им нужно было сшить вещь, на которую обычно уходит несколько месяцев. В центре был расположен сложный узор из гранатов, а по краям узора – кайма, вдоль которой каждая должна была

вышить свое имя на ладино. Гранат был не только популярным узором для вышивки, символизировавшим плодородие и изобилие, – это был еще и тайный знак. На ладино он назывался «граната», и Роза таким образом хотела дать понять всем посвященным, что то, что находится под этим темно-красным атласом, привезли когда-то из Испании, и не откуда-нибудь, а из Гранады.

Потом одеяло положат на кровать Морено, и там оно будет лежать, поверх того, которое кирия Морено вышивала всю жизнь с самой свадьбы, и можно будет украшать его дальше. Четыре женщины вышивали центральный узор, идея которого была навеяна словами из Книги Исхода: «по подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета... позвонки золотые между ними кругом». Еще четверо вышивали кайму, каждая по своей стороне. Срочность этой работы, казалось, вдохновляла их, и пальцы трудились быстро и аккуратно.

Внизу Эстер тщательно готовила маскировку для ветхого талита. Шелк у него был такой тонкий, что тыкать в него иголкой было никак нельзя – расползется. Эстер спрятала его между двумя кусками стеганой ткани и осторожно сшила их по периметру. По краям вышила будто бы абстрактный узор, который, если присмотреться, складывался в несколько известных ей слов на иврите, намекавших на то, что спрятано внутри. Завитки и кольца узора служили защитой – кому же придет в голову распарывать такую искусную вышивку.

– А вот с этим мы сделаем кое-что другое, Катерина, – сказала кирия Морено. – Такое простое, что никто и внимания не обратит.

Они стояли у стола и смотрели на потрепанные клочки пергамента.

– Вот о чем я тебя попрошу, милая моя: представь, что ты вернулась в детство. Надеюсь, это будет нетрудно, тут главное – правильно уловить стиль. Вышей мне такую картинку, чтобы при взгляде на нее сразу приходило на ум слово «утро» – ну, знаешь, что-нибудь в таком роде – восходящее солнце и птицу, или, там, бабочку, или еще что-нибудь крылатое на фоне неба. А потом еще одну – «ночь».

– С луной и звездами?

– Да! Вот именно. Только не так, будто их какая-нибудь криворукая девочка вышивала, – добавила она с улыбкой. – Мне же их как-никак на стены вешать!

Катерине уже случалось делать почти такие же картинки много лет назад, когда мама учила ее вышиванию, и это время сразу же вспомнилось с необычайной живостью.

Ее «утро» было вышито крупными петельными стежками, блестящей

желтой ниткой, а «ночь» стала темно-синей, как ночное небо. Катерину радовала эта простая работа, и она с улыбкой глядела на то, что получилось. Никто ничего не заподозрит – такое можно увидеть на стене в любом греческом доме. Даже если выдерут ткань из рамы – драгоценные страницы будут скрыты за ситцевой подкладкой. Многие так делают, чтобы прикрыть путаницу ниток с изнаночной стороны.

В этом маленьком домике собралась целая дюжина людей, однако в нем царила необычайная тишина. Все были предельно сосредоточены, тайная работа не терпела отлагательства. Они спасали свое сокровище, то, что связывало их с собственным прошлым.

Время от времени Катерина бросала взгляд на Эстер Морено. В первый раз за все то время, что Катерина знала ее, у пожилой женщины был довольный вид.

Всю ночь они шили без отдыха. К утру нужно было все закончить.

Как требовала традиция, в уголках Катерина вышила даты. На первой картинке – «1942». А на второй перепутала цифры. «1492» – выписала она стежками. Это был год изгнания сефардов из Испании. Любой, кто знал историю салоникских евреев, сразу обратил бы внимание на эту намеренную ошибку.

Неподалеку двое еврейских старейшин ждали в синагоге. Ровно в семь тридцать вошли два представителя комиссии. За дверью стояли два носильщика; облокотившись на свои тележки, они курили и болтали. Их наняли, чтобы отвезти имущество синагоги на железнодорожный вокзал.

Люди из комиссии быстро тараторили по-немецки, но смысл слов одного из них понять было нетрудно. Он заметил, что занавес перед Ковчегом Святыни исчез, и стал кричать и размахивать руками. Один из старейшин поскорее принес огромный ключ, отпер тонкую дверцу, и немец, увидев, что там, тут же забыл о занавесе. Чуть ли не слюну пустил от предвкушения. Протянул руку, вытащил один из свитков, завернутый в *маппу* – старинную бархатную накидку, и прижал его к себе нежно, как младенца. Затем положил на стол рядом и осторожно развернул. Поводил кончиками пальцев по строчкам, словно они были написаны шрифтом Брайля, и снова завернул свиток в маппу. Второй немец стал выносить вещи за дверь, где ждали носильщики.

Старейшины, которые всю ночь молились, готовясь к этому тихому, но от того не менее чудовищному грабежу, молча стояли рядом. Они не проявляли никаких эмоций. Казалось, в них втыкают нож раз



за разом, тысячу раз подряд, а они не в состоянии защититься.

Очистив Ковчег, немцы забрали еще несколько десятков книг. Наконец завернули менору в прихотливо расшитую скатерть, снятую со стола, и потащили на улицу, где уложили поверх прочих вещей в одну из тележек. Все было сделано на удивление аккуратно. Один из немцев методично и демонстративно вносил в список все, что они забрали. Вероятно, это делалось, чтобы создать впечатление, что вещи когда-нибудь вернут. Только этот фарс и помог старейшинам удержаться от малодушных слез.

Немцы сделали свое дело. Синагога была ограблена до нитки.

Затем наступил неловкий момент: главный из двух немцев протянул евреям руку, словно для пожатия. Оба инстинктивно отшатнулись.

– Danke schön und guten Morgen<sup>[6]</sup>, – сказал он.

С этими словами немцы двинулись по улице, и тележки с грохотом покатали за ними следом.

К этому времени к синагоге подошли еще несколько десятков прихожан и встали рядом с двумя старейшинами, глядя в спины удаляющимся. Как только немцы скрылись из вида, они вошли в синагогу и начали молиться.

После того как комиссия закончила свою работу, отняв у евреев их святыни и архивы, оккупанты оставили их более или менее в покое. Они уже прибрали к рукам самые богатые еврейские дома и закрыли многие предприятия.

Антисемитизм, уже несколько лет таившийся в подполье, стал нормой.

Одно в Салониках было общим для евреев и христиан: недоедание. С приходом холодов нехватка продуктов стала ощущаться сильнее. Немцы вывозили из страны все, что могли, чтобы накормить своих соотечественников, а ввозить ничего было нельзя.

В эту зиму люди дрались на улицах из-за объедков и перерывали кучи мусора в надежде, что кто-нибудь выбросил корку хлеба. Босые дети с изможденными родителями стояли в очередях за бесплатным супом, в котором не было практически ничего питательного. Красный Крест делал что мог, но его усилия почти ни к чему не приводили. Люди в Салониках начали умирать.

Каждый день Катерина видела какие-нибудь новые ужасы. Однажды, проходя по улице Эгнатия, главному городскому бульвару, она заметила две согбенные фигуры с раздутыми животами и торчащими ребрами. Одно это уже было необычным зрелищем, а тут еще ввалившиеся глаза

и словно бы не по росту большие головы – трудно было сказать, дети это или старики. Кажется, что-то среднее: страшная смесь младенца и восьмидесятилетнего старца.

Уже на следующий день Катерина увидела, что кто-то лежит на тротуаре. Она почти не обратила на это внимания: многие беженцы спали прямо на улицах, им ведь больше некуда было идти. Выйдя через несколько часов из мастерской, она поняла, что ошиблась. Тело грузили на тележку. Короткий разговор со стоявшей рядом женщиной подтвердил то, чего она боялась. Человека, которого она приняла за спящего, везли хоронить. Он умер от голода. Катерина несколько раз перекрестилась, сгорая от стыда.

Все знали, что в Афинах дела обстоят еще в сто раз хуже. Катерина надеялась, что ее матери удастся выжить. От нее уже давно не было вестей.

Все, кто работал в «Морено и сыновья», отдавали себе отчет в том, что им невероятно повезло. Немцы по-прежнему весьма регулярно посещали мастерскую, и полученная прибыль давала ее работникам возможность покупать продукты на черном рынке. Это было единственным способом выжить и означало, что сыты будут не только они, но и их соседи.

Ткани у Саула Морено почти закончились, и его клиенты-немцы стали заходить в торговый зал Комниноса и выбирать из его широкого ассортимента. Дефицит, от которого страдали почти все предприятия в городе, казалось, никак не отразился на поставках Константиноса Комниноса. Его шелковое производство работало по-прежнему, а ассортимент шерсти и льна лишь немного сократился. После того как в мастерской Морено снимали мерки, к Комниносу посылали курьера, чтобы тот выбрал ткань нужного качества.

– Ну что ж, шитье хотя бы отвлекает нас от тревоги за наших мужчин, – сказала как-то одна из швей, ни к кому в отдельности не обращаясь.

– Говори за себя, – отозвалась другая. – Я как втыкаю иголку в это платье, так каждый раз представляю, что тычу ножом в того немца, который его заказал.

– Или в его толстуху-женушку, которая будет это носить, – добавила вторая.

Катерина не участвовала в разговоре. Она целые часы проводила в задумчивости, гадая, где сейчас Димитрий. Она знала, что кирия Морено в эти долгие часы за работой думает о младшем сыне. Обе женщины часто обсуждали между собой, где Элиас с Димитрием сейчас могут находиться, и надеялись, что они все еще воюют вместе. Вестей от них не было.

Катерину несколько раз посылали к Ольге с платьями для примерки, но и та, судя по всему, уже много-много месяцев не получала писем.

Время в мастерской теперь тянулось медленно. Однажды немец-клиент пришел и застал их подпевающим ребетике.

– Крамола! – заорал он.

Перевод тут не требовался. Одну за другой он схватил все их любимые пластинки, разломал о колено и с презрением швырнул на пол. Осколки Безоса, Эшкенази, Папазогло, Вамваракиса и многих других валялись на полу – потом перепуганные женщины подобрали их. В один из своих следующих приходов тот же немец принес им пластинку Вагнера «Lieder». Этот «подарок», который он вручил со всеми церемониями, убрали подальше в шкаф. Все были согласны, что тишина не в пример лучше.

Помимо шитья костюмов для немецких офицеров и вечерних платьев для их жен, им нашлась и другая работа. Даже теперь, когда ввели талоны на продовольствие, мало кто мог позволить себе купить ткань на новую одежду, и подгонка или перелицовка того, что давно висело в шкафах, превратилась в целую индустрию. Из одежды матерей выходили детские платьица, а кроме того, и мужчинам, и женщинам, которые теряли в весе по десять-пятнадцать килограммов, приходилось ушивать в поясе или переделывать вытачки. Многие дети ходили в лохмотьях, и каждый вечер для них подбирали и перешивали одежду, пожертвованную состоятельными греками.

Пока пальцы Катерины снова и снова втыкали иголку в ткань, то в старую, то в новую, зима сменилась весной. Цвели апельсиновые деревья, наполняя улицы густым ароматом, не замечая ни грязи, ни смерти под своими кронами. Катерина смотрела на белые цветы и думала, что Димитрию теперь, по крайней мере, хоть в снегу замерзать не приходится.

Они с Розой каждый день гадали, где-то сейчас они с Элиасом, а когда за весной пришло лето и многие солдаты вернулись домой, решили, что Элиас и Димитрий, должно быть, присоединились к движению Сопротивления. Хотя греческая армия уже не сражалась против немцев, нашлось немало храбрецов, которые продолжали устраивать диверсии и саботаж.

## Глава 19

Катерина с Розой оказались правы. Димитрий и Элиас были среди тех тысяч солдат, что присоединились к Сопротивлению сразу после оккупации, и теперь находились в горах в Центральной Греции, без крова и почти без еды. Они сумели выстоять в борьбе с самым беспощадным врагом – холодом, но после месяцев, проведенных практически без сна, оба отчаянно мечтали хотя бы на одну ночь оказаться в своих постелях.

Когда немцы вошли в Грецию, офицерам был отдан приказ сдаться, но многие не потеряли решимости бороться с врагом и вступили в основанный при поддержке коммунистов Национально-освободительный фронт (ЭАМ). Это был единственный выход для тех, кто хотел сражаться с оккупантами.

Король Георг со своим правительством и частью армии перебрался на Ближний Восток, с немцами был подписан договор о прекращении военных действий, а в Афинах учреждено коллаборационистское правительство. Крупнейшие политические партии отказались поддержать Сопротивление, что, по мнению Элиаса, Димитрия и их товарищей-партизан, было равносильно согласию отдать страну Германии.

Сперва ЭАМ занимался главным образом помощью пострадавшим – добывал еду для голодающего населения городов и деревень, и Димитрий с Элиасом в самом начале оккупации участвовали в нападениях на склады продовольствия, которые немцы захватили, чтобы кормить своих солдат.

Эти рейды бывали иногда кровавыми, но поскольку проводились ради того, чтобы спасти соотечественников от голода, партизаны считали эту жестокость оправданной.

– По крайней мере, мы хоть что-то делаем, – говорил Димитрий. – Пусть не сражаемся врукопашную, но это ведь тоже война, верно?

– Лично я предпочел бы воевать с винтовкой в руках, – возражал Элиас. – По-моему, мы должны делать все, чтобы прогнать этих гадов с нашей земли. Воровать у них еду – мало. Это все равно что ничего.

– Ты прав, – неохотно признавал Димитрий. – Если так пойдет, мы раньше от голода загнемся, чем от пули.

– Так почему не сражаемся?

– Зато людям помогаем. Хватит пока и этого.

Димитрий был рассудительнее и сдержаннее друга.

– ЭАМ к тому же делает все возможное, чтобы не закрылись больницы и аптеки. Ты же сам знаешь.

– Да, слышал, – отвечал Элиас. – Ты-то, с твоим медицинским образованием, можешь сделать хоть что-то полезное. А мне мало того, что я делаю.

– Невозможно воевать, когда люди так голодают. Представляешь, что это будет за сражение, если у половины солдат даже ружье поднять сил не хватает? Сам подумай.

– Ходят слухи, что скоро начнется настоящая партизанская война. Если так, я пойду туда. Активное сопротивление! Только так. И Василий тоже пошел бы! Драться надо!

Эти разговоры часто повторялись. Димитрий, как член ЭАМ, придерживался тех же коммунистических взглядов, что и его друг, но в нынешнем положении не видел способа освободить Грецию от немцев. Ситуация в остальной Европе тоже складывалась не в пользу союзников. Франция и Бельгия были оккупированы, и ходили слухи, что следующей будет Британия.

Новости об организованной партизанской войне, которые услышал Элиас, оказались правдивыми. В феврале начало действовать вооруженное движение Сопротивления, входившее в ЭАМ, – Национальная народная освободительная армия. Ее еще называли ЭЛАС.

– Вступаем, – сказал Элиас.

Димитрий молчал.

– Димитрий! Что с тобой?! – воскликнул Элиас. – Ты что, забыл греческих героев? Разве они не твои предки?

Димитрий поднял взгляд на друга и устыдился. Многие до сих пор не считали евреев-сефардов истинными греками, но вот вам Элиас, готовый без колебаний рисковать жизнью за свою родину. Как же он, Димитрий, может отстать? Он должен сражаться. Ему казалось, что только так можно остаться настоящим греком. Элиас прав. Бросить оружие, сдаться на милость оккупантов – гордому народу это не к лицу.

– Я с тобой, Элиас, – сказал он наконец с полной убежденностью.

Поначалу им сопутствовала удача – они напали на жандармерии и итальянские посты в неприступных горах. Им казалось, что они идут к цели и медленно, но верно снова становятся хозяевами в собственной стране. Пускай правительство бездействует, зато ЭЛАС показала, на что она способна.

Больше полутора лет прошло с тех пор, как друзья покинули Салоники, и теперь получили отпуск на несколько дней. Им не терпелось увидеть

близких. При них были поддельные документы, которые теперь достать было нетрудно, и все же приходилось быть осторожными, обходить блокпосты, а иногда и жандармов, у которых они легко могли вызвать подозрения. Передвигаясь в основном по ночам, подсаживаясь в машины к фермерам, у которых еще осталось горючее, бойцы добрались до Салоников на пятый день.

Стоял июнь, и молодые люди старались держаться в густой тени деревьев, растущих на главных улицах. До домов, где жили их родные, было уже рукой подать.

Радость возвращения в родной город омрачалась тем, что Салоники изменились. Над ними повисла атмосфера скорби. Не слышно было шумной суеты, которой когда-то отличалась улица Эгнатия и прилегающие к ней улочки. Многие магазины стояли заколоченными, у тех, что еще работали, витрины пустовали.

Уличные торговцы, что когда-то добавляли городу оживления и музыкальности своими зазывными криками, пропали, а у вокзала, где раньше сидело не меньше дюжины чистильщиков обуви, их осталось всего два. На улицах попало несколько немецких солдат, но они не обратили на Дмитрия и Элиаса ни малейшего внимания.

Дмитрий видел, как ватага ребятишек переворачивает мусорный ящик. Тот голод, что ему пришлось пережить в горах и в деревнях, все же не был таким страшным, как здесь. За городом, по крайней мере, всегда можно было достать хоть каких-нибудь овощей на суп, а иногда и фруктов, орехов или кореньев. С помощью местных жителей, которым можно было доверять и которые могли показать, что съедобно, а что нет, даже ягоды становились существенной частью рациона. Природа выручала почти всегда, а на городских мостовых не было ничего, кроме грязи зимой, а теперь, с наступлением тепла, – поднимающейся в воздух удушливой пыли.

Они вышли на широкую площадь Аристотелус. В кафе царили оживление и шум, как в прежние времена. Посетители наслаждались дневным солнцем, видом сверкающего залива и горы Олимп – он и теперь совершенно не изменился. Многие столики были заняты немецкими солдатами, а с ними даже сидели, непринужденно болтая, несколько девушек-гречанок. Тут же были и сытые, лощеные греки. Дмитрий понимал – среди них легко может оказаться кто-нибудь из богатых друзей и клиентов отца.

– Теперь нам лучше разделиться, – сказал Дмитрий, понимая, что ему ни к чему попадаться на глаза этим людям; оба чувствовали, что выглядят

подозрительно – в тяжелых сапогах, небритые.

– Как, по-твоему, похожи мы на партизан? – спросил Элиас почти шутливо.

– К сожалению, похожи, по-моему.

По одному было легче затеряться в толпе, скрыться в дверях магазина или нырнуть в людное кафе. Дмитрия с Элиасом предупреждали, что доверять никому нельзя. В городах немцы вербовали официантов, консьержей и всех прочих, кто мог указать на подпольщиков или членов Сопротивления. У всех, кто шпионил за согражданами, были семьи, которые надо кормить, а сотрудничество с врагом означало, что тянущие боли в пустом желудке, может быть, отступят на день-другой и дети не будут хныкать без конца, прося еды. Голод превратил Салоники в опасное место.

Жандармов, военную полицию, которых и раньше боялись и презирали, стали ненавидеть еще больше – теперь они служили немцам. Выбор у них был невеселый. Если бы они отказались сотрудничать с оккупационными войсками, их ждали бы пытки и казнь. Некоторые остались на своих местах и, рискуя жизнью, помогали Сопротивлению, но попробуй отличи «хорошего» жандарма от «плохого». Лучше уж держаться от них подальше – на всякий случай.

– Встретимся ровно через сутки, – сказал Дмитрий. – Я приду на улицу Ирины в шесть часов.

Он надеялся там хоть краем глаза увидеть Катерину.

Дмитрий посмотрел на часы. Просто чудо, что они еще идут после многих месяцев под дождем и снегом, в грязи и сырости. Часы были дорогие, швейцарские – подарок отца на двадцать один год, и Дмитрий поначалу надевал их крайне неохотно. Они символизировали страсть отца к деньгам и статусу, и Дмитрию было неловко носить их в университете, чтобы не выделяться. В ту ночь, когда юноша уходил из дома, он схватил их в последний момент, понимая, что они могут оказаться полезными – на худой конец, можно будет продать. Теперь же, когда стекло было исцарапано и золотой корпус потускнел, Дмитрий полюбил часы и даже стал им доверять. Много раз их точный механизм оказывался бесценным, когда ему и другим партизанам приходилось ориентироваться в горах.

– Тогда до завтра, – сказал Элиас. – Передавай от меня привет своим родителям.

– И ты своим от меня, – отозвался Дмитрий.

Элиас свернул на север, к старому городу, и затерялся в путанице улочек, ведущих к Ирине.

Димитрий двинулся дальше по тихой улице вдоль моря.

Вокруг никого не было видно. Город словно вымер. За десять минут быстрым шагом Димитрий добрался до улицы Ники. Дом оказался еще больше и внушительнее, чем ему помнилось. Димитрий позвонил в звонок, и сердце у него бешено заколотилось. Во многих подобных домах расположились немецкие офицеры, и Димитрий вдруг понял, что его вот-вот могут арестовать. Такого страха он не испытывал за все месяцы в горах. Он ведь уже давным-давно не имел связи с родителями и совершенно не представлял, кто сейчас стоит за дверью.

Не успел молодой человек решить, бежать или нет, как услышал, что отодвигается тяжелый засов – медленно, словно кому-то там, за дверью, так же страшно. Когда Павлина увидела, кто на пороге, она от неожиданности зажала рот руками.

– Мать Божья! Димитрий! – задохнулась она от удивления. – Входи же! Входи!

Служанка втащила его в прихожую, отстранилась и оглядела – радостно и в то же время озабоченно.

– Погляди-ка на себя! – сказала она и перекрестилась несколько раз подряд. – Что они с тобой сделали?

Этот вопрос не требовал ответа. Димитрий и сам знал, что вид у него усталый и изможденный. Он увидел свое отражение в зеркале в прихожей – в первый раз за много месяцев. Непонятно только, кого Павлина имела в виду под «ними». Каких-то врагов, наверное. Немцев? Или других греков?

– Вот мама твоя обрадуется, когда тебя увидит! Она наверху.

– А отец?

– Должно быть, у себя в торговом зале.

Димитрий взлетел по лестнице через три ступеньки, помедлил одно мгновение и робко постучал в дверь гостиной. Не дожидаясь ответа, вошел. Ольга не подняла глаз от чтения, думая, что это Павлина принесла чай.

– Мама. Это я.

Уронив книгу, Ольга вскочила и тут же оказалась в крепких сыновних объятиях.

– Димитрий...

Слов не было, только слезы – оба плакали, не стыдясь. Наконец мать отстранилась, чтобы получше разглядеть сына.

– Глазам не верю – неужели это ты? Я так волновалась. Думала, никогда тебя больше не увижу! От тебя же не было ни словечка! Больше



года... – Слезы так и бежали по ее щекам.

– Я не мог послать письмо. Неоткуда было. Прости, мама, мне правда очень жаль.

– Я так рада тебя видеть...

Они еще несколько минут постояли, обнявшись. Наконец Ольга немного успокоилась и вытерла лицо. Ей хотелось как следует насладиться радостью от возвращения сына.

– Сядь, – сказала она. – Рассказывай обо всем. Обо всем, что с тобой было. Рассказывай, где ты был!

Они сели рядом на кушетку.

– Видишь ли, я должен тебе кое-что объяснить, – серьезно сказал Димитрий. – Кое-что очень важное.

– А подождать с этим нельзя, любовь моя? Скоро отец придет. Ты же дома теперь, времени еще будет сколько угодно, – улыбнулась она.

– В том-то и дело, мама, не будет у меня сколько угодно времени.

– Что это значит, милый? – спросила мать с глубоким разочарованием в голосе. – Ты же только что пришел. И война уже закончилась.

– Ну, мама, ты же сама понимаешь, что это не так, – мягко ответил Димитрий. – Война далеко еще не кончена.

– Твой отец считает иначе.

– Что ж, тут мы, вероятно, не сойдемся. Борьба продолжается. Тысячи людей не сдались. Немцы и итальянцы – наши враги, и пока они на нашей земле, мы будем с ними драться.

Ольга смотрела на сына со смешанным выражением любви и смутения. Он вернулся к ней, но она чувствовала, что кто-то вот-вот снова его отнимет.

– А кто такие «мы»? – спросила Ольга.

– ЭЛАС.

– ЭЛАС? – шепотом переспросила она. – Ты записался в коммунисты?

– Я записался в организацию, которая сражается против немцев, – с вызовом ответил сын.

– Вот как, – протянула мать, явственно побледнев.

– Мы сражаемся за тех, кто не может сражаться сам, мама, – добавил Димитрий.

Тут Ольга краем глаза заметила какое-то движение. Никто из них не обращал внимания на сквозняк из-за приоткрытой двери.

– Константинос! – воскликнула Ольга, удивленная, что муж вернулся так рано. – Смотри! Смотри, кто пришел!

Димитрий встал, и отец с сыном оказались лицом к лицу. Димитрий

заговорил первым.

– Я вернулся. – Он не знал, что еще сказать.

Константинос откашлялся. Напряжение висело в воздухе. Димитрий уже чувствовал, что отец весь кипит гневом. Похоже, за время его отсутствия ничего не изменилось – он понимал, что сейчас начнется вежливый разговор, который закончится неизбежным взрывом.

– Да, вижу. И где же ты был?

Тон у Комниноса был такой, словно речь шла о недельной поездке. Димитрия не было дома ровно семьдесят четыре недели и четыре дня. Ольга считала.

– Большой частью в горах, – честно ответил сын.

– Мы ждали тебя домой несколько месяцев назад... Война закончилась еще в апреле прошлого года, – резко сказал отец. – Мог бы хоть дать нам знать.

– Я уже объяснил маме: неоткуда было отправить письмо, – попытался оправдаться Димитрий.

– Так что же ты делал в горах?

Тон у отца был настойчивый, но в нем слышалась фальшь. Ольга уже поняла, что муж довольно долго пробыл в комнате, прежде чем его заметили.

Димитрий смотрел в пол. Видел свои сапоги, побелевшие от пыли, – сквозь растрескавшуюся кожу едва не выпирали пальцы; сколько километров они прошагали – и не сосчитать. И видел отцовские безупречно чистые ботинки, сверкавшие так, что в них отражался узор ковра.

Димитрий гордился тем, как он провел эти несколько месяцев после вступления в ЭЛАС.

– Ольга, выйди, пожалуйста, из комнаты.

Много ночей Димитрий до полусмерти замерзал в горных пещерах, видя, как над головой образуются сосульки, но такого холода, какой сквозил в голосе отца, не испытывал.

У Ольги тоже заledenело сердце. Она вышла и закрылась в спальне, мучаясь страхом за сына.

Димитрий остался стоять. Он был одного роста с отцом, миллиметр в миллиметр, и сегодня ему хотелось смотреть ему в глаза. Мысленно он выругал себя за то, что ему так страшно. После того что пришлось пережить за время войны, смешно дрожать сейчас. И все равно он чувствовал, что сердце вот-вот вырвется из груди.

Как только Ольга вышла из комнаты, Константинос заговорил снова.

– Ты опозорил семью, – ровным голосом произнес он. – Я слышал, что ты говорил матери. После того как я выскажу тебе все, что считаю нужным, ты оставишь этот дом. И не вернешься, пока сражаешься на стороне ЭЛАС. Человек с такими убеждениями недостойн называться моим сыном. Человек с такими убеждениями не имеет права появляться на пороге этого дома. Ты сейчас выйдешь из этой комнаты и отправишься прямо за дверь. Мне все равно, куда ты пойдешь, но в этом городе тебе не место.

Константинос повысил голос. Димитрий без выражения смотрел на него. Ему нечего было сказать человеку, с которым его не связывало ничего, кроме фамилии.

– Если бы я не боялся покрыть позором свое имя, я бы сию минуту заявил на тебя властям.

Комнинос хотел дождаться ответа и сделал короткую паузу. Молчание сына привело его в ярость.

– Как ты не можешь образумиться, Димитрий, как ты не можешь понять, что война не выход для страны?!

– А что выход? – отозвался наконец Димитрий. – Коллаборационизм?

Разговор между отцом и сыном шел уже не на повышенных тонах, но сдерживаемый гнев все равно ощущался. Последнее слово осталось за Константиносом Комниносом.

– Прочь с моих глаз, Димитрий, – сказал он.

Проходя мимо закрытой двери маминой комнаты, Димитрий чувствовал страшную горечь. Как могла его мать, которую он так любил и по которой каждый день скучал, связать свою жизнь с таким чудовищным эгоистом, с фашистом? Мучаясь этим вопросом и страшным чувством вины за то горе, которое ей причинил, он медленно спустился по лестнице. Павлина стояла в прихожей.

– Прощай, – сказал он, целуя ее. – Попроси за меня прощения у мамы...

Павлина не успела сказать, что ужин вот-вот будет готов, – он уже вышел. Она потрогала щеку и почувствовала, что она мокра от слез – не ее слез.

На улице Димитрий сразу понял, что делать. Они с Элиасом договорились встретиться только завтра, но теперь осталось лишь одно место, где можно чувствовать себя в безопасности. Улица Ирины.

Он добрался туда за двадцать минут, опасливо прячась в дверных проемах, стараясь не привлекать внимания жандармов. На улице Ирины было тихо, только две женщины в самом конце ее сидели у дверей. Отодвинув занавеску, прикрывавшую вход, Димитрий проскользнул в дом

Морено. Уже смеркалось, а в доме было еще темнее, чем на улице.

– Димитрий!

Голос был знакомый. Через минуту его глаза привыкли к темноте, и он разглядел силуэты четырех человек, сидевших за столом. Все они встали с мест и подошли к нему.

– Димитрий! Что ты здесь делаешь? – спросил Элиас.

– Какой приятный сюрприз, – сказал Саул Морено. – Мы все счастливы тебя видеть!

– Проходи! Проходи и садись. Тебе надо поесть! Надо поесть!

Роза Морено подтолкнула его к столу, а Исаак уже придвинул к нему еще один стул.

Димитрий принялся за еду. В первый раз за много-много месяцев можно было как следует наесться. Это возвращение к нормальной жизни радовало.

– Ну так давай не тяни. Видел отца? – спросил Элиас.

– Да, – с полным ртом ответил Димитрий. – Я должен был догадаться, как он себя поведет.

Все без дальнейших объяснений поняли, что это значит. Помолчали.

– Ну, рассказывайте. Все рассказывайте, – сказал Саул Морено. – Мы хотим знать все.

Кирия Морено без устали сновала туда-сюда, подкладывала им на тарелки еду и засыпала вопросами. До самого утра они, усталые, рассказывали о том, где были, о войне, о боях, о том, как Димитрий зашивал раны, накладывал жгут и учился извлекать из ран шрапнель. Кирия Морено хотела знать во всех подробностях, чем они питались, и ужасалась ответам.

Димитрий с Элиасом не только говорили, но и слушали, и спрашивали. В жизни Морено тоже многое изменилось за эти полтора года. Каково это – жить в оккупированном городе? Как ведут себя немцы? Как обращаются с евреями?

Кирия Морено расписывала все розовыми красками, а вот Исаак был более откровенен.

– Нам приходится шить костюмы для немцев, – хмуро сказал он. – Защить бы им в швы бритвы, да для дела невыгодно.

– И все же нам очень повезло, – сказал Саул. – У многих евреев отняли их предприятия. Мы свое, по крайней мере, сохранили. И поверьте, работы у нас много, как никогда.

– Но это не та работа, какую бы нам хотелось...

– Исаак! – перебил отец. – Перестань, пожалуйста. Всю зиму люди

в этом городе умирали от голода. А мы разве когда-нибудь сидели голодными?

– Не будем спорить, – сказала кирия Морено, которая была до безумия счастлива видеть своего младшего сына и не хотела омрачить короткую встречу сердитыми словами.

– Мама права, Исаак, – сказал Элиас. – Нам так мало осталось побыть вместе.

Кирия Морено отошла к раковине и принялась мыть гору тарелок. Саул Морено ушел наверх и лег спать под драгоценным одеялом. Пока мать гремела тарелками в раковине, Элиас улучил момент и тихонько спросил старшего брата:

– Знаешь, мы завтра уходим. Может, и ты с нами? Мы недавно потеряли нескольких человек, пополнение не помешает.

– И никаких больше костюмов для гансов, – ободрительно прошептал Димитрий.

Исаак переводил взгляд с одного на другого.

– Дайте подумать до утра, – ответил он.

Кирия Морено оглянулась через плечо. Она видела, как ее сыновья и Димитрий склонились друг к другу, так, что почти соприкасались головами. Было похоже, что они что-то замышляют.

– Мальчики, – с улыбкой сказала она, – вам не кажется, что пора спать?

– Да, – хором отозвались сыновья и рассмеялись.

– Элиас, может, побудешь еще немного? – спросила Роза. – Так чудесно, когда ты дома. И Димитрий может оставаться сколько хочет.

– Мы бы рады, мама. Но у нас отпуск всего семь дней, и четыре из них ушли на то, чтобы сюда добраться...

В эту ночь Димитрий крепко спал на каменном диване в гостиной. Ни одна постель еще не казалась ему такой мягкой, скоро он уже смотрел какие-то красочные сны и проснулся только после полудня. Он тщательно умылся во дворе, соскреб с шеи въевшуюся грязь и промыл язвочки, образовавшиеся от укусов вшей. Кирия Морено дала ему свежую, чистую одежду (у них с Элиасом был один и тот же размер), слегка подкрахмаленный хлопок шуршал, приятно холодя. Надев эту выглаженную одежду, Димитрий почувствовал, будто заново родился.

Элиас оставил Димитрию записку на столе. Он писал, что вернется к вечеру, чтобы им вовремя отправиться в обратный путь, а пока побудет в мастерской, попытается уговорить Исаака уйти с ними.

Молодой человек почувствовал укол ревности. Он не мог обманывать себя, будто не понимает, в чем тут дело. Элиас увидит Катерину.

Все эти месяцы Димитрий старался не думать о ней. Все равно смысла в этом не было. В горах, вдали от всего цивилизованного и человеческого, мысли о девушке казались неуместными, но теперь, когда он знал, куда отправился Элиас, готов был сам побежать в мастерскую.

Так нельзя. Молодой человек это понимал. Он вышел на улицу – внезапно отчаянно захотелось глотнуть свежего воздуха – и пошел по направлению к морю. Почувствовав себя смелее в чистой одежде, зашел в кафенио, где никогда раньше не бывал, и сделал заказ. Тут он ощутил на себе чей-то взгляд и увидел перед собой лицо жандарма, смотревшего на него с любопытством.

– Сын Константиноса? – спросил тот.

Димитрий не знал, что ответить. Сказать «нет» – глупо, если этот человек знает его отца. Признаться – неизвестно, что за этим последует.

– Точно, сын! Ведь правда же? – не отставал жандарм, который был здесь не один, а с полудюжиной сослуживцев.

Димитрий почувствовал, что краснеет. Может быть, отец и в самом деле заявил на него как на коммуниста. Он обмер от страха. Там, в горах, всегда было куда бежать, если окажешься лицом к лицу с врагом. Димитрий бросил взгляд на дверь за спиной жандарма и понял, что выхода нет.

– Вы, должно быть, Димитрий. Так похожи. Передавайте от меня привет отцу!

Димитрию всегда была неприятна мысль, что он похож на отца, но сейчас он испытал громадное облегчение.

– Да... конечно, – ответил он и заставил себя улыбнуться.

Он поднял чашку, проглотил немного горькой кофейной гущи, поднялся и вышел. До чего же отвратительно думать, что отец водит дружбу с жандармом, но этого следовало ожидать.

Димитрий поспешил обратно на улицу Ирины. Элиас должен скоро вернуться. Придет ли с ним Исаак?

Долго ждать не пришлось. Через десять минут он получил ответ на свой вопрос. Элиас пришел один.

– Не хочет, – сказал он с ноткой разочарования. – Говорит, кто-то должен остаться с родителями. Вообще-то, он, пожалуй, прав.

– Жаль, – отозвался Димитрий. – Он бы нам пригодился.

Элиас сбегал наверх, захватил рубашку на смену, и они оба взяли пакеты с хлебом и сыром, которые кирия Морено оставила им в дорогу.

– Я только что прощался с матерью – она бы, наверное, не пережила, если бы мы с Исааком ушли оба. Это разбило бы ей сердце.

– Ну что ж, дело его, – сказал Димитрий. – Идем.

Он не мог заставить себя спросить Элиаса, видел ли тот Катерину.

К ночи Салоники уже скрылись за горизонтом, и через двое с половиной суток Димитрий с Элиасом уже снова были в горах со своим отрядом.

В эту ночь в Салониках две женщины заснули в слезах. После коротких свиданий с сыновьями переносить разлуку было едва ли не тяжелее. Ольга даже не могла поговорить о сыне с Константиносом. Имя Димитрия запрещено было упоминать. Роза Морено – та хоть успела поцеловать сына на прощание.

В течение четырнадцати месяцев с начала оккупации немцы, хоть и присвоили ценности синагог, дома и предприятия, самих евреев почти не трогали. В середине июля все изменилось. Внезапно объявили, что все еврейские мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет должны явиться на регистрацию. Их собирались использовать на работах в пользу армии – строительстве дорог и полевых аэродромов.

Кириос Морено старался подбодрить Исаака.

– Нужен же им кто-то, кто будет делать за них тяжелую работу, – говорил он. – И это не одних евреев касается. Греки тоже на стройках работают.

– А почему бы немцам самим не потрудиться? – возмутился Исаак. – Я портной, а не строитель.

– Тут уж ничего не поделаешь, – сказала мать. – Дорогой, я уверена, это ненадолго.

Жара на этой неделе стояла такая, какой не случалось за весь год. Субботним утром девять тысяч человек выстроили на площади Элефтерия. Это название сегодня звучало насмешкой: площадь Свободы. Полуденное солнце припекало головы, и с моря не долетало ни дуновения освежающего ветерка.

– Я думал, мы будем дороги строить, – сказал Исааку один из портных. – Зачем нам тут-то стоять?

– Должно быть, сейчас узнаем, – ответил Исаак.

Отданные лающим голосом приказы разлетались по всей площади. Если евреи не сразу понимали, что от них требуется, немецкие солдаты помогали им дубинками. Оказалось, что им велено делать гимнастические упражнения.

Исаак и еще восемь человек из мастерской старались держаться поближе друг к другу. Еще пара месяцев, и Иакову, самому старшему

из них, сорокачетырехлетнему, не пришлось бы являться на регистрацию. Он был маленького роста, тучный, и упражнения давались ему тяжелее, чем Исааку и другой молодежи. Немцы заметили это, вывели его вперед и заставили сделать кульбит, да не один, а пять раз подряд, чтобы сфотографировать это зрелище.

Одна из городских газет уже несколько недель подогревала антисемитские настроения, и поглазеть на то, как молодых евреев заставляют делать дурацкие упражнения на полуденном солнце, собралась целая толпа, включая самых уважаемых горожан. Раздавались подбадривающие хлопки и издевательский свист, словно им еще мало унижения.

Несколько часов пришлось давать это представление для собравшейся толпы – без воды, без отдыха, на жарком солнце. Через четыре часа лысую голову Иакова напекло, его вырвало, и он потерял сознание. Спустя час он так и не пришел в себя, однако никому из друзей не позволили прийти на помощь. В конце концов двое солдат бесцеремонно оттащили его в сторону за ноги, а когда Исаак попытался протестовать, на него спустили собак. Толпе это, очевидно, понравилось. Чем больше жестокостей и унижений творилось у них на глазах, тем громче они свистели и улюлюкали. Когда христиан живьем скармливали львам, это, должно быть, и то так не услаждало ревущий сброд. Наконец зрелище прискучило даже самим мучителям, и евреев, большинство из которых еле держались на ногах, собрали в кучу и загнали в грузовики.

На следующее утро Исаак и его товарищи, которым удалось остаться вместе, оказались под Ларисой, на юго-западе от Салоников. Иакова с ними не было. Он умер, не приходя в сознание.

Вот тут-то и началась настоящая пытка. С этого дня по десять часов ежедневно они трудились без отдыха, под безжалостным солнцем и неустанными атаками комаров. По ночам, когда они засыпали, свирепые насекомые продолжали свое дело, и через две недели у многих появились симптомы малярии. Но и тогда им не дали передышки: надзиратели поднимали их с постелей каждое утро и гнали на работу. Раз или два местные крестьяне отваживались принести немного еды или одежду на смену, но это были единственные проблески человечности. Многие падали у ног надзирателей, и те толкали бесчувственные тела прикладами, чтобы проверить, не удастся ли выжать из них еще час работы. Только смерть давала право ее прекратить.

Когда уже четверо из их маленькой сплоченной группы умерли, не вынеся зверств немцев, двое начали поговаривать о побеге.



– Все равно нам здесь гибель, так уж лучше попытать счастья!

– Вы же не знаете, вдруг нас отпустят домой, когда работа будет сделана, – сказал Исаак. – Да и пристрелят вас, если попытаетесь бежать.

– Так они же не увидят...

– Это еще не известно! Только всем нам хуже сделаете.

Возле их самодельной палатки постоянно дежурил охранник, но они всегда чувствовали, что их язык – это убежище, где их не достать. Для немцев ладино был просто потоком бессмысленных звуков.

В Салониках тем временем бушевали споры. Пока Исаак каждый день смотрел, как падают и умирают его соотечественники-евреи, вдалеке вдруг забрезжила надежда на освобождение.

Еврейской общине предложили выкупить рабочих и назначили цену в три миллиона драхм. В отчаянии люди принялись собирать деньги.

Тогда было сделано еще одно предложение. Вместо того чтобы пытаться собрать эту неподъемную сумму, еврейская община могла расплатиться, отдав свое кладбище. Муниципальные власти давно мечтали прибрать к рукам этот большой и ценный кусок земли в самом центре города, и теперь у них появилась такая возможность – за кладбище назначили ровно ту же цену, что и за выкуп.

Еврейская община пришла в волнение. В мастерской Морено, где у большинства рабочих на этом древнем историческом кладбище были похоронены родственники, кипели слезы гнева и обиды.

– Но память наших предков дороже любых денег, – возмущался один из пожилых портных. – Этого нельзя допустить!

– Там некоторым могилам уже больше пятисот лет!

– Ну, знаете, те, кто там похоронен, уже умерли, а мои сыновья еще живы, – возражал другой, у которого сразу троих сыновей забрали в трудовые лагеря. – О каком выборе можно говорить?

У каждого была своя точка зрения, и все были по-своему правы.

Катерина заметила, что кирия Морено каждый раз находит предлог, чтобы выйти из комнаты, когда там заходят эти разговоры. Раз или два Катерина выходила следом и видела, что хозяйка тихо плачет в кладовой.

– Каждый раз, как подумаю об Исааке, у меня такое ужасное чувство, что я его больше никогда не увижу, – говорила она. – И тут нам дали возможность вернуть сына, а люди против!

Катерина обняла кирию Морено и прижала к себе.

– Не могу их слушать, – пожаловалась Роза. – Элиасу я ничем не в состоянии помочь, так хоть Исаака бы увидела.

– А от Элиаса никаких вестей? – спросила Катерина, надеясь хоть что-

нибудь узнать.

– Никаких, – ответила Роза. – Но говорят, почти все партизаны в горах, должно быть, и он там. И Димитрий с ним, наверное. А погода опять меняется, да?

– Снег. Да. Я слышала, там уже снегопад был.

Пожилая женщина кивнула, и какое-то время они сидели молча. Кирии Морено хотелось собраться с духом, прежде чем возвращаться к остальным. Катерина думала о Димитрии. Она содрогнулась, представив, как он там, зимой, без еды, без теплой одежды.

Споры по поводу кладбища не утихали, но в действительности выбора у евреев не было. Муниципалитет уже набрал рабочих, чтобы скрыть его, и в декабре более трехсот тысяч могил, в том числе и тех, где лежали великие раввины и учителя, были уничтожены. Родственники бросились туда, надеясь вывезти останки своих близких, но почти все опоздали – кости уже раздробили, золотые зубы вырвали. Повезло лишь немногим, они успели спасти своих покойных родных и позже перезахоронить на новых кладбищах, в восточной и западной частях города.

Мраморные памятники вывезли на продажу – потом они оказывались на фасаде какого-нибудь здания, а то и под ногами вместо тротуарной плитки. Морено, как и большинство других евреев, были вне себя от горя, когда увидели, как надругались над историческим и священным для них местом. Окажись оно в эпицентре землетрясения, и то пострадало бы меньше. Это была катастрофа.

Однако через несколько дней слезы горя сменились для Морено слезами радости. Тощий, как скелет, человек появился на пороге их дома. Это был Исаак. Кости сотен тысяч мертвецов обменяли на несколько тысяч едва живых.

## Глава 20

Начался 1943 год, и голод в стране еще усилился.

Это стало главной заботой для всех жителей Салоников.

Мастерская Морено сумела сохранить всех оставшихся работников (помимо Иакова, еще трое умерли в трудовом лагере), но работы стало мало. Немцы больше не приходили заказывать костюмы, и даже состоятельные горожане («Наверняка сплошь коллаборационисты», – прибавляла кирия Морено) не могли достать тканей на новую одежду. Константинос Комнинос так взвинтил цены, что они были по карману только самым богатым.

Одной из очень немногих женщин, кому по-прежнему шили новые платья, была Ольга. Не столько от недостатка еды, сколько от тревоги за сына она еще сильнее, до болезненности исхудала. Кто-то, может быть, и принимал эту худобу за элегантную стройность, но под дорогим крепдешинном торчали кости – в точности так же, как и у самых обездоленных бедняков. Теперь ее муж приглашал в гости немецких офицеров, и когда они сидели за столом, аппетит у Ольги пропал окончательно.

Как и все остальные модистры и портные, Катерина была по-прежнему занята переделкой вещей. Манжеты истирались, ткань лоснилась от старости, но люди стремились сохранить хоть какое-то чувство собственного достоинства, поддерживая приличный внешний вид. В мастерской Морено брали за такую услугу совсем недорого, а для друзей это делалось и вовсе бесплатно.

Ходили слухи, что евреев депортируют из стран их проживания по всей Европе, но, поскольку в Греции ничего подобного до сих пор не случилось, у Морено не было причин думать, что это может коснуться и их. Однако внезапно, словно именно в Новый год кого-то осенила новая мысль, в январе 1943-го все изменилось. В Салоники прислали одного из заместителей Адольфа Эйхмана с целью «окончательного решения вопроса» относительно пятидесяти тысяч евреев этого города. Через месяц прибыла сотня немецких полицейских, которые и должны были претворять в жизнь новые меры.

– Что они там еще выдумали с этой звездой? – спросил Исаак; он приходил в мастерскую каждый день, хотя и был еще очень слаб, а его

когда-то ловкие и умелые пальцы стали непослушными после нескольких месяцев черной работы.

– Звезда должна быть желтая – это все, что я знаю, – сказала кирия Морено. – Некоторые клиенты уже попросили нас пришить.

– И еще она должна быть десять сантиметров в диаметре, шестиконечная, – добавила Катерина, которая уже нашивала звезды на пальто и пиджаки.

Исаак стоял и смотрел на нее.

Звезды, пришитые Катериниными красивыми, ровными стежками, имели вид искуснейшей аппликации. Она уже видела на улицах пару человек со звездами на рукавах, кое-как приметанными грубыми стежками. Если уж ее друзьям-евреям приходится носить такое, так пусть это хоть выглядит аккуратно.

– Не понимаю, с какой стати мы вообще должны их носить, – сказал Исаак. – Я уже отработал свое на немцев. По мне, так этого вполне достаточно.

– Исаак, – прервал его отец, – у нас нет выбора.

– А кто приказал нам их носить? И как они нас заставят?

– Рабби Корец велел, – тихо сказала мать.

– Рабби!

– Не он придумал такое правило, Исаак, – заступился отец. – Он только передал приказ.

– А что еще ему велели нам передать?

Ненависть к немцам у Исаака была гораздо сильнее, чем у его родителей. Он несколько месяцев подряд испытывал зверства на собственной шкуре и знал, на что они способны. От родителей же он большую часть подробностей утаил.

Он видел, как они переглянулись.

– По всей видимости, – сказал отец, – нам придется переехать.

– С улицы Ирины? – в ужасе переспросила Катерина.

– Видимо, так, – ответила в слезах кирия Морено. – Точно еще ничего не известно.

– Но почему немцы хотят, чтобы вы переехали? Вы точно знаете, что это не сплетни?

Исаак вышел из комнаты, не в силах сдерживать гнев, а Катерина с Розой продолжали молча нашивать звезды.

Через несколько дней новость подтвердилась. Семью Морено, как и всех их работников, за исключением Катерины, переселяли в другой район, к железнодорожному вокзалу.

– Что ж, я уверен, у них на это есть причины, – сказал Саул Морено. – И думаю, в свой срок нам их разъяснят.

Слепую веру кириоса Морено в тех, кто распоряжался его жизнью, особенно в главного раввина, поколебать не могло ничто. Он верил в здравый смысл и не сомневался, что этому очередному приказу тоже должно быть какое-то объяснение.

Евреям было велено составить списки их имущества, и почти все послушно принялись исполнять это указание.

– Это, должно быть, для какого-нибудь налога, которым нас собираются обложить, – ворчал кириос Морено; у него уже зашевелились кое-какие подозрения, но от жены он их пока скрывал.

На следующий день ни один из его работников не пришел в мастерскую. Все сидели дома, укладывали пожитки, отбирали самое ценное и решали, что взять с собой в новое жилье. Их уже предупредили, что там будет, скорее всего, потеснее, чем в их нынешних домах.

В эту ночь к Катерине с Евгенией наведальось несколько рабочих из мастерской.

– Вы не против взять это на хранение?

– Может, подержите это у себя, пока мы не вернемся?

– Вы не могли бы кое-что спрятать? Ненадолго, надеюсь!

В этих просьбах слышалась напускная бодрость и беспечность. Катерина с Евгенией принимали на хранение броши, кольца и подвески. Им самим негде было надежно укрыть все эти ценности, и тогда они зашили их в подушки – там уж точно никто не найдет. На каждой подушке был вышит сложный узор, а в него незаметно вплетены инициалы владельца.

На следующий день в гости к соседям пришли Саул и Роза. Катерина ждала их. На руках, словно младенца, кириос Морено нес что-то – она не сразу поняла что. Это оказалось одеяло, в которое был зашит древний парохет. Катерина молча взяла его и ушла наверх, чтобы застелить поверх кровати. Кирия Морено отдала Евгении две вышитые картинки.

– Повесишь их на стену? – спросила она.

– Конечно повешу, – ответила Евгения.

Еще они принесли дорожный чемодан. Даже если бы за улицей Ирины наблюдали, то не заметили бы ничего подозрительного. Морено переезжают и не могут все забрать с собой. Конечно, им пришлось многое бросить. Несколько ковров, кровать, стулья и целый сундук с постельным бельем остались в доме номер семь.

– Оставим это Элиасу, – сказала Роза мужу. – Он-то, наверное, раньше

нас вернется.

Несколько дней вся улица была забита тележками. Домашняя утварь громоздилась горами: сундуки, стулья, кастрюли и сковородки, а часто и стол торчал поверх всего этого, похожий на окоченевший труп неведомого животного.

На улицах царили грусть и отчаяние. Добавлял тоски и проливной дождь. Люди низко склонялись над своими пожитками, и даже молодые ходили на стариков, а одинаковые желтые звезды превращали всех в какую-то однородную массу.

Матери крепко держали за руки малышей. На улице, где толпились десятки тысяч людей, легко было потеряться, а шаткие нагромождения вещей свободно могли рухнуть на кого угодно.

После депортации мусульман на улице Ирины жили вместе христиане и евреи, и теперь христиане изо всех сил старались чем-то помочь уезжающим друзьям – в точности так же, как помогали мусульманам двадцать лет назад. Тут были и объятия, и искренние обещания приходить в гости.

– Я-то все равно вас завтра увижу, – сказала Катерина плачущей кирии Морено. – Мастерская ведь будет работать, как всегда?

– Да, милая, наверное, так, – устало отозвалась Роза; она, казалось, постарела за эту ночь на десять лет.

Катерина смотрела на удаляющиеся фигуры Морено и вдруг задалась вопросом, а как же Элиас узнает, где искать своих родных, когда вернется. Хорошо, если она будет дома и расскажет ему. Ни дня не проходило, чтобы ее мысли не уносились туда, в горы.

На следующий день в мастерской Морено было, на первый взгляд, странно спокойно. Все явились к обычному часу. Работы было немного, и кириос Морено дал поручение – составить опись всего, что у них осталось, до последней булавки, пуговицы и клочка тесьмы. Все занялись делом, и в результате в мастерской воцарилась идеальная чистота и порядок. Несколько лет они были так заняты, что до этой работы руки не доходили. Кириос Морено считал это почти роскошью.

Назавтра Катерина пришла на работу, как всегда, минута в минуту. Так странно было идти туда одной.

Она свернула за угол и тут же поняла, что что-то случилось. Все работники мастерской стояли на улице. Они столпились вокруг пришипленного к двери большого объявления на немецком, которое никто из них не мог перевести. В дверь был грубо врезан тяжелый замок.

Катерина тоже стояла в испуге. Мастерскую отняли немцы. Даже

не зная ни слова по-немецки, нетрудно было понять, в чем дело.

Некоторых охватило бурное негодование, даже ярость. Исаак рванул замок.

– Как они смеют?! – вскричал он. – Давайте собьем его, да и все!

– Успокойся, Исаак, – сказал отец, ласково тронув его за плечо. – Думаю, надо идти домой.

– Домой! – закричал Исаак.

Это слово отозвалось по всей улице. В нем было столько тоски и горя. Впервые в жизни Катерина увидела, как взрослый мужчина обливается неудержимыми слезами. Это было ужасно.

Начали расходиться – пора было возвращаться туда, куда отправили жить евреев, в новое гетто.

– Ты заходи к нам как-нибудь на днях, Катерина, – сказала кирия Морено, стараясь говорить как ни в чем не бывало. – А сейчас, думаю, нам всем лучше уйти.

Катерина молча кивнула. Она должна была держаться мужественно – ради друзей.

Сначала, когда их только переселили в гетто, евреев обязали возвращаться по домам до захода солнца. Но вскоре правила изменились. Всю территорию обнесли деревянным забором и поставили охрану у выходов. Теперь евреев вовсе никуда не выпускали. Для надежности поверх забора натянули колючую проволоку.

Последствия этого Салоники ощутили немедленно. Теперь, когда сразу пятьдесят тысяч жителей пропало с улиц, целые кварталы словно превратились в обиталища призраков. Катерину охватила тоска.

Как-то вечером в начале марта, часов в девять, Евгения с Катериной сидели у камина и ужинали – и тут услышали тихий стук в дверь. Для гостей было поздно, и женщины встревоженно переглянулись.

По улицам в это время ходили уже только солдаты и жандармы. Евгения покачала головой и приложила палец к губам.

Стук стал настойчивее. Теперь кто-то колотил в дверь кулаком. Тишина в доме не обманула позднего посетителя.

– Кирия Евгения!

Голос был знакомый.

– Это Исаак! – прошептала Катерина и вскочила. – Скорее! Надо его впустить.

Она подбежала к двери и отворила. Исаак проскользнул в комнату.

– Исаак!

Вид у него был ужасный. Он был худой уже тогда, когда его отправили

в гетто, а теперь кости торчали так, что, казалось, вот-вот прорвут кожу.

– Входи, входи, – сказала Евгения.

Его трясло.

– Есть хочешь?

Он кивнул, и Евгения положила ему чашку вареной чечевицы.

Несколько минут Исаак молчал. Поднес чашку к губам и вылил содержимое прямо в рот, как суп. Он несколько дней не ел и так изголодался, что ему уже было не до хороших манер.

– Налей ему еще, – сказала Евгения Катерине. – А ты расскажи, что случилось...

Исаак рассказал, что их раввин, рабби Корец, пришел в гетто и объявил, что их всех увозят в новую жизнь. Поезда уже отходят.

– Но куда же?! – воскликнула Катерина, не желая верить услышанному.

– В Польшу. В Краков.

– Но почему туда? Там так холодно! – удивилась Катерина.

– Он говорит, там для нас будет работа. Родителям даже разрешили зайти в банк. Велели обменять драхмы на злотые. И рассказали, что брать с собой.

Евгения с Катериной сидели молча, задумчиво и тревожно сдвинув брови.

– Корец говорит – это будет то же самое, что было в прошлый раз.

– Что значит – в прошлый раз? – переспросила Катерина.

– Он хотел сказать, что мы ведь уже переселялись когда-то все разом, когда наши предки приплыли сюда из Испании. А теперь пришла пора переселяться снова. В сущности, это одно и то же.

– Должно быть, в чем-то он прав, – протянула Евгения, вспомнив свое вынужденное бегство; она-то ведь в конце концов и в самом деле начала новую жизнь.

– Ну вот, а некоторые из нас решились бежать, – с упрямой ноткой проговорил Исаак. – Несколько человек хотят присоединиться к Сопротивлению.

– А если поймают? – заволновалась Евгения. – Вас же акцент выдаст.

– А жандармы? Они все время всех останавливают и требуют документы, – добавила Катерина.

– Есть люди, у которых можно купить фальшивые паспорта, – ответил Исаак.

Евгения поняла, зачем он пришел. Фальшивые бумаги стоят дорого, ему нужны Розины драгоценности, чтобы расплатиться. Они были спрятаны в подушке, что лежала на кровати наверху.



– Значит, тебе нужны деньги?

– Нет, я не за этим пришел.

Обе женщины сидели и глядели на Исаака. Такой он был худой, такой слабый. Невозможно было представить, что он перелез через забор, ограждавший гетто. Должно быть, отчаяние придало ему сил.

– Я решил вернуться. Как только очутился на улице, по ту сторону забора, так и понял, что нельзя мне уходить. Не могу отпустить родителей в Польшу одних. Надо же кому-то о них заботиться.

Катерина хорошо знала кирию Морено и понимала, что сейчас она места себе не находит.

– Представляю, как твоя мама беспокоится, – сказала она. – Вот обрадуется, когда ты вернешься.

– Надеюсь, они к тому времени еще не уедут. Люди уже в поезд садились.

– Раз уж вы едете в такие холода, может, захватишь с собой одеяла или одежду? Твои родители много всего дома оставили.

– Я, собственно, за этим и пришел, – сказал Исаак.

Евгения с Катериной пошли вместе с ним в соседний дом. Всего десять дней прошло, а было такое чувство, будто он стоит брошенным уже десять лет. На потолке висела паутина, которую кирия Морено немедленно смела бы, и явственно ощущался запах сырости.

Исаак сразу же подошел к деревянному сундуку – он знал, что там родители держат белье.

– Переночую здесь, – сказал он. – Я уже понял: в темноте пробраться назад будет гораздо труднее. Один звук – и тебе конец. А днем охранников все время что-нибудь отвлекает, люди ходят туда-сюда, очереди стоят – кто за едой, кто на поезд.

– Как же здесь спать? – озабоченно сказала Евгения. – Может, пойдем, лучше у нас переночуешь?

Исаак не стал спорить, и через минуту они были уже дома.

Евгения заметила, как Исаак смотрит на кастрюлю.

– Пожалуйста, – сказала она, – ешь. Доедай все. А потом поспи.

Словно по привычке повиноваться приказам, Исаак сделал, как было велено, а потом устало поднялся наверх по узкой лестнице.

Еще когда Катерина смотрела, как Исаак достает одеяла из сундука, воображение у нее заработало, и, услышав, что дверь наверху закрылась, она сразу же принялась кроить. Из мягкого шерстяного ковра получится отличное пальто – она даже уже придумала, чем его отделать и какие пуговицы пришить. У нее осталось двенадцать часов – даже с помощью

Евгении не так легко управиться.

Когда Исаак проснулся, в ногах кровати уже лежало пальто для его матери, жакет для Эстер и теплый жилет для отца. Все это было еще и красивое. Пальто и жилет – на толстой стеганой подкладке, с аккуратно прошитой каймой. Впервые за несколько месяцев Исаак приободрился. Представил, какие радостные лица будут у родителей, когда они увидят свои имена, вышитые на подкладке, и узоры из гранатов на воротниках. Главное, что тревожило их в последние дни, – холодный климат в тех краях, где будет их новый дом, а теперь и это не беда.

– Пожалуй, я из Польши буду вам заказы присылать! – с улыбкой сказал Исаак. – Спасибо вам, спасибо...

Евгения завернула сложенные вещи в плотную бумагу, и Исаак, зажав пакет под мышкой, зашагал по улице – назад к гетто.

Две женщины смотрели ему вслед. Их утомила долгая ночь, проведенная за шитьем. Катерина-то могла и поспать, ей уже не надо было ходить на работу, а вот Евгения должна была отправляться на ткацкую фабрику.

Вечером обе решили сходить к железнодорожному вокзалу. Оставалась еще надежда, что удастся проститься с друзьями. Но когда они пришли, то сразу же увидели, что ничего не выйдет. Немцы никого близко не подпускали. Из-за забора слышался плач, лязг подцепляемых вагонов и пыхтение пара.

Они немного постояли, а потом развернулись и пошли обратно. Евгения несколько раз перекрестилась, а по пути они зашли в маленькую церковь Святого Николая Орфаноса.

– Счастливого пути, – тихо проговорила Катерина, глядя на пламя четырех свечей, которые она поставила перед иконой.

Подходя к дому, Евгения вспомнила, как они в первый раз пришли на улицу Ирины, когда у них не было ничего, кроме того, что на них надето.

– Эта семья нам столько хорошего сделала, – тихо сказала она. – Надеюсь, там, на новом месте, и к ним кто-то проявит хоть немножко такой же доброты.

## Глава 21

Морено уехали с одной из первых партий, и после этого поезда отправлялись на север, в Польшу, все лето.

В июне Евгения и Катерина получили открытку. На ней был вид Кракова, и написано только, что друзья уже прибыли на место и скучают по Салоникам. Когда в августе наконец ушел последний поезд, гетто опустело, и город лишился пятой части своего населения.

Улица Ирины словно вымерла, и дома, что принадлежали Морено и другим еврейским семьям, долго пустовали. Но в один страшный день тишина и покой были нарушены. Катерина с Евгенией проснулись среди ночи от грохота и криков. Они доносились не с улицы, а из-за стены, из соседнего дома. Было четыре часа ночи. Они выглянули в окно и увидели, что целая толпа нагло вытаскивает вещи из дома Морено. Среди других знакомых вещей они увидели и сундук, в котором кирия Морено держала белье. Он стоял на тележке, на самом верху.

Они читали в газетах о подобных грабежах в тех кварталах, где когда-то жили евреи, но никак не ожидали, что такое случится на их улице.

– Мы должны их остановить! – сказала Катерина.

– Не уверена, что это удачная мысль... – ответила Евгения, глядя, с какой злобой двое мужчин внизу вспарывают перину мачете.

Они кромсали ткань с садистским удовольствием, и белый пух поднимался в небо, словно снег, летящий вверх. Ходили слухи, что евреи прятали золото в матрасах, и этим людям непременно хотелось его найти.

Две женщины могли только беспомощно смотреть, как методично грабят соседский дом. Катерина понимала, что Евгения права: они ничего не могли сделать, слишком опасно. Единственным утешением было то, что некоторые вещи из тех, которыми Морено по-настоящему дорожили, были спрятаны в другом месте. В их доме.

Через несколько недель на улицу Ирины явился посыльный от Константиноса Комниноса и передал Катерине его предложение: снова взяться за шитье одежды для тех состоятельных клиентов, кому все еще были доступны его дорогие ткани. Им по-прежнему требовалась только лучшая модистра в городе, а даже в то время, когда еврейские швеи еще не уехали, этот титул по праву оставался за Катериной.

На следующий день на ее пороге возник носильщик. Он с трудом тащил

какую-то большую коробку.

– Кирия Сарафоглу?

– Да, это я, – ответила она.

– Я вам кое-что принес.

Катерина пригласила его в дом, и он пристроил коробку на стол.

– Хотите открыть? – спросил посыльный. – Это от кириоса Комниноса.

Катерина удивленно ахнула.

У нее были смешанные чувства к отцу Димитрия. Она знала, что Димитрий с ним не ладит, и часто думала, не связаны ли Ольгины страхи с тем, как муж с ней обращается. Каждый раз, когда они встречались, Комнинос был холоден и недружелюбен, и теперь Катерине было любопытно, с чего это он вдруг прислал ей подарок. Она открыла крышку коробки. В темноте блеснул черный металл, а когда Катерина сняла тонкую оберточную бумагу, то увидела знакомый витиеватый узор из цветов и листьев. Это была швейная машина зингер.

– Велено передать вам еще вот это, – сказал носильщик.

Катерина развернула записку и тут же прочитала:

*Поскольку Вы работаете дома, Вам это понадобится.*

Вдвоем они вынули зингер из коробки и поставили на стол. Машинка была очень красивая – ее собственная машинка, и Катерина видела свое отражение в сверкающем новеньком изогнутом корпусе. Она не стала даже гадать, где кириос Комнинос мог достать такую вещь во время войны.

Ее так и подмывало спросить о Димитрии. Если этот посыльный работает у Комниноса, вдруг он что-нибудь слышал? Но она удержалась, понимая, что это покажется неуместным.

Через несколько дней тот же человек от Комниноса снова появился на улице Ирины. Он принес еще одну записку и пакет с тканью.

*Дорогая Катерина, мне бы хотелось, чтобы Вы сшили из прилагаемого материала что-нибудь для кирии Комнинос. Надеюсь, Вы сможете прийти как можно скорее и снять мерки.*

Катерина почувствовала себя польщенной, но и немного занервничала. Она отправила с тем же посыльным ответную записку, в которой сообщила, что придет завтра в полдень.

Она пришла минута в минуту, с нетерпением ожидая встречи с кирией Комнинос. Павлина открыла ей дверь и проводила наверх.

Они поздоровались, Катерина выразила должную благодарность за швейную машинку и принялась за работу – стала снимать мерки.

Ольга почти сразу же спросила о Морено и пожалела, что им пришлось уехать из города.

– Надеюсь, они сумеют прижиться в таких холодных краях.

– Ну что ж, в Салониках тоже иногда очень зябко бывает, – ответила Катерина. – И снег нам тут не в диковинку, правда?

– Думаю, там много холоднее, чем в Салониках, – возразила Ольга.

Катерина рассказала, что сшила для Морено теплую одежду, и какое-то время обе молчали. После отъезда еврейской семьи в жизни Катерины образовалась огромная пустота, и Ольга хорошо понимала, что девушка потеряла соседей, работодателей и друзей. Те годы, что Ольга провела на улице Ирины, были счастливейшими в ее жизни, и она знала, что сейчас там, должно быть, очень пусто.

– Что-нибудь слышно от Димитрия? – улучив подходящий момент, спросила Катерина.

– Было одно письмо, – ответила Ольга. – Месяц назад.

– А Элиас еще с ним?

– Был с ним, когда Димитрий писал.

– А откуда пришло письмо?

– Вот уж не знаю. Марки не было.

По тону Ольгиного ответа Катерина поняла, что она не желает продолжать разговор на эту тему. Может быть, у нее и правда не было никаких сведений, а может быть, просто не хотела говорить. Так или иначе, тема была закрыта.

Мерки снимали в Ольгиной гардеробной. Двери огромного гардероба стояли открытыми, и девушка видела, что на вешалке висит целая сотня платьев. Их тут было как страниц в книге. Катерина заметила среди них то самое первое платье, которое она отделявала, и вспомнила, как целую неделю пришивала крохотные янтарные бусинки.

Новое платье ей предстояло шить из фиолетового переливчатого шелка. Ткань была с собственной комниновской шелкопрядильной фабрики, и Катерина подозревала, что Ольга ее даже и не видела. Аккуратно записывая размеры клиентки в маленький блокнотик, девушка подумала, что глубокий сине-лиловый цвет на фоне бледной кожи кирии Комнинос будет напоминать синяк.

Напротив колонки цифр она набросала фасон платья:

– По-моему, получится очень элегантно. Рукава три четверти. Может быть, кружевные манжеты? А юбка расклешенная.

– Уверена, будет очень красиво, – сказала Ольга, едва взглянув на рисунок, и улыбнулась Катерине. – Зайди на кухню к Павлине, когда будешь уходить, она тебя чем-нибудь прохладительным напоит.

– Спасибо, кирия Комнинос, – вежливо ответила девушка.

День был жаркий.

На кухне Павлина что-то рубила на кусочки. Лицо у нее было свекольно-красное.

– По мне, так не в такую бы жару это устраивать, но у кириоса Комниноса завтра опять назначен званый обед. И он хочет, чтобы все было в точности как всегда. Четыре блюда, четыре марки вина, восемь человек, в восемь часов.

– Бедная Павлина, – сказала Катерина. – Помочь чем-нибудь?

– Ну вот еще, – отозвалась служанка, улыбаясь. – Налей-ка себе лучше лимонаду вон из того кувшина, да и мне заодно, ладно?

Катерина сидела за большим столом в кухне и потягивала лимонад. Ее завораживало то, как ловко Павлина управляет с ножом, как нарезает овощи и травы то ломтиками, то полосками, то кубиками – будто машина. По мнению Катерины, этой еды хватило бы, чтобы накормить всех жителей города, которые по большей части все еще голодали.

– Даже не спрашивай, где мы все это достаем, – сказала служанка. – Не мое это дело.

Она продолжала говорить за работой – болтать Павлина могла без умолку, когда и где угодно.

– Ну так что, теперь на улице Ирени, должно быть, тихо, как в могиле?

Катерина кивнула.

– Пусто стало, – сказала она. – Там, конечно, еще много людей осталось, но без Морено как-то все не так.

– А про Элиаса что слышно?

– Наверное, все так же воюет вместе с Димитрием. Его родители, пока были здесь, ничего от него не получали. Я думала, может, кирия Комнинос знает, где они, но, кажется, нет. Это, должно быть, ужасно – не знать, где твой сын...

Павлина стала чистить картошку. Нож двигался по кругу, кожура сползала одной сплошной лентой, а потом, очистив таким же образом всю дюжину, Павлина стала ритмично нарезать картофелины ломтиками, совершенно ровными по толщине.

– Отец Димитрия не очень-то обрадовался, когда узнал, что его сын вступил в ЭЛАС, – сказала она; слова трудно было разобрать за стуком ножа.

– Ну, меня это, в общем, не удивляет, – отозвалась Катерина. – Но, может быть, теперь он будет доволен, ведь они побеждают, скоро совсем освободят страну от немцев.

– Эх, Катерина, если бы.

– Вы хотите сказать, отец им не гордится? – недоверчиво уточнила Катерина.

Павлина покачала головой:

– Я бы сказала, как раз наоборот. Он в бешенстве. ЭЛАС же коммунисты, понимаешь?

– Да не все ли равно, в какой они партии, если они воюют за нашу страну?

– Тсс! – прошептала Павлина и прижала палец к губам. – Как бы кириос Комнинос не вернулся. Он совсем иначе на это смотрит.

Павлина, которая умела двигаться по дому, как тень, за эти годы тысячу раз слышала разговоры между Ольгой и Константиносом. Она всегда держала это при себе, но ее возмущало то, как хозяин относится к своему сыну. Иногда слова, что он бросал Ольге, были просто ядовито-злобными.

– Кириос Комнинос считает, что его сын живет в горах, как крестьянин какой-нибудь, – сказала Павлина.

Катерина еще не совсем отошла от удивления. Она-то считала, что Димитрий с Элиасом делают героическое дело.

– Для него это классовая борьба, – объяснила Павлина. – И его сын на стороне врага.

Катерина задумалась, глядя, как служанка помешивает в кастрюле.

– Я же слышу, что они говорят, – продолжала та, – когда приходят обедать. Еле сдерживаюсь, чтобы не вылить им суп за шиворот. И кирия Комнинос то же самое чувствует, я-то знаю. Сидит вся... застывшая. – Павлина изобразила прямую неподвижную фигуру хозяйки. – Я же вижу, она этих гостей ненавидит. Ну, бывает, с кем-то приходят жены, которым, кажется, точно так же не по себе. Но чаще всего она сидит там вся несчастная и одинокая.

– А кого они приглашают?

– Фабрикантов – они еще жалуются, что их склады грабят бойцы Сопротивления, – да банкиров – те все ноют об инфляции. В общем-то, они все только и делают, что ругают ЭЛАС. На прошлой неделе один говорил, будто они требовали с него денег «за защиту».

– Выходит, эти люди рады, что нас оккупировали? Им и при немцах неплохо?

– Одно могу сказать: хоть они и жалуются без конца, некоторые еще

никогда так сладко не жили. Чего-чего, а денег у них хватает. А когда приходят немецкие офицеры, заметно, что и в друзьях на самом верху у них недостатка нет.

– Немецкие офицеры! Не может быть!

– Говори потише, Катерина, – прошептала Павлина. – А бывает, и высшие чины из жандармов.

Девушка была потрясена.

– Но как вы можете для них готовить?

– Мне выбирать особенно не приходится, – ответила Павлина. – Я это делаю ради Ольги. Правда, она все равно почти ничего не ест, но я знаю, что нужна ей.

– Теперь я начинаю понимать, почему кириосу Комниносу не нравится то, что делает Димитрий.

До Павлины даже дошел слух, будто ее хозяин финансирует войска коллаборационистов, но этим она не стала делиться с Катериной. Не стала и рассказывать модистре, с каким презрением говорят жены некоторых гостей о женщинах из ЭЛАС, которые сражаются вместе с мужчинами, как равные.

– Как вы думаете, там опасно, где они сейчас? – спросила Катерина. – Димитрий и Элиас.

– Ох, голубушка, не знаю я, – пессимистично вздохнула Павлина. – Письма так долго идут – даже если Димитрий и напишет, что жив-здоров, так пока весточка дойдет – кто его знает, что успеет случиться.

Катерина допила лимонад и встала. Ольгино платье нужно было дошить к концу недели, значит пора приниматься за работу. По крайней мере, теперь у нее есть отличный повод бывать на улице Ники. Павлина ей первая скажет, если будут какие-нибудь новости о Димитрии.

Через несколько дней она зашла снова. Новое платье было уже сметано, и пришла пора первой примерки.

Павлина, казалось, как никогда была рада посудачить.

– Ужас какой-то – все эти, что собрались в субботу, – сказала она. – Неудивительно, что в нашей стране женщинам не дают голосовать. Такие дурищи и имя-то свое написать бы не сумели.

Катерина рассмеялась. Платьем можно было пока заняться прямо тут, так что сегодня она домой не торопилась.

Павлина вдруг посерьезнела.

– Рассказать тебе, о чем они тут говорили? – спросила она.

На этот вопрос можно было и не отвечать.

– Ну, в общем, было много разговоров про то, что творят



коммунисты, – начала служанка, – особенно там, в горах. Мол, если их там не привечают, так они захватывают деревню, отбирают всю еду и устраивают самосуды. По крайней мере, так эти гости говорили.

– Но они же освобождают Грецию? Разве не этого мы все хотим?

– Ну, мы-то с тобой – пожалуй, а вот гости здешние по большей части другого мнения, – объяснила Павлина.

Ольга вошла в кухню, где за большим столом сидели две женщины. Павлина чистила столовое серебро, а Катерина старательно заканчивала французский шов. Увидев Ольгу, обе механически вскочили.

Дверь все это время была приоткрыта, и Ольгины слова подтвердили, что она слышала конец их разговора.

– Не все считают ЭЛАС спасителями Греции, – сказала она. – Некоторые так настроены против коммунистов, что готовы встать на сторону немцев.

Катерина с Павлиной переглянулись, а затем перевели взгляды на Ольгу.

– Не могла бы ты принести наверх чая с мятой, Павлина?

– Конечно, – откликнулась Павлина. – Чайник как раз только что закипел.

Катерина подождала, пока не послышались Ольгины шаги на лестнице, и заговорила снова.

– Так странно, должно быть, слушать все эти истории про коммунистов, – проговорила она, – когда знаешь, что твой сын тоже с ними.

– По-моему, кириос Комнинос даже самому себе не хочет признаваться, что его сын воюет в ЭЛАС, – сказала Павлина, – так что ему-то ничуть не странно. А Ольга все время молчит. Никто и не замечает, что ей не по себе.

– С ними ведь что угодно может случиться там, в горах.

– Одному Богу известно. Я только молюсь, чтобы он сохранил Димитрия. Это все, что мы можем сделать.

– А вы не помолитесь еще и за Элиаса?

Шли месяцы, Константинос Комнинос все так же регулярно приглашал других бизнесменов на обеды. Им сейчас нужна была взаимная поддержка. Те, кто преуспевал во время оккупации, были целиком обязаны этим своему содействию захватчикам, и теперь они начали финансировать греческие охранные батальоны, которые помогали защищать города от отрядов Сопротивления.

Случалось, что в Салониках убивали жандармов и полицейских, и на коммунистов началась настоящая охота. Объединенные усилия оккупационных войск, охранных батальонов и жандармов обычно приводили к успеху.

Все это время Константинос продолжал регулярно заказывать новые платья для жены, а это означало, что Катерина оставалась частой гостьей в доме, и Ольга нередко приглашала швею посидеть с ней в гостиной. Ей нравилось смотреть, как модистра работает, а та иногда спрашивала, как лучше украсить платье. Ольга так привыкла соглашаться на все, что ей предлагали, что иной раз затруднялась с ответом.

– По-моему, ты сама лучше выберешь, – говорила она, улыбаясь Катерине.

Иногда женщина тоже пыталась что-то вышивать, но лишь для того, чтобы убить время. У нее не было способностей к этому делу. Однако каждый стежок означал одну секунду, еще на миг приближающую возвращение сына. Во всяком случае, так она надеялась.

Собираясь уходить, Катерина каждый раз заглядывала на кухню к Павлине.

– Я уже, кажется, и правда не могу больше для этих людей готовить, – сказала однажды пожилая служанка. – Когда подаю, слушаю, что они говорят, – и так противно делается. Им, похоже, нравится, что греки теперь воюют против греков.

– Вы, наверно, все-таки преувеличиваете? – спросила Катерина.

– Ничего я не преувеличиваю. Такие и на медвежьи бои пошли бы посмотреть.

– По-моему, у нас все равно нет выбора, Павлина. Чем бы мы ни зарабатывали на жизнь – скорее всего, это грязные деньги. Я получаю плату от богачей. А сейчас, кажется, нельзя быть богатым и честным одновременно. Остается только с голоду умирать.

Павлина хлопотала на кухне, вся красная от жары и злости.

– Мне пора домой, – сказала Катерина. – Кое-что тут надо на машинке прошить. Кирия Комнинос еще похудела и хочет, чтобы я ей до выходных два платья ушила.

Ситуация в Европе начинала меняться. В это лето немцы стали терять контроль над оккупированными территориями, и в июне союзники высадились в Нормандии. В августе освободили Париж, и немцы оставили Францию. Теперь, когда Красная армия наступала и приближалась уже к Болгарии, немцы понимали, что есть риск оказаться в Греции

отрезанными от своих, и через несколько дней приняли решение отходить.

То, что казалось невозможным, свершилось. Нацистов победили, и до освобождения было рукой подать.

Однажды, перед самым уходом немцев из Салоников, Катерина сидела в Ольгиной гардеробной, аккуратно подкалывая подол. За время войны мода изменилась, а значит, большая часть Ольгиных нарядов нуждалась в переделке. Потом Ольга сняла платье, которое Катерина подкалывала, надела повседневное и ушла к себе в спальню. Катерина осталась – нужно было сложить платье и нести его домой на переделку.

Почти сразу же она услышала Ольгин крик.

Катерина вбежала в спальню и с изумлением увидела, что Ольгу обнимает какой-то мужчина. Если бы это был ее муж, и то было бы удивительно. Но это был не он.

Катерина не знала, что делать, и замерла в нерешительности, широко распахнув глаза и открыв рот.

Ольга уткнулась лицом в плечо мужчины, а он – в ее, и так они стояли, отгородившись объятиями от всего мира, неподвижностью сплетенных фигур напоминая Катерине классические скульптуры, что украшали прихожую.

Самым разумным было бы убежать обратно в гардеробную, и девушка уже хотела повернуться и уйти, но тут они наконец выпустили друг друга из объятий. Катерина смутилась еще больше.

В следующие полторы секунды она заметила разительный контраст между Ольгиной аристократической бледностью и диким видом мужчины. Даже на расстоянии в несколько метров чувствовался непривычный запах, который он принес с собой в комнату. Какой-то звериный.

Ольга вдруг вспомнила, что Катерина здесь, и повернулась к ней. На Ольгином лице была такая улыбка, какой модистра у нее никогда не видела, и, освещенное радостью, это лицо стало почти неузнаваемым.

– Видишь! – сказала она, крепко держа мужчину за руку, словно не в состоянии ее выпустить. – Он вернулся!

Катерина почувствовала, что густо краснеет. Волей-неволей ей пришлось взглянуть на незнакомца, которого она только что застала в объятиях замужней женщины. Он был бородатый, загорелый дочерна, с коротко стриженными волосами и гораздо моложе кирии Комнинос.

Катерина вдруг поняла, что смотрит в знакомые карие глаза.

– Катерина! – сказал мужчина.

Она знала этот голос. Голос Димитрия.

Катерина едва не задохнулась:

– Мать Божья! Димитрий!

Почти бессознательно Катерина протянула руку и коснулась его лица. Ей хотелось убедиться, что это не видение.

Он в ответ взял ее ладонь в свою, и с минуту все трое так и стояли, держась за руки.

Улыбка у Катерины стала еще шире, чем у матери Димитрия.

– Глазам не верю, что ты здесь, – сказала она. – Я так рада тебя видеть.

Он улыбнулся ей и заглянул в ее сияющие глаза.

– Я тоже рад тебя видеть, Катерина. Я очень по тебе скучал.

Он не отрывал взгляда от ее глаз.

– Димитрий, – сказала Ольга, – ты же знаешь, мы должны быть осторожными. Твой отец может прийти...

– И понятно, что он мне не обрадуется, – сказал Димитрий. – Сколько у меня времени? Успею чего-нибудь поесть перед уходом?

– Идем на кухню, – сказала Ольга таким энергичным голосом, какого Катерина у нее никогда не слышала. – Твой отец обычно приходит поздно, но лучше держать ухо востро. А Павлина знает, что ты здесь?

– Да, она мне дверь открыла. Ты бы видела ее лицо, мама. Она даже сильнее оторопела, чем ты!

Смеясь, они все пошли вниз, на кухню. Димитрий шел в центре и, к удивлению Катерины, так и не выпустил ее руку.

Девушка попыталась выдумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти, но Ольга настойчиво попросила ее остаться. Долго уговаривать не пришлось.

Пока Димитрий, тарелка за тарелкой, уничтожал тефтели, перцы, вареные баклажаны, фаршированные виноградные листья, картошку и, наконец, целое блюдо сладких булочек, три женщины сидели и смотрели на него с обожанием.

Потом начались расспросы. Где Элиас, все еще с ним? Где они были? В каких операциях участвовали? Чего ждать теперь?

– Мы с Элиасом теперь в разных частях, – отвечал Димитрий. – Я его уже давно не видел. Честно говоря, даже понятия не имею, где он сейчас.

– А ты знаешь, что все евреи уехали?

– Слышал, – сказал Димитрий с сожалением. – Если он вернется и узнает об этом, то, наверное, поедет к ним.

– Мы часто бываем у них в доме, – сказала Катерина. – Все там убрали, после того как его ограбили, и стараемся содержать в порядке. Мы с Евгенией оставили там записку для него на случай, если он вернется, а нас не будет дома. Это будет для него большая неожиданность.

– А как думаешь, они не собираются возвращаться?

– Трудно сказать, – ответила Катерина. – Все их предприятия так и стоят закрытые. Но это, скорее всего, ненадолго.

– В каком смысле?

– Один из деловых партнеров твоего отца уже положил на них глаз, – пояснила Ольга. – Один из тех, что приходили к нам обедать недавно.

– А если Морено все-таки вернется? – спросила Катерина с ноткой возмущения.

– Должно быть, компенсацию получают, – вклинулась Павлина.

– В общем, у этого человека уже есть швейные предприятия и здесь, и в Верии, и в Ларисе, – продолжала Ольга. – А после войны он хочет расширить свой бизнес в Салониках. Но лучше расскажи, что ты делал все это время, Димитрий...

– Одно я уже знаю о твоей жизни в горах, – весело перебила Павлина. – Поест там толком было нечего!

Она была вне себя от радости, видя, что Димитрий сидит за столом и ест то, что она наготовила.

Димитрий улыбнулся, чтобы доставить ей удовольствие, но эта улыбка тут же пропала.

– Правду сказать, там было просто ужасно, – сказал он. – Словами не передать насколько.

Все три женщины умолкли. Даже Павлина перестала суетиться и сидела непривычно тихо.

– Сначала мы раздавали продукты тем, у кого ничего не было, грабили немцев, отнимали у них еду, которую они украли у нас же, и отдавали нуждающимся. Тогда мы еще работали все вместе. Сообща. У нас был общий враг. Те, кто говорит по-немецки. Все было просто.

Женщины молчали, пока Димитрий собирался с мыслями.

– Так странно было, что нас ненавидят, когда мы считали, что воюем за правое дело, – сказал наконец он. – А некоторые нас ненавидели еще больше, чем немцев, потому что немцы ссылались на нас, как на предлог, чтобы изыматься над людьми. Уничтожали целые деревни, если подозревали, что там кто-то давал еду или кров партизанам. Встречались в горах даже люди с немецким оружием – и они нападали на нас!

– Мир сошел с ума! – сказала Павлина, качая головой.

– Я изо всех сил пытался не запачкать рук, – продолжал он. – Но это было не всегда возможно. Там кровь. Реки крови.

– Постарайся пока не думать об этом, – сказала Ольга, ласково поглаживая его по плечу.

– Люди вроде моего отца считают ЭЛАС бандитами, но я надеюсь, когда-нибудь они поймут, за какие идеалы мы сражаемся.

– Я тоже надеюсь, – поддержала мать.

Димитрий совсем обессилел. Это было видно по его ввалившимся щекам, слышалось в усталом голосе. Иногда в глазах у него блестели слезы, когда он вспоминал, чему был свидетелем.

– Поступил приказ ехать в Афины, так что я сейчас направляюсь туда, – сказал он.

– Что?! – воскликнула мать. – Нельзя же так скоро!

– Тебе нужно хорошенько отдохнуть, – добавила Павлина.

Катерина молчала. Павлина была права.

– Но у нас есть еще дела. Не менее важные, – возразил Димитрий.

Три женщины выслушали его объяснения. Главная цель ЭЛАС – освободить страну от войск гитлеровцев – была практически достигнута. Теперь перед ними стояла новая задача: добиться того, чтобы левые партии были достойно представлены в парламенте.

– С какой стати те, кто сотрудничал с немцами, будут теперь управлять страной? – возмутился Димитрий.

Ольга покачала головой:

– Так не должно быть, я понимаю.

– Вот поэтому мне и надо ехать. Доведу дело до конца – и сразу обратно, обещаю.

Говоря это, он смотрел на Катерину.

Димитрий ушел задолго до возвращения отца. Всем было грустно с ним расставаться, но утешала мысль, что он, возможно, скоро вернется.

Может быть, это и было всего лишь проявление братской любви, и все же Катерина без конца прокручивала в голове воспоминание о том, как Димитрий держал ее за руку. Ощущение его загрубевших пальцев, глядящих ее ладонь, длилось не больше минуты, но она никак не могла забыть об этой ласке. Никогда раньше девушка такого не испытывала. Она чувствовала, что от его прикосновения делается слабой и в то же время сильной, и никак не могла в этом разобраться, но одно знала точно: ее сердце пело от радости, что он жив.

## Глава 22

Долгожданный уход немцев из Салоников стал реальностью в конце октября. И левые, и правые были рады от них избавиться, однако праздновать победу было трудно. Уходя из Греции, немцы разоряли все на своем пути, и когда они наконец пересекли границу, очень немногие шоссе, мосты и железные дороги остались в рабочем состоянии.

За три года оккупации из страны вывезли топливо, продукты, скот, медикаменты, строительные материалы. Греция скатилась в полную нищету, ее инфраструктура была разрушена. Только те, кто скрупулезно заботился о собственных интересах или выискивал возможность нажиться на чужой бедности, могли с надеждой смотреть в будущее, остальным же было недоступно даже самое необходимое. Осенью разразилась гиперинфляция, хлеб, который перед войной стоил десять драхм за килограмм, теперь продавали за тридцать четыре миллиона. Немцы проиграли войну, греки проиграли все остальное.

В один из холодных осенних дней, вскоре после того как последний немец оставил Салоники, Евгения с Катериной вышли пройтись по окрестным улицам.

– Надо же отметить первые дни свободы, – сказала Евгения. – Давненько мы не гуляли.

Они пошли к морю. Носы полузатонувших кораблей торчали из воды, как плавники акул. Многие находились здесь уже почти два года и быстро ржавели – жалкие останки когда-то могучего торгового флота. Порт опустел, и на огромной верфи, прежде такой шумной и оживленной, было пугающе тихо.

– Ты уже, наверное, не помнишь...

Они стояли возле здания таможни, и оно пробудило у Катерины какое-то смутное воспоминание. Дом уже лет двадцать не белили, и все те же огромные часы на фасаде, как ни странно, до сих пор шли.

– Кажется, кое-что помню. Мы тут стояли целую вечность... в какой-то очереди, что ли?

– Да, верно, – улыбнулась Евгения.

– А людей было много-много. Вот это мне хорошо запомнилось. И женщина в белом.

Нынешняя пустота так резко контрастировала с тем, что им

вспомнилось, что обе женщины отвернулись. Евгения вздрогнула. Ветер с моря насквозь продувал пустую вымощенную площадку. В воздухе кружилось несколько клочков мусора.

– Это ты вспомнила женщину из Комиссии по расселению беженцев, – сказала Евгения. – Это она нашла нам дом.

– Мы все были такие грязные, а она такая чистая! Ясно помню. Я еще подумала – должно быть, она фея.

Они двинулись дальше, и им было немного не по себе – трудно было забыть постоянный страх, что тебя вот-вот хлопнут по плечу и потребуют паспорт. Хотя немцев уже не было, тревога и скованность остались.

Они пошли кружным путем на восток, к Белой башне. Виднеющиеся вдалеке арка Галерия и древняя Ротонда напомнили о том, что исторические памятники города сохранились в неприкосновенности, словно в знак особого уважения к ним немцев. А вот обычные жилые районы сильно пострадали от оккупации. Маленькие улочки с заколоченными витринами магазинов, разрушенными домами и оскверненными синагогами стали ее жертвами. Пожар 1917 года оставил после себя шрамы, которые сохранились кое-где до сих пор, но в целом город еще никогда не выглядел таким запущенным, как сейчас. В некоторых кварталах царило ощущение мертвой пустоты, и шаги звучали пугающе гулко.

Даже в населенных районах люди уже привыкли сидеть по домам, и осенняя прохлада не вернула к жизни старую привычку выставлять кресла на крыльцо.

Они шли и разговаривали, иногда замечая по пути кафенио, где мужчины пили и играли в тавли, совсем как до войны, и такие признаки нормальной жизни как-то успокаивали.

Наконец они дошли до улицы, которая была Катерине так же знакома, как и улица Ирины, – улица Филиппу, где стояла мастерская «Морено и сыновья».

Евгения почувствовала, как Катерина стиснула ее руку. Доски, которыми были заколочены окна и двери, сняли, все надписи и коряво намалеванные звезды Давида, осквернявшие стены, оттерли. Люди вносили и выносили какие-то коробки, внутри слышался шум работ.

Катерина заметила кое-что еще. На здании уже не было вывески. И дверь перекрасили. Изумрудно-зеленый, который всегда предпочитал кириос Морено (ему хотелось, чтобы дверь сочеталась по цвету с фургоном для доставки, которым он так гордился), сменился кроваво-красным.



Несколько минут они стояли и смотрели.

– Скоро снова откроют, – сказала Катерина с ноткой растерянности в голосе.

Смотреть на это было невыносимо, и они молча поспешили к себе, на улицу Ирины.

На следующий день все население города собралось на площади Аристотелус, чтобы официально отпраздновать освобождение от немцев. Кафе, в которых четыре лета подряд не жили на солнце вражеские солдаты, снова были заполнены греками.

Только одного жителя города не утратили за время оккупации – стойкости. Их чудесный город, такой многообразный, с такой богатой историей, пережил за последние десятилетия много бедствий, и снова перед ними стояла задача – сделать его еще лучше, чем был.

За месяц до ухода немцев было подписано соглашение между различными фракциями и противоборствующими кругами, как правыми, так и левыми. В договоре, известном как Казертское соглашение, лидеры Сопротивления обязались, как только немцы уйдут с их земли, запретить своим бойцам самосуд. Было учреждено Правительство национального единства, и, в полном соответствии с условиями соглашения, коммунисты не делали попыток захватить власть.

Глава правого крыла армии даже побывал в Лондоне, где заверил британцев, что будет работать совместно с коммунистами, чтобы обеспечить демократическое развитие страны. Мирный переход выглядел обнадеживающе.

Как-то под вечер Катерина зашла к Комниносам, чтобы отдать пальто, которое чинила для Павлины. В прихожей она увидела кирию Комнинос.

– Увы, никаких вестей, – сказала Ольга, не дожидаясь вопроса. – Ему трудно послать письмо.

Всего несколько недель прошло с тех пор, как они сидели, окружив Димитрия, на кухне, но Катерина уже обнаружила, что мысли о нем не выходят у нее из головы.

– Он скоро вернется, я уверена, – сказала она, стараясь не показать, что тоже тревожится.

– Мне кажется, они с отцом могли бы как-то помириться, если бы он вернулся, когда немцы ушли, – с сожалением сказала Ольга, – но теперь-то отец, наверное, понимает, что Димитрий твердо стоит за свои убеждения.

– Это правда, мы же с вами знаем?

– Да, Катерина. Но мне так страшно, – призналась Ольга. – Мы думали, что война окончена, а теперь ходят слухи, что готовятся новые бои. Кириос

Комнинос говорит, что левые выдвигают свои требования, и правительство не должно идти на уступки.

В голосе Ольги слышалось разочарование, которое разделяли в эти дни многие. Стремительно надвигалась зима, и теперь, когда ночи стали длиннее, всех накрыло пеленой пессимизма.

Ольга скрылась наверху, а Катерина пошла на кухню.

– Вот, Павлина, – сказала она. – Надеюсь, вам понравится.

Она протянула ей зеленое пальто. На вид оно было почти как новое. Взяв лоскуты из шкатулки, все еще стоявшей в доме Морено, девушка обтянула старые пуговицы ярко-красным бархатом, а воротник и манжеты отделала каймой из того же материала. В довершение пришила новую подкладку из старого платья в цветочек.

Павлина, которая мыла посуду, поспешно вытерла руки и взяла пальто у Катерины. Надела и медленно покружилась на месте, чтобы показаться со всех сторон. Поскольку у Павлины не было недостатка в хорошей еде, она оставалась довольно полной даже в тяжелые времена.

– Как новенькое! – воскликнула она. – Даже лучше! Какая же ты умничка! Спасибо тебе большое. Теперь буду ждать зимы с радостью!

Тут Катерина кое-что вспомнила. Ей нужен был Павлинин совет.

– Я сегодня письмо получила. Может, скажете, что об этом думаете?

Она достала конверт из кармана и протянула Павлине.

Павлина стала читать вслух:

– «Уважаемая кирия Сарафоглу, я слышал из достоверных источников, что Вы превосходная модистра. У меня имеется несколько вакансий на новом предприятии в Салониках, и я хотел бы, чтобы Вы пришли на собеседование в пятницу утром, в десять часов».

– Что ж, хорошо. Тебе уже пора вернуться на работу. – Служанка вернула письмо и лукаво добавила: – Будешь дома работать, так ни с кем и не познакомишься...

В эти годы столько молодых мужчин ушло на войну, что в городе остались тысячи девушек, которые при других обстоятельствах уже вышли бы замуж. Теперь же, когда мужчины стали возвращаться, Павлина считала, что Катерине самое время найти, как она выражалась, подходящего молодого человека.

– Но разве вы не узнаете адрес? – сказала Катерина с ноткой раздражения. – Это же мастерская Морено! – Она снова протянула письмо Павлине, и та взгляделась. – Я как-то проходила мимо с Евгенией. Там было полно народу, ее перекрашивали и делали ремонт.

– Да и фамилия... Тоже знакомая. Григорис Гургурис много раз здесь

бывал за последние годы. У них с кириосом Комниносом явно много общих дел.

– Но Морено же вернутся, и...

– Им выплатят компенсацию, Катерина, – сказала Павлина. – Не волнуйся. Не могут же власти допустить, чтобы все эти предприятия простаивали! Нужно поднимать город!

Катерина задумчиво разглядывала письмо.

– А если они вернутся и получают свою мастерскую назад, то только рады будут, когда увидят, что ты там уже работаешь! – прибавила старая служанка.

Катерина не могла не оценить здравую и четкую логику Павлины.

– Что ж, на жизнь чем-то надо зарабатывать, – сказала она. – Кириос Морено наверняка бы это понял.

Через несколько дней Катерина пришла на собеседование. В комнате сидели еще полсотни женщин и ждали, когда их позовут, а пока каждой выдали кусок полотна, на котором они должны были продемонстрировать пять вышивальных швов, пять способов обработки кромки и петлю столбиком.

Всех по одной вызывали в кабинет для собеседования. Катерина прождала своей очереди два часа.

Человек, сидевший за столом, был в три раза больше прежнего миниатюрного хозяина. Катерина подала ему свой образец и отметила его большие руки с пухлыми пальцами.

– Хм, отлично, отлично, – сказал хозяин, пристально рассмотрев вышивку. – Я вижу, ваша репутация вполне заслуженна, кирия Сарафоглу.

Катерина промолчала.

– Я видел вашу работу, – продолжил он, только теперь подняв на нее глаза. – Это же вы шьете платья для жены Константиноса Комниноса, верно? Она превосходная манекенщица!

Катерина заметила под его седыми усами желтые зубы, а глаза на круглом, как луна, лице почти пропадали, когда он улыбался, как сейчас.

– Дети и то, бывает, лучше шьют, чем некоторые из этих женщин, – устало сказал он. – А вот это хорошо. Вот это я и надеялся увидеть.

Катерина попыталась улыбнуться. Ей казалось, именно этого от нее ждут в ответ на то, что следовало принять как комплимент.

– У меня строгие требования к модистрам, так что не ждите, что можно будет весь день сидеть и болтать. В моей мастерской двенадцатичасовой рабочий день, на обед отводится полчаса. В субботу сокращенный день.

Воскресенье – выходной. И если заказчик требует что-то закончить, значит это должно быть закончено. Именно так я заработал свою репутацию в Верии и Ларисе, и здесь скоро будет то же самое. Поэтому-то я и считаюсь лучшим портным в городе. Сами увидите, что написано на моих фургонах: «Доставим заказ в назначенный час!»

Хозяин кашлянул, словно для того, чтобы поставить точку в своей речи. Он повторял ее уже в тысячный раз, и все эти трюизмы и лозунги один за другим отскакивали у него от зубов и не требовали ответа. Катерина поняла, что она принята на работу.

– В понедельник. В восемь часов. Всего хорошего, кирия Сарафоглу. – Он улыбнулся, и Катерина догадалась: это знак, что ей пора уходить.

За дверью она увидела очередь претенденток, которая тянулась до самого конца улицы. Еще не меньше двух сотен женщин ждали, когда их пригласят, и Катерина поняла, что ей повезло.

При виде светящейся вывески над дверью «Григорис Гургурис» ей сделалось не по себе, но сейчас, когда от голода сосало под ложечкой, выбирать не приходилось.

Компания официально открылась на следующей неделе. Швей набрали местных, за исключением одной, которую Григорис Гургурис привез из Афин. Ее он поставил главной в отделочном цеху, и она поглядывала на других женщин с явным снисходительным превосходством.

Гургурис привез и нескольких портных из Верии и Ларисы, но большинству новеньких не доставало, по его мнению, опыта и мастерства. Среди лучших портных многие были евреями, и с их отъездом в городе образовалась огромная нехватка квалифицированных работников. Много времени должно было пройти, прежде чем марка Григориса Гургуриса станет таким же знаком качества, каким было имя Морено.

Григорис Гургурис сам заходил в цеха по несколько раз в день, чтобы проверить, как женщины работают, хотя им такое пристальное внимание казалось излишним. Насколько они успели заметить, сам хозяин и два куска ткани не сумел бы ровно сшить. Как только он выходил из комнаты, девушки принимались сплетничать, строя предположения, почему он так долго стоит за спиной у какой-нибудь швеи. Через несколько недель главной мишенью для шуток стала Катерина.

– Только и слышно: Катерина то, Катерина се, – нараспев говорили швеи. – Посмотрите на ее челночный стежок! Посмотрите на ее рюши! Посмотрите на ее кайму!

Они были правы. Теперь уже было очевидно, что самый большой

интерес Гургурис питает именно к Катерине. Она стала узнавать крепкий запах чеснока, который обычно служил предупреждением, что хозяин приближается, неторопливо вышагивая вдоль ряда швей, глядя на их работу, прежде чем остановиться, склониться над ней несколько ближе, чем необходимо, и начать расспрашивать, над чем она сейчас работает.

Катерина всегда отвечала на его вопросы точно и вежливо, задерживая дыхание, чтобы не так сильно ощущать запах из его рта. Он искренне и многословно расхваливал ее работу, и когда ее отправили к Ольге Комнинос, которой нужно было что-то ушить, оказалось, что он успел высказать свое мнение о ней и там, за обеденным столом.

– Ты на него произвела большое впечатление, – говорила Ольга Катеринину отражению, пока та застегивала на ней платье перед большим зеркалом. – Он был здесь в субботу и все рассказывал, в каком он восторге от твоей работы. Очевидно, он тебя отличает среди других.

Катерина ничего не сказала. Ей было неудобно, что хозяин постоянно обращает на нее внимание, неловко, что он так выделяет ее, и девушка то и дело трогала мати, висевший на цепочке, – оберег «дурной глаз», который, как считалось, предохранял от чужой зависти.

Пока Салоники понемногу возвращались к нормальной жизни, в Афинах стремительно разворачивались грозные события. Жители города читали газеты и знали: что бы ни произошло в столице, последствия скажутся и на них самым серьезным образом.

Премьер-министр Георгиос Папандреу не особенно стремился разыскивать и наказывать тех, кто сотрудничал с немцами, зато, казалось, был крайне заинтересован в окончательной демобилизации войск, принадлежавших к левому крылу. У левых это вызывало недовольство и подозрения, и третьего октября они организовали демонстрацию. Тысячи людей собрались на площади Синтагма в центре Афин, и полиция открыла по толпе ничем не спровоцированный огонь. В последовавшей за этим давке погибло шестнадцать демонстрантов, и на улицах вспыхнули открытые столкновения между полицией, британскими войсками и бойцами ЭЛАС. Через несколько дней левые начали преследовать тех, о чьем коллаборационистском прошлом было хорошо известно.

ЭЛАС захватила отделения полиции и тюрьму, однако недооценила силу противников, которые чаще всего были хорошо организованы и вооружены. Примерно через неделю прибыло массированное подкрепление, ЭЛАС пришлось сражаться с британцами и отступить.

К началу января ЭЛАС в беспорядке покинула столицу, потеряв до трех

тысяч бойцов. Еще семь с половиной тысяч были взяты в плен. Правые силы тоже потеряли больше трех тысяч, не считая множества пленных. В эти недели Афины стали полем сражения.

– Так вот чего хотел твой сын! – кричал жене Константинос. – И чего же он добился?

– Там был не только он, – резонно отвечала Ольга. – Почему ты всегда так говоришь, как будто это он во всем виноват? Он ведь там, наверное, не один.

– Ну, кроме него, я других коммунистов не знаю!

Как обычно, Ольге оставалось только закусить губу. Она не хотела думать о сыне как о коммунисте и считала, что он борется за демократию и справедливость. Но с мужем никогда не спорила. Хватит и одной гражданской войны.

Между тем и в Салониках уже становилось все голоднее. Опять стали пропадать обувь, одежда и медикаменты. Многие приписывали это действиям ЭЛАС и ополчались на них каждый раз, когда голод усиливался. Комнинос был одним из тысяч, выступавших против ЭЛАС. Теперь, когда правые газеты изо дня в день публиковали фотографии ее жертв, когда ходили слухи о массовых захоронениях и зверских убийствах, многие не считали для себя возможным поддерживать людей, казнивших врагов из соображений личной мести.

Наконец ЭЛАС взяла в заложники тысячи мирных людей в Афинах и Салониках. Большинство из них принадлежали к буржуазии – государственные служащие, армейские чиновники и полицейские. Им пришлось делать долгие переходы в суровые холода, без теплой одежды и обуви. Многие замерзли насмерть. Зверскую жестокость этой акции живописали все газеты.

– Он, по-видимому, ничуть не сомневается, что его сын способен на такое, – жаловалась Павлине Ольга. – Как может родной отец думать о сыне самое худшее? Он считает, если ты коммунист, значит уже автоматически убийца.

– И можно подумать, на другой стороне все сплошь ангелы небесные! – отвечала Павлина. – Я уже наслушалась рассказов о том, что они творили, – там тоже хорошего мало.

Служанка была права. Крайнюю жестокость проявили обе стороны, и все же левые потеряли поддержку даже в тех областях, которые они освободили от немцев. Люди в большинстве своем были сыты войной по горло, они жаждали мира и считали, что именно левые мешают его установлению.

В феврале 1945 года уже казалось, что их желание вот-вот исполнится. В Варкизском соглашении ЭЛАС обязалась сдать оружие в обмен на амнистию политическим преступникам и референдум по поводу Конституции. Какое-то время Ольга и Катерина наивно воображали, что Димитрий вот-вот вернется и помирится с отцом.

Однако вскоре оказалось, что это соглашение ничего не стоило. Правые батальоны смерти и вооруженные формирования открыли беспощадную охоту на коммунистов, и начался настоящий террор против тех, кто сражался на стороне левых.

Эти события были, разумеется, главной темой бесед за обеденным столом Комниносов на очередном званом вечере. Торговцы и бизнесмены Салоникиев хотели одного: чтобы можно было снова нормально вести дела и чтобы политические дразги не снижали им прибыли.

Павлина хлопотала на кухне, ожидая, когда можно будет зайти в столовую и убрать со стола после главного блюда. Как только беседа становилась громче, чем стук ножей и вилок, она понимала, что все уже доели и пора подавать следующее блюдо.

За работой она мурлыкала что-то себе под нос и то и дело отступала на шаг, чтобы полюбоваться результатом своих усилий.

Ее гордостью были неповторимые земляничные пироги: сочные консервированные ягоды под слоем патоки, а в самом низу – скрытый от глаз шоколадный крем. Она знала, какой это будет сюрприз для гостей, когда они проткнут пирог вилками и обнаружат под красной мякотью что-то еще. Служанка посыпала пироги сахарной пудрой и поставила на сервировочный столик, уже собираясь подавать.

И в этот самый миг раздался звонок в дверь. Опоздавших гостей сегодня не было, и вообще странно звонить дверь в половине одиннадцатого вечера. Павлина положила ситечко и подошла к двери. Она знала: если Ольга услышит звонок, то подумает о том же самом. Димитрий? Каждую минуту они ждали его возвращения, но к этому ожиданию все время примешивался страх перед тем, что будет дальше.

Она осторожно открыла дверь и выглянула на слабо освещенную улицу.

– Павлина! – прошептал чей-то голос из тени. – Это я.

## Глава 23

Павлина вышла на крыльцо и тихо спросила:

– Кто – я? – Она уже поняла, что это не Димитрий, – в голосе слышался акцент.

– Я, Элиас.

Секунду поколебавшись, Павлина нащупала его руку в темноте и легонько потянула к себе, на свет.

– Заходи в дом! – прошептала она. – Заходи же!

Худая фигура, еле волоча ноги, прошла за ней в дверь, а затем на кухню.

– Посиди минутку, – сказала Павлина, глядя на него, бледного и изможденного. – Боже мой, ну и вид у тебя. Хуже, чем у Димитрия, когда мы его видели в последний раз.

Элиас поднял на Павлину темные ввалившиеся глаза. Все черты резко обострились на его похудевшем лице. Было в нем что-то нечеловеческое.

– Вижу уже, что тебя надо накормить, – проговорила старая служанка, не прекращая суетиться и хлопотать. – погоди только минутку, я схожу со стола уберу и десерт подам.

Не прошло и нескольких минут, как Павлина вернулась на кухню. Бледная бесплотная тень молча вошла за ней и осторожно закрыла дверь.

– Здравствуйте, кирия Комнинос, – вежливо сказал Элиас и поднялся.

– Элиас! Прошло столько времени...

Она подошла и хотела взять его за руки, но он инстинктивно отпрянул – слишком хорошо помнил, как давно их не мыл.

Они уселись вокруг стола. Грязная, пропитанная потом рубашка Элиаса и Ольгино безупречное кремовое платье могли служить безошибочным знаком их принадлежности к разным мирам.

Женщинам хотелось задать сразу тысячу вопросов, но они понимали, что Элиасу тоже есть о чем спросить. За этим он, должно быть, и пришел. А они могут и подождать.

– Я заходил на улицу Ирины и на улицу Филиппу, – начал Элиас. – Наш дом заперт, и в нашей мастерской распоряжается кто-то другой. Где же?..

Не было смысла его обманывать. Так или иначе, он скоро узнает правду.



– Твои родные уехали в Польшу, – сказала Павлина. – Уже почти два года как. Катерина с Евгенией получили от них открытку, давненько уже, а с тех пор – ничего.

О переселениях он уже слышал.

– А мастерская?

– Власти решили, что люди, видимо, уже не вернуться, и выставили все на продажу.

– Но она наша!

– Не так громко, – предупредила Павлина и приложила палец к губам.

– Вероятно, они хотели, чтобы предприятия снова заработали, – объяснила Ольга. – Но если твои родители вернуться, им наверняка выплатят компенсацию.

Элиас проглотил злые слезы:

– Но почему бы им не вернуться? Греция же больше не воюет?

Ольга с Павлиной неловко переглянулись. По городу ходили слухи о том, какая участь постигла некоторых евреев, но пока у них не было никакой информации из первых рук.

– А что с нашим домом?

За полгода партизанской войны Элиас огрубел почти до бесчувственности, но сейчас он еле удерживался от слез. Тарелка с едой, которую поставила перед ним Павлина, стояла нетронутая. Трудно было узнать в нем прежнего мягкого юношу, лучшего друга Димитрия.

– Что случилось с нашим домом? – повторил он настойчиво, почти враждебно, словно эти женщины были в чем-то виноваты. – Почему окна заколочены?

– Не знаю, Элиас, – сказала Павлина. – Должно быть, для сохранности.

Она говорила с ним протяжно, ласково, словно с маленьким ребенком, и он ответил так же по-детски капризно:

– Я хочу домой!

– Ключи у Евгении. Ее что, не было дома, когда ты заходил?

– Нет. У них было темно.

– Спала, наверное, – мягко сказала Павлина. – Они с Катериной рано ложатся. Завтра прямо с утра вместе сходим.

– Я должна вернуться в столовую, – сказала Ольга, – но сначала хочу у тебя кое-что спросить. Ты видел Димитрия?

– Уже года два не видел. Его перевели в другую часть. Я думал, может, он здесь, с вами.

Ольга смотрела на Элиаса. Теперь он торопливо, давясь, глотал стоявшую перед ним еду, и Ольга вспомнила, как Димитрий в их

последнюю встречу сидел на том же стуле и ел так же жадно. Она смотрела, как двигается челюсть Элиаса – кости так обтянуты кожей, что видно каждый мускул, видно, как они ходят вверх-вниз, из стороны в сторону.

С набитым ртом Элиас рассказывал им новые подробности о том, как обстоят дела у левых.

– После всего, что было, многие опять ушли в горы. Вполне возможно, что и он там.

Женщины смотрели, как он подчищает куском хлеба соус с тарелки до последней капли. Павлина уже положила ему добавки, но он все еще не наелся. Наконец, словно нарочно, чтобы напугать их, поднял глаза и чиркнул ладонью по горлу.

– На нас охотятся, кирия Комнинос, – сказал он. – Как на зверей.

Все эмоции, что видны были на его лице несколько минут назад, пропали. Их сменила какая-то стальная твердость. Он отложил вилку и взглянул Ольге прямо в глаза.

– Я слышал разное, кирия Комнинос. Слышал, русские нашли доказательства, что немцы убили тысячи евреев. Вы об этом слышали?

Ольга опустила взгляд в пол и ответила:

– Да, Элиас, но мы не знаем, правда это или нет. Надеемся, что нет. Послушай, ты должен остаться здесь на ночь. Только осторожно. Если кириос Комнинос узнает, будут неприятности.

Элиас кивнул, и Ольга вышла из комнаты.

– Можешь лечь у меня на диване. Он тебе пуховой периной покажется после того, где тебе приходилось спать, – сказала Павлина. – Кириос Комнинос уходит очень рано, а потом и мы уйдем спокойно.

– Ко мне домой?

– Да, – подтвердила служанка. – Я же обещала – прямо с утра.

Элиас спал беспокойно, несмотря на то что Павлинин диван оказался довольно удобным. Он проваливался в неглубокую дрему, мозг всю ночь работал без отдыха – в сознании проносились какие-то картинки и образы без видимой связи и логики. Яркими вспышками вставали перед ним лица родителей и брата, искаженные не то смехом, не то криком – он не мог толком разобрать, но тяжесть на душе, с которой он проснулся утром, заставляла склониться к последнему.

Константинос Комнинос, как обычно, ушел из дома в половине седьмого. Элиас услышал, как хлопнула дверь, и вскочил с постели. Он уже два часа не спал. Он растолкал Павлину, и через пятнадцать минут они уже шли к улице Ирени.

День был холодный, и перед уходом Павлина сбегала наверх, в комнату Димитрия, и отыскала для Элиаса пальто.

– В него, конечно, двое таких, как ты, поместятся, – сказала она, – но хоть не замерзнешь.

Вид у Элиаса в тяжелом кашемировом пальто с пышным воротником был нелепый. Константинос Комнинос заказал его для Димитрия в мастерской Морено, когда сын поступил в университет. Димитрий его почти не носил, и теперь было видно, какое оно жесткое – как любая дорогая неношенная вещь.

Катерина вышла из дома, рассчитывая за пятнадцать минут быстрым шагом дойти до работы, и тут увидела, что навстречу идет Павлина с каким-то мужчиной. Вид у него, утонувшего в огромном темном пальто, был странный, но уже через секунду она узнала это лицо.

– Элиас! Это я, Катерина.

– Здравствуй, Катерина.

Странная это была встреча. Вспомнив о том, куда направляется, Катерина покраснела от стыда.

– Павлина говорит, у кирии Караянидис должен быть ключ от нашего дома.

Катерина, которая обычно очень беспокоилась, как бы не опоздать, вернулась в дом и позвала Евгению.

Та была вне себя от радости, увидев Элиаса. Слухи уже заставили ее смириться с мыслью о том, что никого из Морено она больше не увидит.

Элиас чувствовал, что с ним разговаривают так, будто он с того света вернулся, но его это не волновало. Ему не терпелось попасть в дом.

– Я тут старалась наводить чистоту по возможности, – пояснила Евгения. Она держала в руках масляную лампу, освещая почти пустую комнату. Электричества в доме уже не было.

Элиас распахнул ставни, но слабый утренний свет почти не проникал в окна.

– Но где же все? Вот тут, кажется, стояло большое кресло? А мамин сундук где?

Евгения молчала. Да Элиас, кажется, и не ждал ответа. Он поднялся наверх, а Евгения осталась внизу, прислушиваясь к звуку резких, взволнованных шагов из комнаты в комнату. Голые доски пола усиливали звуки.

Вскоре Элиас снова сбегал вниз. В холодной комнате дыхание вырывалось у него изо рта облаками пара. Даже в пальто Димитрия он весь дрожал.

– Они все забрали! – возмущенно сказал он. – Даже мою кровать! Даже мою картину со стены!

Евгению не хотелось разбивать его иллюзии. Пусть лучше воображает, как его родители аккуратно укладывают вещи, чтобы увезти их в другую страну, чем узнает правду: что их дом разгромили мародеры, после того как Морено уехали в Польшу с почти пустыми руками.

И она кивнула. Катерина стояла рядом, боясь дышать. Рано или поздно, думала она, Элиас спросит про мастерскую.

– Может, пойдём к нам, я кофе сварю? – дружелюбно проговорила Евгения.

– Ну что ж, здесь-то, я вижу, кофе пить не из чего, – язвительно отозвался Элиас.

Евгению врезалось в память, как она выметала осколки разбитых чашек наутро после ограбления. Из всех фарфоровых сервизов кирии Морено не уцелело ничего.

Они вышли и вернулись в соседний дом. На них повеяло теплом от плиты, и вскоре вода уже закипела.

– Как ты собираешься поступать дальше, Элиас?

– Наверно, поеду на север, к родителям, – ответил он. – Что мне еще делать? Войны с меня хватит. Более чем. Люди, за которых я сражался, по мне, ничуть не лучше тех, против кого я сражался.

По его тону было ясно, что никаких иллюзий у него уже не осталось.

– Переночуешь сегодня у нас? – спросила Евгения, наливая кофе. – Мы с Катериной и на одной кровати поместимся.

Элиас смотрел в свою чашку, на кофейную гущу. Он почти и забыл, что Катерина тоже здесь.

– Мне пора идти, – сказала та; она чуть было не созналась, куда идет, но так и не решилась и выскользнула из дома, мучась стыдом.

Элиас пробыл у них несколько дней и ночей, ел, спал и молча сидел у огня. У него не было никакого желания выходить на улицу, отрывать от тепла и уюта очага. За эти долгие часы он принял окончательное решение ехать в Польшу. Необходимо разыскать родных. Нужны только здоровье и деньги, а Евгения поможет восстановить здоровье и даст деньги. Она кормила его по нескольку раз в день, как младенца, и отдала две золотые броши, которые Роза оставила ей на хранение. Можно будет продать их перед отъездом.

В первый раз за пять дней Элиас вышел из дома и с волнением в душе направился к центру города, избегая опустевших еврейских кварталов и сделав круг, чтобы не ходить мимо мастерской.

Катерина уже призналась ему, что работает у нового владельца, и он сказал, что все понимает – жить-то надо. Элиас убеждал себя, что если скажет эти слова вслух, то, может, и сам хоть немного в них поверит. Он старался не злиться из-за всего того, что его родителям пришлось бросить здесь. Озлобленность никогда не была свойственна ни его матери, ни отцу, и он словно видел воочию, как они сидят сейчас в своей новой швейной мастерской в Польше и думать уже забыли о том, что у них так несправедливо отняли. Они люди слишком неугомонные, вряд ли на покой ушли.

Павлина тайком притащила с улицы Ники кое-что из старых вещей Димитрия, а Катерина за пару вечеров подогнала их по размеру. Когда она закончила, вид у Элиаса стал вполне respectable.

Он шел по улицам и чувствовал какую-то странную беспечность – словно он невидимый. Он был почти уверен, что не встретит никого из знакомых, и ему было ужасно приятно затеряться в толпе. Давно уже он не ходил, зная, что можно не озираться.

В одном из процветающих городских ломбардов Элиас терпеливо отстоял очередь и получил за свои брошки жалкую сумму – в десять раз меньше их настоящей цены. Спорить было бесполезно. Ростовщик чуял, как отчаянно ему нужны деньги, и мог еще снизить цену, если бы клиент заупрямился. Сейчас столько людей приходило в ломбарды, чтобы сбыть краденое, что владельцам обычно удавалось заполучить любую вещь по дешевке.

Элиас сходил на вокзал и узнал расписание поездов, а потом, не спеша шагая обратно к улице Ирины, сообразил, что тут ведь совсем рядом кафенио, где они когда-то часто бывали с Димитрием. Приятное позвякивание мелочи в кармане брюк вызвало желание зайти и заказать что-нибудь выпить.

На минуту он позволил себе вновь ощутить эти самые обычные, когда-то совершенно незамечаемые приметы нормальной жизни: шипение пара, запах сигарет, скрип и хлопок пробки, вытащенной из бутылки коньяка, скрежет стульев по плиточному полу. Почти забытые звуки и запахи сливались в одно целое. Элиас закрыл глаза: это краткое возвращение в прошлое давало надежду на будущее.

Может быть, это его последний день в Салониках, а завтра он отправится в новую жизнь. Он сидел и потягивал пиво. Никогда такого вкусного не пробовал.

Элиас не заметил, как к нему подсел какой-то человек. Народу в кафенио было много.

– Еврей? – осведомился незнакомец в мундире.

Воспоминания об антисемитизме, омрачавшем его детские годы, и тон этого человека сразу вернули Элиаса к реальности, к той ненависти, которая, как он знал, все еще скрывалась под внешней цивилизованностью города. Родители изо всех сил старались оградить и его, и Исаака, но по пути из школы он частенько ощущал на себе злобные взгляды, а иногда и жгучую боль от метко брошенного камня.

Но сейчас Элиас и не подумал отречься от своей национальности. Завтра он уедет из Салоников и будет надеяться, что никогда больше не столкнется с такой откровенной неприязнью.

– Да, еврей, – с вызовом ответил он.

– Так ты, поди, знаешь уже?

Элиас понял, что ошибся, когда услышал в голосе незнакомого человека враждебность. А теперь этот голос еще смягчился.

– Что знаю?

Жандарм почесал в затылке. Вид у него был уже не столь уверенный.

– Выходит, не знаешь.

Элиас пожал плечами, недоуменно, но не без любопытства.

– Ну, ты все равно узнаешь, так что лучше уж я тебе скажу. – Он наклонился к Элиасу с заговорщическим видом. – Не пойму, как ты только выжил. Тысячам других это не удалось.

– О чем вы?

Элиас почувствовал, как внутри поднимается волна ужаса. Сначала похолодело в животе, а потом лед затопил грудь, сдавив ее так, что дыхание перехватило.

Незнакомец глядел на него встревоженно, уже понимая, что должен договорить до конца, как бы это ни было ужасно.

– Даже не верится, что ты не знаешь, – начал он. – Тут один малый вчера заходил... да и в газетах даже было сегодня.

Элиас сидел неподвижно, не сводя глаз с незнакомца, а тот отхлебнул пива и продолжал:

– Их газом отравили. Согнали в поезда, а когда привезли на место, всех отравили газом.

Это не умещалось у Элиаса в голове. Слова звучали какой-то бессмыслицей. Ему хотелось услышать, что он неправильно понял или что они означают что-то другое.

– О чем вы? О чем вы говорите?

– Так он сказал. Тот малый, которому удалось сбежать. Говорит, всех газом отравили, а потом сожгли. В Польше.

Жандарм видел, как молодой человек, этот болезненного вида молодой еврей, начал раскачиваться взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед – молча, обхватив голову руками.

Казалось, целая вечность прошла, пока он перестал качаться, и тогда жандарм приобнял незнакомца одной рукой. Тот был весь застывший, как мертвец, а под ладонью чувствовались острые лопатки. Так они просидели с полчаса. Люди входили и выходили, глазели на них с любопытством, но они ничего не замечали. Жандарм всегда заходил сюда выпить кофе после смены, и теперь посетители слегка любопытствовали, что это за новый друг у него объявился.

Наконец он почувствовал, что Элиас шевельнулся.

– Я тебя домой отведу, – сказал жандарм.

Слово «домой» обрело какое-то новое значение. В этот миг Элиас не знал, кто он, где он, и еще меньше – где его дом. Ничего он, казалось, не знал. Раскачиваясь, он впал в какой-то транс, в нем онемела каждая клеточка, каждый мускул.

– Пойдем, отведу тебя домой, – настойчиво повторил жандарм.

Опять это слово. Домой. Что оно значит? Как теперь найти дом?

Элиас не мог вспомнить название улицы, на которой родился – когда, где? Помнил комнату, где спал вместе с братом, а больше ничего. Годы, когда он спал под открытым небом, почти всегда в горах, почти всегда дрожа от холода, были свежи в памяти, а все остальное провалилось в черную дыру амнезии.

Он попытался встать, но даже ноги, казалось, забыли, как двигаться.

– Слушай-ка, – сказал жандарм, – давай помогу тебе выйти. Может, легче станет на свежем воздухе.

На улице у Элиаса в голове немного прояснилось. Он увидел море и вспомнил, что живет далеко от него, на холме.

– Туда, кажется, – сказал он, тяжело опираясь на плечо жандарма.

На ходу он читал на табличках названия улиц, надеясь, что какое-нибудь из них отзовется в памяти.

Улица Эгнатия, улица Софоклус, улица Юлиана...

– Ирини, – пробормотал он, словно во сне. – Вот как она называется. Улица Ирини. Улица Мира.

– Я знаю, где это, – сказал жандарм. – Я тебя доведу. А то еще заблудишься, чего доброго.

На улице Ирини он спросил у Элиаса номер дома.

– Вот он, – пробормотал Элиас, показывая на дом номер семь. – Но мне надо сюда, в соседний.

Чувствуя, что его дело еще не закончено, неожиданный спутник подождал, пока Элиас постучит в дверь Евгении.

Через секунду и Евгения, и Катерина уже стояли на пороге. До них тоже дошло известие о том, какая участь постигла евреев, и они с тревогой ждали возвращения Элиаса. Новости распространялись быстро, и хотя они основывались на рассказах одного-единственного очевидца, ни у кого не было сомнений в их правдивости.

Элиаса встретили мертвенно-бледные лица, на которых застыло выражение жалости. Это было невыносимо, и он прошел мимо них в дом резко, почти грубо.

Евгения хотела поблагодарить человека, который его привел, но, пока собралась окликнуть его, он уже ушел. Она поглядела ему вслед и заметила жандармский мундир. Странные времена настали, подумала женщина. Каких-нибудь несколько месяцев назад тот же самый человек мог бы арестовать Элиаса, но теперь, хотя она едва успела разглядеть его лицо, Евгения заметила, что жандарма тронуло горе несчастного.

Через несколько недель стали доходить новые вести из Польши, подтверждавшие массовое уничтожение евреев.

Немногие выжившие, вернувшиеся со свидетельствами из первых уст, с говорящими за себя номерами на руках и страшными рассказами о судьбе остальных евреев, скоро пришли к одному и тому же заключению: этот город им не рад. Как и Элиас, они увидели, что их дома и предприятия больше им не принадлежат, и были ли они, опять же как Элиас, в партизанах во время оккупации или чудом спаслись из концлагерей, – в Салониках им, казалось, не было места.

Катерина с Евгенией уходили на работу утром и возвращались вечером. Каждый раз они входили в дом тихонько, крадучись, словно хотели сделать вид, что их нет. Элиас к этому времени всегда спал, еда, которую они оставляли для него утром, исчезала, посуда была вымыта и убрана на место.

Целые недели он не выражал желания разговаривать с ними. Он знал, что некоторых евреев прятали во время оккупации христианские семьи. Элиасу казалось, что весь мир его предал, а прежде всего – соседи, которые должны были спасти его родных.

Евгения с Катериной догадывались о его чувствах и надеялись, что когда-нибудь им удастся объясниться. Случай представился однажды вечером, когда они пришли домой.

Элиас сидел за столом и, очевидно, ждал их. Он был чисто выбрит, а у его стула стоял мешок.



– Хотел попрощаться, – сказал он. – Сегодня уезжаю.

– Жаль расставаться, Элиас, – сказала Евгения.

– Ты же знаешь, что можешь жить у нас, – поддержала Катерина, – сколько захочешь.

– Меня здесь больше ничто не держит, Катерина. Одни воспоминания, – возразил Элиас, – а теперь даже самые сладкие воспоминания сделались горькими. – Тон у него был обвиняющий.

– Я не знаю, что ты думаешь, – умоляюще сказала Катерина, – но твои родные сами захотели уехать. Если бы они попросили нас о помощи, мы бы помогли. Клянусь.

– Это раввин их уговорил, Элиас. Никто из нас и представить себе не мог, что из этого выйдет. – Евгения роняла слезы.

– Так куда же ты едешь? – тихо спросила Катерина.

– Мы вместе едем, несколько человек. Уже давно сговорились. В Палестину.

– Думаете там остаться? – спросила Евгения.

– Да, – ответил он. – Возвращаться не собираемся. – В голосе его явственно слышалась горечь.

– Послушай, – сказала Евгения, – раз уж ты уезжаешь, тебе нужно кое-что забрать. Твои родители оставили нам кое-какие ценности на хранение. Это из синагоги. – Она встала. – Катерина, сбегай, пожалуйста, принеси одеяло.

Катерина скрылась наверху, а Евгения подошла к стене и сняла с нее картинку в рамках. Стала разрезать ножом подкладку, чтобы достать вышивки. Элиас склонился над ними – ему стало любопытно.

– Здесь фрагмент свитка Торы, а в другой какая-то рукопись, – сказала Евгения.

– А вот и одеяло, – сказала Катерина, протягивая ему этот шедевр вышивального мастерства.

Элиас только ахнул, такое оно было красивое. Евгения достала ножницы и хотела уже распарывать швы.

– Не надо! – воскликнул Элиас. – Это же произведение искусства!

– Но в нем парохет зашит...

– А можно, я его так заберу, как есть? – спросил он. – Так еще сохраннее будет!

– Элиас прав, Евгения. Давай свернем. Можешь даже спать на нем в дороге, как на подушке!

– А вот еще талит.

– Думаю, вам лучше его пока здесь сохранить. Может, я когда-нибудь

еще приеду и заберу. А теперь мне пора идти, – сказал Элиас. – Корабль отходит в десять вечера, а мы все договорились встретиться в девять. Не хочу, чтобы они уехали без меня. – Он шагнул назад, словно для того, чтобы уклониться от объятий, взял свой узел и свернутое одеяло. – Спасибо, – сказал Элиас, – за все. – И вышел.

Женщины крепко обнялись. Только теперь, когда Элиаса уже не было в доме, их горе прорвалось наружу. Каждый день открывались все новые свидетельства преступлений против евреев. Они уже видели варварски разрушенные синагоги, видели разрытые древние кладбища, но физическое уничтожение миллионов мужчин, женщин и детей – было слишком для любого, кто пытался это осознать. Свидетельства того, что именно это и случилось с их друзьями, были уже неопровержимыми, и все равно поверить было невозможно.

Где-то в Северной Европе были уничтожены физические останки Розы, Саула, Исаака и Эстер – от них остались только миллионы частичек развеянного по ветру пепла, но Катерина и Евгения помнили о них всегда. В пламени каждой свечки, зажженной в маленькой церкви Святого Николая Орфаноса, эти воспоминания, правдивые и яркие, оживали, чтобы гореть вечно.

## Глава 24

К апрелю большая часть страны снова погрузилась в кризис. Константиносу Комниносу пришлось закрыть один из складов, и он был в ярости – созданная им империя рушилась из-за гражданской войны. При оккупации его доходы оставались более чем удовлетворительными. Он всегда умудрялся организовать импорт и удовлетворить спрос, все еще имевшийся среди богатых клиентов и немцев, а теперь, как ему представлялось, меньшинство греков вставляло палки в колеса тем, кто пытался восстановить их собственную страну.

В свои семьдесят три года Комнинос не менял привычек, вставал на рассвете и засиживался в конторе до позднего вечера, делая исключение лишь для суббот, когда давал званые обеды. Он стремился произвести впечатление успешного предпринимателя и по-прежнему старался, чтобы его ассортимент был шире, чем у любого другого торговца тканями в городе. Ольга по-прежнему должна была одеваться для этих случаев в специально заказанные платья от кутюр, и Катерина по нескольку раз в месяц приходила на примерки или для того, чтобы передать что-то готовое.

Во время одного из этих посещений она и рассказала Ольге об отъезде Элиаса. Павлина тоже была в гостинной – протирала какие-то антикварные вещицы, которые там стояли, казалось, единственно для того, чтобы собирать пыль.

– Ну что ж, по крайней мере, ему было что надеть в дорогу приличное, – сказала служанка. – Все равно столько одежды даром пропадало у Димитрия в шкафу, носить-то теперь некому.

Катерина вздрогнула. Бестактность Павлины ранила ее так же, как и Ольгу.

– Бедный Элиас. Бедный... – поспешно сказала Ольга. – Что же он пережил?

Этот вопрос не требовал ответа.

Несколько минут все молчали, пока Катерина подкалывала булавками Ольгин подол.

– Ты ведь мне скажешь, если будут какие-нибудь вести от него? – спросила Ольга через некоторое время.

– Конечно скажу, – заверила Катерина.

– А от Димитрия, к сожалению, так и нет ничего.

– Я думала, может, та амнистия, о которой все говорили, как-то повлияет.

– Положим, если на что-то и повлияла, так ненадолго... – грустно произнесла Ольга. – Теперь-то он вряд ли приедет, когда дело так обернулось.

– Не очень-то безопасно ему здесь появляться, правда? – вставила Павлина, застывшая с тряпкой в руке. После секундной паузы она добавила: – Пожалуй, не скоро еще мне накрывать стол на троих.

Ольгины надежды на то, что Димитрий вот-вот появится на пороге, растаяли, когда крайне правые начали преследовать левых за преступления, совершенные во время оккупации. Борьба шла между ЭЛАС и антикоммунистами, коллаборационистами, которые были заодно с немцами. Тысячи левых были схвачены и брошены в тюрьмы. После короткой передышки Салоники снова жили в страхе. Камеры были забиты людьми, чье единственное преступление состояло в несогласии с правительством.

Как бы то ни было, Ольга всегда надеялась, что ее муж сумеет переступить через свое недовольство поведением Димитрия во время войны, однако Константинос, казалось, упоенно лелеял свой гнев на сына.

Чтобы развернуть «белый террор» против левых, существенно увеличили численность полиции и жандармерии. Их целью было уничтожение коммунистических организаций любой ценой. Изучались биографические данные подозреваемых, чтобы собрать свидетельства против них. Оказать поддержку любому, кто сражался в рядах ЭЛАС, было достаточно для ареста.

Как ни удивительно это было ей самой, Ольга теперь молилась, чтобы Димитрий не показывался в городе. Она знала, каково будет ему здесь, и боялась за него. Салоники и сами по себе были достаточно опасным местом, а когда в собственном доме кто-то мог предать, риск возрастал многократно.

Ольга страшилась напрасно. Димитрий был за четыреста километров от нее. Его часть, вместе с многими другими, находилась в горных районах Центральной Греции, где сама неприступность скал служила защитой от немцев. Похожие на лабиринты тропы, укрытые от глаз долины и деревни, куда можно было добраться только пешком, давали возможность во время оккупации оставаться почти независимым государством. Это было идеальное убежище для членов ЭЛАС.

Когда люди в деревнях слышали, что среди солдат есть медик, они стали приходить за помощью. Не имея почти ничего, кроме нескольких рваных тряпок да бутылки ракии вместо антисептика, Димитрий перевязывал язвы, помогал женщинам во время родов, рвал гнилые зубы и диагностировал болезни, которые не мог вылечить. Он никогда не интересовался политическими взглядами пациента, прежде чем оказывать ему помощь, но иной раз приходилось отводить глаза от большого портрета короля Георга, который все еще вынужденно оставался в изгнании, хотя оккупация завершилась и правительство вернулось в Грецию. В одном он был уверен: эти люди в огромном большинстве не поддерживали коммунистов. У селян, среди которых им приходилось жить, силой отнимали продукты, которых у них и так почти не было, и они сами и их дети сидели голодными.

Димитрий не мог обманывать себя, делая вид, будто та сторона, на которой он сражался, непогрешима. Как и большинство его товарищей и соотечественников, он присоединился к Сопротивлению, чтобы бороться против немцев, а когда они ушли, оказался втянутым в беспощадную войну между коммунистами и правительством. Как и многие, он не был убежденным коммунистом, но верил в одно: они все-таки ближе к демократии, чем правительство.

За эти годы Димитрий понял, что пройти войну с чистыми руками не удалось никому. У него самого руки были в крови: в крови коммунистов, фашистов, немцев, греков. Иногда это была невинная кровь, иногда кровь того, чья смерть только радовала. Кровь была у всех одинаковая: густая, красная, и ее было чудовищно много.

Чаще всего он все-таки старался спасти жизни, а не обрывать их, но, вылечив кого-то из товарищей, партизан-коммунистов, понимал, что они снова будут убивать. Казалось, не видно конца жестокости, затопившей эту страну, и все политические зигзаги становились все более и более смертоносными.

Димитрию еще не исполнилось и тридцати, но иногда он замечал, что пальцы у него скрюченные, а кожа на них потрескалась, как древесная кора. Это были руки старика.

Как ни тянуло его, временами нестерпимо, в родной город, Димитрия удерживал не только страх ареста. Он готов был скорее умереть, чем вернуться домой. Это означало бы признать поражение. Так унизиться перед отцом, которого он презирал всей душой, было невыносимо.

Ольге удавалось избегать ссор с мужем, но ей волей-неволей

приходилось слушать дискуссии за обеденным столом. Все, кого приглашал в гости Константинос, разделяли его политические взгляды, и все они были за войну против тех, кто боролся с немцами.

– Как может правительство оправдывать происходящее? – спрашивала хозяйка Павлину. – Позволяют головорезам преследовать ни в чем не повинных людей.

– *Они* их не считают неповинными. Вот и все.

На светских мероприятиях Константинос Комнинос каждый раз ловко уходил от расспросов о сыне. Гости считали, что он воюет в правительственной армии.

Разговор шел главным образом о подъеме коммунизма в окружающих балканских странах, и все панически боялись, что в Греции начнется то же самое. Гости старались не упоминать о злодеяниях, творившихся в настоящее время руками правительственной армии, зато с теплотой говорили о британцах, которые помогли задержать наступление коммунистов. В их терминологии то, против чего они боролись, называлось андартико – война с бандитизмом. Ольга же считала эту войну братоубийственной.

Наступило лето, становилась все жарче, а упоминание о красной угрозе накаляло атмосферу еще сильнее. Женщины, слыша эти слова, начинали нервно обмахиваться веерами. В текущем сезоне и еще нескольких последующих красный – и даже любые оттенки розового – был определенно не в моде.

Жизнь повсюду, кроме роскошных особняков, становилась все хуже. Объем сельскохозяйственной и промышленной продукции упал более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем, кораблей не осталось, не на чем было ввозить или вывозить товары. Шоссе, железные дороги, гавани и мосты оставались после оккупации все в том же плачевном состоянии.

Словно мало было остальных бед, суровая засуха уничтожила в это лето весь урожай. Люди враждовали с собственными родными, и природа, казалось, тоже обратилась против самой себя. Вид ребятишек, просящих милостыню и роющихся в мусорных ящиках, снова стал привычным. Иностранцы присылали помощь, но все равно половине населения не хватало даже самого необходимого – виной тому стала коррумпированность некоторых правительственных чиновников, ответственных за распределение.

Где-то в горах Димитрий, уже много недель не видевший газет, узнал о том, что в Греции готовятся выборы и референдум о возвращении короля.

– Как же они смогут обеспечить справедливые выборы при таких беспорядках?

Это было общее мнение. Массовые волнения в стране, как всем казалось, не способствовали демократическому процессу.

Выборы состоялись, но левые бойкотировали их, выражая тем самым свое неодобрение. Международные наблюдатели подтвердили, что выборы были свободными и справедливыми, однако победа правых была предreshена заранее. В сентябре прошел референдум по поводу монархии, и монархисты выиграли его со значительным преимуществом – шестьдесят восемь процентов голосов.

Константинос Комнинос торжествовал вдвойне.

– Вот, народ дал понять, чего он хочет. Дважды. Теперь мы точно знаем одно: народ считает, что лучше пусть страной управляет король, чем коммунисты! – говорил он, едва сдерживая ликование. – Может быть, теперь нам удастся снова поднять страну на ноги.

– Народ сделал свой выбор! – вторил напыщенный Григорис Гургурис. В тот вечер он тоже был на званом обеде на улице Ники.

Мужчины сделали свой выбор, мысленно возражала Ольга и размышляла о том, каким оказался бы результат, если бы право голоса имели женщины.

Она всматривалась в лица женщин за столом и спрашивала себя: а вдруг и они думают о том же самом? Почти на всех этих лицах были стандартные маски умеренной заинтересованности. Женщины словно заранее знали, когда кивнуть, когда каким-нибудь подходящим звуком выразить понимание и согласие. Они вели свою партию в унисон, будто вторые скрипки в оркестре. И у нее самой, и у всех остальных присутствующих дам было только три роли: жены, матери и красивой тени.

Беседа продолжалась.

– Итак, теперь мы в состоянии добиться некоторого прогресса, – сказал Гургурис. – Я считаю, что войн в стране было уже достаточно. А вот модной одежды пока не хватает!

По комнате прокатился смешок, но только один человек хохотал до слез, которые так и катились по жирным складкам на лице, – сам Григорис.

Результаты выборов и референдума наконец подтолкнули коммунистическую партию к решению, что единственный путь к власти для них – это организованное вооруженное восстание, и в октябре 1946 года они объявили о создании Демократической армии.

– Видишь? – гневно бросил Комнинос Ольге. – Эти коммунисты ни перед чем не остановятся, пока не захватят власть в стране. Ты хочешь, чтобы нами правили из Москвы? А что тогда, по-твоему, будет с бизнесом, в частности с моим? Он перейдет под контроль государства. Мы потеряем все. Все, что имеем.

– Может быть, просто не все хотят возвращения короля, – пробормотала Ольга, зная, что муж все равно не прислушается к ней.

– Теперь уже не осталось сомнений в том, что это за люди! – кричал он. – Ты уже не можешь делать вид, что они просто либералы! Они коммунисты, и за ними стоит Советский Союз! Ты что, слепая и не видишь?

Он кричал на Ольгу, но в его глазах она не видела ничего, кроме страха. Жена так привыкла выслушивать брань и обвинения в глупости, что оскорбления мужа ее уже не задевали.

Неофициальные новости на этой неделе вызвали новые волнения. Говорили, что руководство Демократической армии собирается координировать действия всех партизанских отрядов и провести общую мобилизацию, чтобы увеличить свою численность.

В одном для Комниноса теперь не было сомнений. По его понятиям, все, кто сражался против правительства, сражались под красным флагом. Его сын исполняет приказы генерала-коммуниста!

Куда бы он ни шел, ему казалось, что в спину летят все те же насмешливые слова: «Комнинос... Комнинист... Ком-му-нист...» Снова и снова в голове звучал этот издевательский шепот: «Комминос... Коммунос... Коммунист...»

Люди стали смотреть на него как-то по-другому, судачили о нем за спиной, а возвращаясь домой поздно ночью, он слышал, как проститутки шепчутся в дверях: «Вон он опять пошел... Константинос Коммунистос!»

Эти галлюцинации не оставляли его и в постели, являлись в кошмарах. Каждую ночь он просыпался весь в поту, тяжело дыша, будто загнанный зверь.

Раз или два Ольга слышала из смежной комнаты, как муж кричит во сне. Смешанное чувство злости и страха перед сыном преследовало его, словно демон.

Заказчики не смотрели ему в глаза (по крайней мере, так ему казалось), и он готов был поклясться, что ловит на себе жалостливые взгляды собственных служащих. Слышал в воображении их разговоры: «Ты подумай только – коммунист!» Он чувствовал себя опозоренным, объектом презрения и насмешек.



Нужно было что-то делать, иначе он так и не сможет спокойно спать по ночам.

В последние годы у Константиноса не было ни возможностей, ни желания разыскивать Димитрия. Теперь же появилось и то и другое. Организационные изменения, которые коммунисты предприняли в своей армии, оказались ему на руку – теперь установить местонахождение сына можно было без особого труда. У себя в кабинете в центре города отец сел за стол и написал два письма. Одно было адресовано сыну.

Первые строки были сдержанно-печальными, и в них то и дело повторялось слово «разочарование».

*Дорогой Димитрий,*

*как тебе известно, те решения, что ты принял за свою короткую жизнь, стали для меня чередой разочарований. Я был горько разочарован твоим выбором профессии и твоими политическими наклонностями в университетские годы. Самым большим разочарованием для меня стало твое решение примкнуть к Сопротивлению во время оккупации.*

*За последние десять лет каждый твой шаг был для меня источником глубокой тревоги и стыда.*

*Все эти ошибки можно было бы предать забвению, если бы ты проявил хоть немного здравомыслия, когда в страну вернулось законное правительство, а теперь и король. Но я знаю, что ты сейчас сражаешься за коммунистов. Ты на стороне тех, кто стремится полностью уничтожить свободу личности, за которую всегда стояли все Комниносы.*

Далее тон письма менялся, становился язвительным и грубым. Это был полубезумный бред человека, слышавшего голоса в собственной голове, и тем не менее, пока Константинос писал все это, сердце его было холодно как лед, а все действия тщательно продуманны, как и подобало тому, кто нажил состояние на умении высчитать прибыль с куска шелка с точностью до миллиметра.

*Стыд и позор, которыми ты готов покрыть наше имя, терпеть более невозможно. Каждый день я надеюсь услышать весть о твоей смерти и каждый день разочаровываюсь. И тут ты меня подводишь. Видимо, ты просто трус и не хочешь даже рисковать жизнью за свои убеждения. Я сделал все возможное, чтобы скрыть твои преступные политические пристрастия от всех знакомых, но теперь ситуация*

*выходит из-под моего контроля.*

*С моей точки зрения, ты умер для нашей семьи. Через несколько дней твоя мать получит уведомление о том, что ты убит. Впереди вас ждет окончательный разгром, я в этом совершенно уверен, а пока советую тебе уехать куда-нибудь в Албанию или в Югославию, где тебя с радостью примут твои друзья-коммунисты. Это лучшее, что ты можешь сделать ради чести фамилии. Никогда – повторяю, никогда – не возвращаться в Салоники.*

Теперь осталось заплатить кому-нибудь, кто сумеет навести справки, разыскать сына и передать письмо. По соображениям Комниноса, это должно было занять не более двух недель. Едва дождавшись, пока высохнут чернила, он разыскал нужного человека, и письмо отправилось в путь.

Второе письмо было только черновиком. Потом ему понадобится кто-то, кто сможет изготовить извещение, точную копию настоящего в каждой детали, от адреса до марки. В людях, способных помочь в таком деле, недостатка не было. Изготовители фальшивок наладили неплохой бизнес в начале сороковых, когда брали астрономические суммы за поддельные удостоверения личности. Искусные фальсификаторы принимали плату исключительно золотом, и когда вся страна обанкротилась в результате гиперинфляции, многие из них купались в деньгах.

Теперь, когда остальные лишились всех своих сбережений, фальшивомонетки ухватились за новую возможность. Банкноты так часто сменялись новыми, все большего достоинства, что никто не успевал толком привыкнуть к их виду, а значит нетрудно было всучить фальшивку. Эти люди были артистами своего дела, и некоторые уже превзошли богатством самого Комниноса. Он обратился к лучшим из них.

Константинос подождал несколько дней, прежде чем передать второе письмо. Ушел из дома утром, зная, что вечером, когда он вернется, Ольга уже будет в трауре.

Ольга сидела в гостиной, когда Павлина принесла письмо на маленьком серебряном подносе. Было одиннадцать часов. «Вот уж верно: во вторник ничего хорошего не жди», – плакала она потом. Вторник считали несчастливым днем с тех пор, как почти пятьсот лет назад в этот день турки захватили Константинополь.

Ольга взяла письмо с подноса и долго смотрела на него. Это было официальное извещение с печатью на обратной стороне конверта. Такого рода письма никогда не приносили добрых вестей. На мгновение она

задумалась, не подождать ли, когда вернется муж, но сразу же отбросила эту мысль. Письмо было о ее сыне. Ее сыне. Ее любимом Димитрии.

Павлина с тревогой смотрела на хозяйку. Она уже успела посмотреть конверт на свет в прихожей, но он был плотный и надежно хранил тайну своего содержимого. Служанка затаила дыхание, глядя, как Ольга ломает пальцем печать, вынимает из конверта единственный листок и читает на нем несколько строчек.

Ольга подняла взгляд на Павлину. Ее глаза были полны невыразимого горя.

– Он убит, – сказала она.

И ее тело затряслось от рыданий.

Павлина сидела рядом и оплакивала мальчика, которого знала с первой минуты его появления на свет. Они всегда понимали, что такое может случиться, и все же это стало для них неожиданным и чудовищным ударом. Никогда Павлина не думала, что на все ее молитвы о спасении Димитрия никто не откликнется.

Тем временем Димитрий в горах ждал приказа к наступлению. Он сразу узнал почерк отца и почувствовал, как вновь вспыхнула давняя ненависть. От содержания письма его пробрала дрожь. Взглянув на дату, он понял, что матери уже известно о его «гибели», и мысль о том, что отец мог сделать с ней такое, вызвала у него непередаваемое отвращение.

Ольга закрылась в своей темной комнате, а Павлина понесла письмо в торговый зал. Оставила хозяина одного, пока он читал, а затем они вместе пошли домой. Комнинос спросил, как его жена приняла эту новость. Он постарался изобразить горе, понимая, насколько важно произвести правильное впечатление. И жена, и служанка прекрасно знали, как гневался он на сына, поэтому горе его было сдержанным и манера по-прежнему полной достоинства.

Константинос Комнинос вошел в комнату жены и встал у двери.

– Ольга... – произнес он.

Жена лежала на кровати одетая, без движения.

– Ольга... – снова сказал он, подходя к кровати.

Приблизившись, он увидел, что глаза у нее открыты.

– Уйди, – сказала она спокойно. – Прошу тебя, уйди.

Ей невыносимо было его присутствие, и он не заставил себя упрашивать.

Много дней подряд Павлина приносила и уносила полные подносы еды, но никак не могла заставить Ольгу поесть. Она и сама горевала,

но необходимость заботиться о хозяйке не давала ей сидеть сложа руки.

За день до того, как сообщить эту новость остальным, Комнинос послал записку Гургурису.

Катерина работала сутками напролет, отделявая свадебное платье. Подол уже был украшен вышивкой, а шлейф расшит бисером, и все же платье требовало еще целой недели усердной работы. И вдруг хозяин велел отложить все и идти к кирии Комнинос. Катериныны протесты ни к чему не привели.

– Отправляйтесь немедленно! – рявкнул Гургурис. – Свадебным нарядом может пока заняться кто-нибудь другой. Если такому важному клиенту, как кириос Комнинос, нужно новое платье для его жены, мы не можем заставлять его ждать.

Катерина была не в том положении, чтобы возражать, но она знала, как будет волноваться невеста из-за того, что платье до сих пор не готово, и понимала, что ни одна другая швея не сможет продолжить начатый ею сложный узор. Симметрии не получится. Обычно ей давали закончить одну работу, прежде чем приниматься за другую, но сейчас Катерина видела, что выбора нет. Она решила, что, если понадобится, вернется в мастерскую после закрытия и будет шить всю ночь, чтобы закончить свадебный наряд.

Швея еще немного постояла, не зная, пора ли уходить. Она чувствовала себя неловко под пристальным взглядом глаз-бусинок, но понимала, что Гургурис еще не все сказал.

– Вот образцы. Может быть, вы попросите ее выбрать из них.

Он протянул шесть лоскутов ткани. Все они были черные, разной плотности, от шерсти и бархата до крепа и тонкого шелка.

Гургурис заметил, как изменилась в лице Катерина.

– А-а. Вижу, это новость для вас. Они потеряли сына.

Катерина закусила губу, чтобы не дрожала, и взяла протянутые ей кусочки материи.

– Я схожу сейчас же, – прошептала она еле слышно.

Ноги у нее подкашивались, и все же она успела выйти в улицу, прежде чем содрогнуться от разрывающих грудь рыданий. Прижавшись к стене, она плакала, не стыдясь, и люди проходили мимо, словно она была невидимой.

Димитрий умер. Катерина судорожно хватала ртом воздух, пытаясь отдышаться перед новым приступом. Минут через десять-двадцать она кое-как взяла себя в руки. Ее ждала работа. Нужно было идти к тем двум единственным в мире людям, для кого эта потеря – такое же страшное горе, как для нее, и она медленно двинулась к морю.

Павлина сразу же открыла дверь. Вид у служанки был такой, словно ей подбили оба глаза. Они так опухли от слез, что почти ничего не видели.

Катерина вошла:

– Как кирия Комнинос?

Павлина покачала головой:

– Ужасно. Просто ужасно.

Женщины прошли на кухню и поговорили немного. Сначала расплакалась одна, затем другая – их горе было все еще свежо и остро. Невыносимая тоска обрушивалась всей тяжестью то на одну, то на другую, без предупреждения.

– Кирия Комнинос два дня ничего не ела, – сказала Павлина, вставая, чтобы составить блюда для хозяйки на поднос. – Может, пойдешь со мной? Вдруг да тебе удастся ее уговорить.

Они вместе поднялись по лестнице, и огромные позолоченные часы ритмично тикали в такт их шагам.

– Подожди минутку здесь, – велела Павлина.

В спальне она раздвинула шторы на несколько миллиметров, чтобы впустить немного дневного света. Ольга лежала на кровати, полностью одетая, неподвижная и спокойная, словно мертвое тело в гробу.

– Катерина пришла, впустить ее? – спросила Павлина, ставя поднос на стол. – Кириос Комнинос просил ее прийти.

Ольга села.

– Зачем? – спросила она.

– По поводу траурных платьев.

– Ах да, – сказала Ольга, словно забыла о событиях последних дней. – Траур.

Катерина вошла. Она кое-как пробормотала одно-единственное слово: «Соболезную», – и потом целый час молча снимала мерки и рисовала фасоны у себя в блокноте, чтобы Ольга посмотрела и одобрила. Разговоры были сейчас неуместны.

Скоро всем уже было известно, что сын Комниноса погиб в горах, сражаясь против коммунистов. Некоторые знакомые коммерсанта тоже потеряли сыновей при таких же обстоятельствах, и многие присылали свои искренние соболезнования, не подозревая, что богатый бизнесмен вовсе не убит горем, а испытывает лишь облегчение. Вскоре он уже вел дела как обычно, благодаря чему приобрел репутацию мужественного и стойкого человека.

Катерина приходила еще несколько раз за последующие несколько недель – приносила на примерку новые платья. Черное прибавляло Ольге

по меньшей мере лет десять, и теперь, когда она подходила к зеркалу, оттуда на нее смотрела грустная старая женщина.

Однажды, когда Катерина пришла снова, Павлина сунула что-то ей в руку. Это была маленькая фотография.

– Они и не заметят, что она пропала, – сказала служанка. – Я ее в коробке нашла, там еще несколько точь-в-точь таких же.

Катерина смотрела на фотографию Дмитрия. Она была сделана в его первый день в университете. Катерине стало и радостно, и грустно одновременно.

– Спасибо, Павлина, – поблагодарила она. – Большое спасибо. Я буду ее очень беречь.

Вынырнув из темной пучины горя, Ольга стала замечать, что Катерина больше не улыбается той солнечной улыбкой, что отличала когда-то молодую швею. Это улыбка была словно свет, который никогда не гас. Теперь же под глазами Катерины лежали темные тени. Ольга начала понимать, что у девушки на душе свое тяжкое горе.

## Глава 25

Несколько месяцев после этого Катерина ходила как во сне. Делала обычные дела – все то же, все так же, день за днем – и была целиком погружена в свое горе.

Евгения изо всех сил старалась помочь ей пережить эти тяжелые месяцы, но знала: только время сможет когда-нибудь рассеять этот мрак.

Другие девушки в мастерской заметили, что Катерина совсем ушла в себя, и оставили попытки вывести ее из этого странного состояния. Молодая швея почти все время молчала – любые разговоры ей казались пустыми. Только одно осталось прежним – блистательное качество ее работы. Катерина делала ее так же быстро и безупречно, как всегда, и это было единственным, что отвлекало от бесконечного переживания своей потери.

Гургурис по-прежнему выделял ее среди других. То она слишком медленно работает. То ей следовало быть пооригинальнее. То ее шитье слишком похоже на машинное.

Все его придирки были абсолютно вздорными и какими-то нелепыми, но другие женщины были не прочь послушать, как хозяин критикует работу Катерины. Обычно-то критика доставалась им.

Жизнь продолжалась, продолжались для Катерины и регулярные вызовы в кабинет Гургуриса. Как ни велико было иногда искушение, она понимала, что огрызаться нельзя. За такое уволят немедленно.

– Я постараюсь сделать лучше, кириос Гургурис, – говорила она. Или: – Я посмотрю, как это можно исправить.

Однажды под вечер секретарь Гургуриса снова вызвал Катерину к нему в кабинет. Хозяин сидел за столом, окутанный клубами дыма, но, когда швея вошла, потушил сигарету.

– Садитесь, – сказал он улыбаясь, и его глаза, похожие на ягоды смородины, исчезли в жирных складках.

Одной из девушек на прошлой неделе вручили уведомление об увольнении, и, так как финансовый климат опять был далеко не стабилен, можно было ожидать, что кто-то еще потеряет работу.

– Я долго думал, – начал Гургурис.

Катерина приготовилась к тому, что последует за этим. Она не сомневалась, что речь пойдет об увольнении, и уже прикидывала,

где искать новую работу.

– Я хочу, чтобы вы стали моей женой.

Рот у Катерины открывался и закрывался несколько раз подряд, но из него не вылетело ни звука – от изумления, которое Гургурис принял за радость.

– Кажется, я уже знаю ответ, – сказал он и ухмыльнулся, показывая желтые зубы.

На миг Катерину парализовало, а потом ей захотелось убежать. Без объяснений, без извинений она поднялась со стула.

– До завтра, дорогая, – произнес хозяин с самодовольной улыбкой. – К тому времени ты уже немного придешь в себя.

Эти слова звучали в ушах у Катерины, когда она, выскочив из кабинета, бежала домой.

Евгения отреагировала неожиданно. Она сама много лет прожила без мужа и считала, что Катерине выпала огромная удача.

– Ты уже не девочка! Нельзя отвергать такое предложение. Если ты сейчас не выйдешь замуж, можешь и в старых девах остаться, – взмолилась она. – А он богатый!

Евгения знала, что будет ужасно скучать по Катерине, но считала, что отказывать такому жениху нельзя. Соотношение мужчин и женщин в Салониках по-прежнему было неравным. Вдов и незамужних было много, как никогда, и Евгения чуть ли не из себя выходила при мысли, что Катерина может упустить такую возможность устроить жизнь. Ее дочерям, несмотря на наличие мужей и детей, пришлось вернуться на табачную фабрику, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Это была тяжелая и неблагодарная работа, а вот если бы им выпало такое же счастье, как Катерине, их жизнь была бы совсем иной.

– Ты же до самой смерти ни в чем нужды знать не будешь! – воскликнула Евгения.

Катерина сидела молча и ждала, когда она успокоится.

– Но я и сейчас ни в чем нужды не знаю, – сказала девушка.

– Ну так если ему откажешь, то останешься без работы, – отрезала Евгения. – Он не обрадуется, если услышит «нет», помани мое слово.

– Но я его не люблю, – сказала Катерина и, помолчав, прибавила: – Я любила Димитрия. – После этого неожиданного признания она расплакалась. – Ничего не помогает. Я не могу перестать думать о нем. Что же мне делать?

Евгения не знала, что на это ответить, но позже, вечером, они поговорили еще раз.



– Вот раньше часто шли за того, за кого родители скажут, – рассказывала Евгения. – И у нас в деревне тоже такое было, сколько угодно, – одна семья хочет породниться с другой. А может, со временем ты и полюбишь кириоса Гургуриса.

– А если нет?

По мнению Евгении, и это было не так уж страшно. В деревнях было сколько угодно семей, где без любви прекрасно обходились.

Они проговорили так до самой ночи, но и в полночь, ложась в постель, Катерина понимала, что не в состоянии дать ответ своему работодателю.

Прямо с утра девушка храбро постучалась в дверь его кабинета. К этому времени она уже придумала, что сказать.

– Большое вам спасибо за ваше предложение, кириос Гургурис. Я очень польщена, но мне нужно еще немного подумать. Я должна решить, гожусь ли вам в жены. Надеюсь, вы дадите мне еще неделю на размышления.

Она даже чуть не присела в реверансе, прежде чем выйти, и Гургурис улыбнулся, словно очарованный ее короткой речью.

Войдя в цех, Катерина заметила, что женщины перешептываются. Видимо, слухи о том, что хозяин сделал ей предложение, каким-то образом уже просочились в мастерскую. Никто ее ни о чем не спрашивал прямо, но девушка понимала по их взглядам, что сплетничают о ней, и чувствовала, что краснеет от смущения.

На следующий день Гургурис предпринял новые шаги, чтобы завоевать сердце Катерины. Каждый вечер она находила в сумочке или в кармане маленький подарок: лоскуток шелка, какую-нибудь ленту, один раз даже готовое белье. Часто к подарку прилагалась записка: «К твоему приданому». Как ему казалось, ни одна женщина не могла устоять перед такими приемами соблазнения.

Мягкость шелка, прохлада крепа, пышность лент, думал он, украдкой подбрасывая пакетик Катерине в сумочку или в карман пальто, висевшего в гардеробе. Надо бы использовать эту строчку в новой рекламе.

Вызовы Катерины в кабинет и разносы ее работы тут же прекратились, что было для нее облегчением, но от подарков ее слегка мутило. Время шло, оставалось всего пять дней до того срока, когда она обещала дать ответ. Мнение Евгении она уже знала, оно оказалось не тем, какое она хотела услышать.

На следующий день Катерина должна была передать кирии Комнинос последний траурный наряд. Пришло лето, и подходящее по сезону платье из тонкого хлопка было уже готово.

Открыв дверь, Павлина сразу увидела, что у Катерины что-то случилось. А она-то надеялась, что девушка понемногу отходит от горя после смерти Димитрия...

– Что с тобой?! – воскликнула она. – У тебя такие тени под глазами! Еще хуже, чем были!

Катерина не спала две ночи подряд, и тени у нее и правда были словно синяки.

– Входи! Входи! – поторопила ее Павлина. – Давай-ка выкладывай все.

Сидя за кухонным столом, Катерина рассказала Павлине о предложении.

– И что же мне делать? – спросила она.

– Ну, тут я не советчица, – сказала служанка напрямую. – Я-то вышла замуж за того, кого полюбила с первого взгляда. И любила до самой его смерти. А вернее сказать, и после смерти еще люблю.

– Так как же я могу думать о свадьбе, если люблю другого? – спросила Катерина, и глаза ее наполнились слезами. – Даже если это только память...

– Это другое дело, – возразила Павлина. – Мне было уже за сорок, когда Гиоргос умер. Мы познакомились, когда мне было пятнадцать, а ему двадцать пять. Мне-то посчастливилось, а тебе надо о будущем думать.

Она хотела сказать это по-доброму, но слова прозвучали резко. О будущем. О будущем без любви.

– И ведь тебе уже скоро тридцать...

– Наверное, я знаю, что нужно сделать, – сказала Катерина после минутного раздумья, – но вопрос в том, смогу ли себя заставить.

Как же нелепо, что ее ситцевый платок весь вымок от горьких, а не от радостных слез. Предложение руки и сердца – считается ведь, что это мечта любой женщины.

Павлина проводила Катерину наверх, к Ольге, и они вместе пошли в гардеробную, чтобы хозяйка примерила платье. Обычно в это время они обсуждали детали украшений, которые сделала Катерина, а еще Ольга всегда спрашивала о Евгении, но сегодня ее вопрос оказался для девушки полной неожиданностью.

– Катерина, можно тебя кое о чем спросить? – сказала она.

Швея подняла голову. Она стояла на коленях на полу, подкалывая подол.

– Конечно.

– Мой муж кое-что сказал сегодня утром. Что ты выходишь замуж за кириоса Гургуриса. Это правда?

Катерина обмерла. Это прозвучало так же неожиданно и дико, как и само предложение Гургуриса.

– Я... Я... Это...

– Прости, пожалуйста, – торопливо проговорила Ольга. – Я, должно быть, поспешила с выводами. Просто кириос Комнинос сказал, что Григорис Гургурис женится на своей лучшей швее. Так он слышал, во всяком случае. Вот я и решила, что речь о тебе.

Катерина изо всех сил старалась думать только о работе, которой была занята. Во рту у нее была булавка – вот и предлог, чтобы не отвечать. Девушка уже столько раз хотела признаться Ольге в своих чувствах к ее сыну, но каждый раз казалось, что сейчас не время. А теперь момент и вовсе неподходящий.

Павлина принесла им обеим чай. Катерина всегда подшивала подол на месте, а перед уходом разглаживала платье, и все это занимало у нее час или два.

– Мне так неловко, – сказала Ольга Павлине. – Я услышала, что Григорис Гургурис женится на своей лучшей швее, и решила, что это Катерина! – Непривычный Ольгин смех зазвенел в комнате, как колокольчик.

Павлина с Катериной переглянулись, и девушка разразилась слезами.

Ольга смутилась. Павлина объяснила ей, что Катерина действительно получила предложение, но еще не приняла его.

– А собираешься? – прямо спросила Ольга. – Кажется, это тебя не особенно радует, милая.

– Я его не люблю, – сказала Катерина.

– А я ей говорю: пускай даже пока не любит, а как поженятся, может, все станет по-другому. Мало ли людей сначала сомневаются перед свадьбой.

– Может быть, она и права, – сказала Ольга, ласково глядя на Катерину.

Катерина знала, что Ольга не любит своего мужа. Пожалуй, ее брак был противоположностью Павлинину. Катерина думала: может быть, она и любила Константиноса Комниноса сначала, а потом разлюбила. Может быть, третьего, идеального варианта (полюбить сразу же и на всю жизнь) вовсе не бывает. Как ей сказать Ольге, что она все еще любит умершего? И что этот умерший – ее сын?

– Но что же мне, по-вашему, делать? – в отчаянии взмолилась Катерина; пусть Ольгино слово станет решающим.

– Можно подождать, когда придет любовь, – грустно ответила Ольга, – но ведь может случиться и так, что она не придет никогда.

Мнения трех женщин, которые желали ей добра, как никто другой, подтолкнули ее навстречу неизбежному.

Через месяц состоялась скромная свадьба. Оказалось, что у Григориса Гургуриса нет родственников, не считая единственного племянника, и других гостей тоже было немного: Евгения, София, Мария, Павлина, две девушки из отделочного цеха, управляющий из Верии и Константинос Комнинос. Катерина написала и матери, пригласила ее на свадьбу. Зения прислала поздравление, но ответила, что больна и приехать не сможет.

Все восхищались простым отрезным платьем невесты, но сама она знала, что вложила в него меньше любви и труда, чем в любое из сотен других, сшитых ею. Современная мода на прямые силуэты помогла скрыть недостаточную пышность фигуры, и в венке из свежих розовых бутонов на темных, коротко остриженных волосах Катерина могла бы сойти за пятнадцатилетнюю.

После церемонии состоялся обед в отдельном зале отеля «Эрмес-Палас». Жених и кириос Комнинос были там как дома, а остальные гости чувствовали себя не в своей тарелке. Дом Комниноса был самым роскошным местом из всех, в каких Катерина когда-либо бывала, но этот отель побил все рекорды по количеству мрамора, позолоты и лепнины. Все тут было чрезмерно – от множества серебряных ножей и вилок на столе до букетов, таких огромных, что из-за них Катерине было почти не видно гостей. Ветки жасмина и глицинии не помещались в огромной вазе в центре стола, которой хватило бы на весь задний двор ее дома.

Напротив каждого гостя был целый строй бокалов, стоявших в ряд, как трубы органа, и почти все полны до краев. Катерина только пригубила из каждого, но все равно ей ударило в голову, и, попросившись с гостями, она поднялась по широкой лестнице не слишком твердой походкой. Эту ночь им с ее новоиспеченным мужем предстояло провести здесь.

После первого поцелуя в брачную ночь она едва не упала в обморок от омерзения. Из рта у Григориса крепко пахло застоялым табаком, а почувствовав на губах горько-кислый вкус его прокуренного языка она, никогда не курившая, почувствовала, что ее вот-вот вырвет. После поцелуя предстояло выдержать еще одно испытание. Катерина как-то уже видела ноги Гургуриса, когда он вызывал ее к себе в кабинет, чтобы подшить ему новые брюки, и теперь волосатость его тела ее не удивила, но его необъятная толщина без одежды выглядела настолько отвратительно, что она и вообразить себе не могла.

Он расстегнул рубашку, и его жировые складки вывалились наружу. Стекли к бедрам и повисли, колыхаясь, словно какое-то живое существо.

Весь его огромный живот был изборожден варикозными венами, будто реками, и Катерина увидела, что его свисающая грудь вдвое больше ее собственной.

Катерина тем временем тоже разделась и почувствовала, что новоиспеченный муж внимательно разглядывает ее. Он коснулся ее шрама и тут же отдернул руку с явным отвращением. Она привыкла носить одежду с длинным рукавом зимой и летом, и теперь ее изуродованная рука оказалась для Гургуриса полной неожиданностью.

Алкоголь несколько притупил ее страх перед тем, что должно было произойти дальше, и все равно она подумала, что сейчас задохнется, когда его огромная туша взгромоздилась на нее сверху. Он быстро достиг желаемого, и вскоре, без дальнейших разговоров, они уже оказались в разных концах огромной кровати. Катерина полежала немного, разглядывая непривычной формы лампы и мебель, а затем провалилась в глубокий сон. Кровать с пологом, с гладкими льняными простынями и пухлыми перьевыми подушками оказалась исключительно удобной.

На следующий день Катерина уже по-настоящему вошла в новую жизнь. Она еще раньше собрала все свои вещи на улице Ирины, и теперь за ними послали фургон, чтобы отвезти в дом Гургуриса в западной части города. Это был новый и довольно безликий дом на улице Сократус, купленный два года назад, в то самое время, когда Гургурис прибрал к рукам мастерскую Морено. Дом располагался фасадом на север, в нем были маленькие окна и тяжелые портьеры, но не это было главной причиной полумрака, стоявшего в комнатах почти весь день. Катерина обнаружила, что ее муж маниакально бережет мебель от света.

– Так куда полезнее для обивки, – хвалился он. – Пусть солнце в окна зря не жжет – Гургурис мебель бережет! – Это была одна из его бесконечных поговорок, к которым Катерине предстояло привыкнуть.

Уже потом она заметила, что больше всего на свете он обожает такие вот бойкие стишки. Если ему случалось сложить две строчки в рифму, он повторял их без конца, обычно с радостной улыбкой, ожидая похвал. Раз в неделю он публиковал рекламные объявления на первой полосе газет и почти все вечера проводил, сочиняя к ним тексты.

«Вас ждет успех! В наших платьях затмите всех!»

В первый же день Катерина поняла: Гургурис хочет, чтобы она сидела дома.

– Думаю, для начала тебе нужно несколько дней, чтобы здесь освоиться, – сказал он. – А там подумаем, стоит ли возвращаться на работу в мастерскую. Скажем, на полдня?

Ей никогда не приходило в голову, что придется бросить работу. Она растерялась. Правда, в мастерской стали относиться к ней совсем иначе, как только узнали, что она выходит замуж за Гургуриса, и все же ее неудержимо тянуло обратно в отделочный цех, на свое рабочее место.

Утром Катерина приступила к изучению новой обстановки. На первом этаже было две больших комнаты, не считая кухни и столовой. Одна служила гостиной, вторая – кабинетом. Последний почти целиком занимали письменный стол и книжный шкаф, где стояли в алфавитном порядке труды древних философов. Катерина осторожно сняла с полки один из томов и, открыв, по тому, как туго сгибался переплет, поняла, что его никто никогда не читал. Одна книга стояла отдельно, и название на ее обложке было, как догадалась Катерина, немецкое: «*Also Sprach Zarathustra*»<sup>[7]</sup>.

Она не удержалась и раскрыла ее. Ей было известно, что муж немного знает немецкий, но вряд ли настолько, чтобы свободно читать. На титульном листе стояло посвящение: «*Für Grigoris Gourgouris. Vielen Dank, Hans Schmidt. 14/6/43*»<sup>[8]</sup>.

Катерина захлопнула книгу. Она уже поняла достаточно: Гургурис был в дружбе с каким-то немцем. Она с отвращением поставила том обратно на полку, решив поскорее забыть о том, что видела.

Во всех комнатах был одинаковый темно-бежевый линолеум на полу, на стенах кремовые обои с тиснением, а двери, плинтусы, рейки, на которых висели картины, оконные рамы и ставни (всегда закрытые) были выкрашены в стандартный, практичный коричневый цвет.

На полу было несколько ковров и один-два пейзажа на стенах в каждой комнате. Мебель в основном новая, некоторые кресла и диваны выглядели так, будто на них никто никогда не сидел. На длинном обеденном столе, вокруг которого стояло восемь стульев, а в центре – канделябр, не было ни одной царапинки, застекленный буфет в том же стиле был совершенно пуст. На буфете стояла огромная хрустальная ваза без цветов.

Катерина начала распаковывать свои немногочисленные пожитки. Икону, которую подарила ей на свадьбу Евгения, поставила на пустую полку в гостиной. В этом безликом доме она казалась одинокой и какой-то неуместной. Фотографию Евгения Катерина решила не ставить на буфет. Пусть лежит вместе с заветной фотографией Димитрия в коробке, спрятанной в шкафу под одеждой.

Кухня оказалась хорошо оборудованной, с современной плитой, а заглянув в шкафчики, Катерина увидела целые ряды вставленных друг

в друга алюминиевых кастрюль и сковородок. Совсем не то, что на улице Ирины.

Идеально подогнанные ставни не только задерживали свет, но вдобавок еще не пропускали воздух, и во всех этих мрачных комнатах стоял один и тот же удушливый запах пыли и плесени.

Катерине хотелось распахнуть все окна и двери, поставить во все вазы свежие цветы, но она полагала, что мужу этот дом нравится таким, как есть, а значит таким он и должен оставаться.

Дом был просторный, и это могло бы показаться роскошью, но Катерина считала, что места тут слишком уж много для двоих. Все это нагромождение разноцветных ковров, одеял и вышитых подушек было так не похоже на ее прежнее обиталище, что возникало чувство, будто она попала в другой мир.

Наверху, в спальне, стоял огромный пустой шкаф, и Катерина повесила туда несколько платьев. Для женщины ее профессии одежды у нее было немного, и муж уже выразил желание, чтобы ближайшие месяцы она посвятила шитью новых нарядов для себя.

– Моя малышка должна выглядеть красоткой! – сказал он утром, похлопывая ее пониже спины. – Так что берись за дело, сшей себе что-нибудь. У тебя же есть швейная машинка?

Зингер, подаренный Константиносом Комниносом несколько лет назад, еще вчера привезли с улицы Ирины, и теперь он стоял на полу в столовой.

Вечером Гургурис принес домой несколько отрезков материи: бледно-розовой в клетку, желтой с красными розочками, мятно-зеленой в полоску. Все они были не в ее вкусе, но она решила, что теперь это входит в требования ее новой «работы»: одеваться так, как хочет муж.

Домработнице, очевидно, было сказано, что кухарка в доме больше не требуется. Она по-прежнему приходила раз в день – подмести полы и отполировать и без того сверкающую мебель, – но готовку Гургурис желал препоручить жене. С трепетом Катерина раскрыла поваренную книгу – свадебный подарок Евгении. Раньше она готовила только по устным рецептам, приспособивая их к своему вкусу, подбирая нужное количество трав и специй, и следовать печатным инструкциям было непривычно.

Каждый день молодая супруга отправлялась гулять, часто заходила к Евгении, которая еще с конца войны работала дома. Изредка и Евгения бывала на улице Сократус, хотя как-то раз неосторожно проговорила, что в этом огромном мрачном доме ей делается жутковато.

– Мне тоже, – вздохнула Катерина, – а мне здесь жить...

Они сидели на кухне за эмалированным столом, на одном конце которого уже были сложены продукты для ужина.

– Но он, по крайней мере, красивый и просторный, – поспешно добавила Евгения.

Катерина начала мыть чашки. Муж любил каждый вечер съесть ужин из трех блюд, и пора было приниматься за готовку.

– Как семейная жизнь? – шутливо спросила Евгения.

– Я справляюсь.

Ответ был, пожалуй, слишком поспешным, зато правдивым. Она справлялась с этой новой жизнью, как с необходимой работой. Каждый день ей нужно было выполнять определенные обязанности, чтобы соответствовать роли жены, кухарки и экономки.

Гургурис решил, что она должна сидеть дома. Если попадется какая-то особо важная или сложная работа, он принесет домой, и пусть себе шьет, а в мастерской ей делать нечего.

Месяцы проходили спокойно. Катерина взялась за шитье одеял для спален и стала понемногу добавлять дому те чисто женские черточки, которых ему, как ей казалось, не хватало. Она научилась отключаться от мыслей о прошлом и о будущем, и шитье, как всегда, помогало в этом. Каждый стежок делался в настоящем, здесь и сейчас – иначе было нельзя. В прошлом остался Димитрий, а в будущем ее ждал только ежедневный страх перед возвращением мужа.

Дел Катерине хватало – нужно было ходить на рынок Модиано, готовить, шить и иногда навещать Евгению, – а вскоре ей пришлось взять на себя еще одну обязанность. Через полгода, недовольная тем, что ей пришлось уступить роль кухарки, домработница объявила, что уходит.

– Завтра помещу объявление в газете, – сказал Гургурис, на каждом «т», «б» и «п» обдавая Катерину брызгами супа, который она приготовила на этот раз. Это был суп из лобстера, и красновато-коричневые пятна сразу проступили на бледно-розовом платье.

Катерина кивнула. При таком огромном количестве безработных вряд ли придется долго ждать, пока кто-нибудь откликнется, хотя многие женщины готовы были скорее просить милостыню, чем убирать чужие дома.

На следующий день, обходя дом с тряпкой в руках, Катерина обнаружила, что все эти месяцы уборщица делала свою работу спустя рукава. Все, что на виду, блестело, а вот под шкафы и за спинки мебели она никогда не заглядывала. Катерина с удовольствием распахнула ставни и стала наводить чистоту. Это была довольно приятная работа, и дом



показался уже не таким мрачным, когда в окна хлынул свет.

Она начала с прихожей и гостиной, а затем настала очередь кабинета Гургуриса. Там было несколько десятков книг, но корешки у всех необмятые. Все они стояли здесь просто для видимости.

Никакого толку от них, подумала она, обметая книги, только пыль собирают.

Том Ницше трогать не стала.

Она переложила со стола какие-то бумаги, чтобы отполировать его до блеска, а затем занялась потускневшими латунными ручками на выдвижных ящиках. Один из ящиков был приоткрыт, и кое-что в нем привлекло ее внимание. Там лежала какая-то папка, и на обложке большими аккуратными буквами стояло два имени: «Морено – Гургурис».

Увидев свою новую фамилию рядом с фамилией давних друзей, Катерина вздрогнула. Она часто думала о Морено, и каждый раз, когда бывала у Евгении, о них вспоминали с печалью и гневом. Они так и не узнали, что случилось с Элиасом, не слышали даже, добрался ли он до Палестины.

Катерина на секунду почувствовала себя виноватой: нехорошо рыться в бумагах мужа, но все же открыла ящик и вынула папку. С минуту посидела за столом, глядя на нее. Еще не поздно было вернуть ее на место, но демон любопытства уже овладел молодой супругой, и, еще секунду поколебавшись, она раскрыла ее.

Сверху лежал лист бумаги с какими-то цифрами, похожий на приходный счет, потом документ с печатями муниципалитета Салоников, а дальше, на плотной пергаментной бумаге «Свидетельство о праве собственности» на мастерскую на улице Филиппу. Насколько она поняла, предприятие обошлось ее мужу в очень небольшую сумму, в несколько раз меньше той, за которую можно было купить хотя бы дом на улице Ирины, и выплатил он ее сразу же, единовременно. Фактически предприятие досталось ему даром.

Дальше шла переписка, предшествующая продаже, и Катерина стала жадно читать письма, не веря своим глазам.

Она сразу же узнала подпись под первым письмом. Это было то же имя, что и на книге Ницше. За годы оккупации, когда офицеры были частыми гостями в мастерской, она запомнила несколько немецких слов. Среди них были «*guten Tag*», «*bitte*» и «*danke schön*». Вот эти слова она и увидела в конце письма: «*Danke schön*» – «спасибо».

Следом шло несколько писем от мужа в Службу по утилизации еврейской собственности и ответов на них. Катерина разложила их

в хронологическом порядке и начала читать. Руки у нее неудержимо дрожали.

Первое письмо от Гургуриса было датировано 21 февраля 1943 года и отправлено из Ларисы. Катерина подсчитала, что это было еще до того, как Морено уехали из Салоников. В письме муж излагал просьбу передать ему «прибыльный и процветающий бизнес „Морено и сыновья“». Писал, что его предприятия в Верии и Ларисе уже хорошо зарекомендовали себя, и теперь он хочет расширить бизнес в Салониках. В ответ на это его просили представить доказательства лояльности правительству. За этим следовало еще несколько писем, и, читая их, Катерина почувствовала поднимающуюся тошноту. Там упоминалось о нескольких денежных пожертвованиях на правительственные нужды, а в последнем, написанном в июле 1943 года, был список имен. Она сама не заметила, как стала читать вслух.

*Матеос Керопулос, партизан;*

*Гианнис Алахузос, партизан;*

*Анастасиос Макракис, партизан;*

*Габриэль Перес, скрывается под чужим именем;*

*Даниэль Перес, скрывается под чужим именем;*

*Иаков Шустель, скрывается в христианской семье под чужим именем;*

*Соломон Мизрахи, скрывается в христианской семье под чужим именем.*

Было очевидно, что по наводке Гургуриса всех этих людей арестовали. Еще первые трое, возможно, просто попали в тюрьму, но остальные – Катерина точно знала – были отправлены в Польшу или даже убиты прямо на месте.

Теперь ей все ясно. Благодарность немецких офицеров ее муж заслужил предательством и коллаборационизмом.

Она закрыла папку и с полчаса, если не больше, сидела за столом, уронив голову на руки, парализованная ужасом и нерешительностью. Нельзя показывать виду, что она открыла секрет мужа, но как же теперь жить с этим знанием? Как дальше жить с этим человеком?

Положив папку обратно в ящик, женщина встала и вышла из комнаты. Чудовищная ошибка, которую она совершила, лежала на душе тяжким грузом. Никто ее силой не гнал замуж за Григориса Гургуриса, и теперь она должна расплачиваться за собственную глупость. Никто тут не виноват, кроме нее самой.

Катерина вышла на кухню, закрыла все окна и ставни и включила тусклую настольную лампу. Машинально начала готовить ужин, но слезы гнева и отчаяния градом катились по лицу, и она почти не видела, что делает.

Тук-тук-тук-тук...

Нож раз за разом опускался на разделочную доску.

Тук-тук-тук-тук...

Сквозь туман слез она видела лишь металлический блеск ножа. На долю секунды ей представилось, как она вонзает острое лезвие в грудь. Это казалось мгновенным избавлением от переполнявшей ее ненависти к себе. Никогда еще Катерина не чувствовала такого странного желания наказать себя. Это длилось всего несколько секунд, но ее поразило, что она чуть было не поддалась искушению. Ну нет, сказала она себе, изволь отвечать за свои поступки.

Она продолжала нарезать овощи кубиками, но, как и следовало ожидать, злость, рассеянность и острый нож в руках оказались опасным сочетанием. Конечно же, она порезала палец.

Катерина бросила нож и крепко сжала руку, надеясь остановить обильное кровотечение. Она и не думала, что в пальце столько крови. Чисто-белая горка нарезанного лука покрылась багровыми пятнами.

От боли и неожиданности у нее вырвались неудержимые рыдания, и она не услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Когда Гургурис вошел, она безуспешно пыталась перевязать палец каким-то лоскутком.

– Ох, милая моя. Что случилось? – спросил он, подходя, и раскинул руки, чтобы обнять ее.

Катерина вывернулась. Его огромная туша вызывала у нее теперь еще большее отвращение. Слезы высохли. Меньше всего ей хотелось ронять свое достоинство перед этим человеком.

– Порезалась, – сказала она, пряча пораненный палец. – Вот и все. Ничего страшного.

– Ну что ж, как вижу, ужин ты готовить теперь не можешь, – сказал он с легким оттенком брезгливости, видя, что кровь уже просочилась сквозь ткань. – Не возражаешь, если я схожу куда-нибудь поесть? Григорис умирает от голода.

С этими словами он потерял живот. Это была одна из множества его досадных привычек – говорить о себе в третьем лице. Этакий гигантский ребенок-шалун, но под этой маской, как знала теперь Катерина, скрывалось нечто совсем иное.

– Не возражаю, – сказала она. – Мне что-то нехорошо. Я, пожалуй, пойду наверх.

Она не могла даже смотреть на Гургуриса и обрадовалась, когда он снова ушел. Без него у нее будет время подумать.

Когда он вернулся поздно ночью, Катерина лежала неподвижно и притворялась спящей, пока не услышала храп. Полный желудок жирной пищи и бренди – достаточная гарантия, что он не проснется до утра.

Ужасное открытие этого дня снова и снова крутилось у нее в голове вместе с мыслью о том, что же ей теперь делать. Знают ли в мастерской, что это его «приобретение» – награда за сотрудничество с нацистами? Кому об этом рассказать и стоит ли вообще выдавать свою посвященность? Катерина вспомнила, что некоторых коллаборационистов уже судили и почти сразу же помиловали или вынесли крайне мягкие приговоры. Принадлежность к коммунистам до сих пор считалась гораздо более серьезным преступлением, чем коллаборационизм.

Наутро она лежала с закрытыми глазами, пока Гургурис не ушел, а затем быстро оделась и отправилась на улицу Ирины. Был один человек, с которым она должна была разделить это страшное бремя.

Евгения выслушала ее в смятении.

– Прости меня. Прости меня, прости, – повторяла она снова и снова, качая головой, охваченная жалостью к Катерине. – Если бы я знала, я бы не дала тебе выйти за него замуж.

– Ты не виновата, – возражала Катерина. – Никто не виноват, кроме меня. Я приняла решение, и мне с ним жить.

– Должен же быть какой-то выход. Ты можешь уйти и пожить пока у меня.

– Он меня разыщет. И тогда придется объясняться. Не надо было мне открывать этот ящик.

– Сделанного не воротишь, – сказала Евгения.

– Знаю...

– Ты увидела то, чего видеть не хотела, – продолжала Евгения. – Но ведь это правда. Так, может, и к лучшему, что ты знаешь?

– Он мне и раньше-то был омерзителен. А теперь... – Катерина сидела, оперев локти в стол, уронив голову на руки, и плакала. Правая рука все еще была кое-как забинтована. – Теперь я знаю, что он убийца.

– Постарайся не думать об этом. Мало ли в городе коллаборационистов.

– Но этот-то – мой муж!

– Знаешь, пожалуй, не стоит ничего решать сгоряча, – посоветовала Евгения. – Если только не собираешься от него уходить, а ты ведь

не собираешься.

Катерина теперь точно знала одно: все, кто говорил, что она еще может полюбить Гургуриса, были не правы. Не любовь, а ненависть родилась в ней.

– Дай-ка взгляну на твой палец. Давай-давай, снимай бинт.

Ранка была еще болезненной и кровоточила. Катерина вздрагивала, когда Евгения промывала ее.

– Может, все-таки показаться врачу? – спросила Евгения.

– Нет, ничего, заживет. А как только заживет, я скажу Гургурису, что хочу вернуться в мастерскую. Хотя бы на пару часов, после обеда. Я с ума сойду, если буду целыми днями сидеть в этом доме. Взаперти, со всеми этими мыслями...

Катерина ушла с улицы Ирины, полная решимости вечером поговорить с мужем о возвращении на работу.

– Ну что ж, можешь ходить на пару часов в день, если дом запускать не будешь, – неохотно сказал тот. – Это твоя главная задача – и еще ухаживать за кириосом Гургурисом.

– Да, – ответила она.

– На место домработницы много претенденток, так что одной заботой скоро будет меньше.

– Хорошо, – сказала Катерина.

Она старалась отвечать этому негодяю как можно короче, а когда тот спросил, что с ней, сказала, что рука еще побаливает.

– Ах да, – сказал Гургурис. – Ты уж лучше не ходи в мастерскую, пока не заживет. Сейчас не то время, чтобы вводить в моду красные свадебные платья.

Он осклабился, довольный своей остротой, и, кажется, не заметил, что она не улыбнулась в ответ.

## Глава 26

За много километров от Салоников, в горах близ Янины, Димитрий теперь руководил медицинской службой, и работы там всегда было по горло. Он слышал, что Демократическая армия обстреливает Салоники, и, как ни тосковал по ним, радовался, что он сейчас далеко. Ему тяжело было бы стрелять по родному городу, где живут люди, которых он любит больше всего на свете.

Сам же город, несмотря на обстрелы, жил обычной жизнью, и швейная мастерская работала, как всегда. Катерина стала выходить в утренние смены, и женщины в отделочном цеху, кажется, обрадовались, что она вернулась. Несколько дней она раздумывала над тем, знает ли кто-нибудь из них, при каких обстоятельствах Гургурис приобрел эту мастерскую, но спрашивать не стала.

Каждый день она начинала работу ровно в восемь, а уходила в двенадцать, чтобы успеть приготовить ужин. Любовь Гургуриса к еде граничила с одержимостью, и готовку он считал главной обязанностью жены.

Через несколько недель после возвращения Катерины на работу ее попросили зайти к кирии Комнинос. Ольга все еще ходила в черном, но немного поправилась с тех пор, как Катерина видела ее в последний раз, и теперь ей нужны были новые платья.

Они не виделись с момента Катеринино замужества, и у Ольги накопилось множество вопросов.

– Павлина говорила, у тебя было чудное платье. Понравилась тебе твоя свадьба?

Катерина старалась не вспоминать о свадебной церемонии и о том, как поклялась перед Богом принадлежать Гургурису до конца жизни.

– Красиво было, – безучастно сказала она.

– Расскажи же мне про свой дом. Павлина говорит, это вилла на улице Сократус. А готовить ты научилась?

– Научилась. Кухня там со всеми современными удобствами, даже новая электрическая плита есть.

– Но все-таки, не сама же она готовит? Тебе, наверное, все равно приходится делать всю основную работу.

– Да, приходится. А кириос Гургурис очень любит поесть.

– Могу себе представить, – сказала Ольга и улыбнулась Катерине, но заметила, что на ее лице не промелькнуло ни тени ответной улыбки.

Вечером Ольга рассказала о своих наблюдениях Павлине.

– Не такой я ожидала увидеть молодую жену, – заметила она.

– Да, правда. Она какая-то хмурая, – согласилась служанка. – Но она ведь и с самого начала к нему особой любовью не пылала.

– Да, но я-то надеялась, со временем она как-то привыкнет к кириосу Гургурису, – возразила Ольга.

– Ну, еще не так много времени прошло, – сказала Павлина.

– Мне показалось, она как будто не совсем здорова, – нерешительно сказала Ольга.

– То есть ребенка ждет? Быстро же она!

– Такое ведь может быть, правда?

– Может, но, думаю, мне-то уж она бы рассказала! – воскликнула Павлина слегка ревниво.

– Что ж, я ее просила зайти еще на будущей неделе – будем надеяться, к тому времени ей станет лучше.

Когда Катерина пришла снова, Павлина заметила, что вид у нее еще более поникший, чем в прошлый раз. Старая служанка пыталась найти очевидные признаки беременности, но их не было. Просто пропал какой-то огонек. Павлина ясно помнила, как увидела Катерину впервые. Это был тот день, когда Евгения с детьми пришли на улицу Ирины, и даже тогда эта пятилетняя девчушка с открытым простодушным лицом словно светилась изнутри. Все мучились страхами и подозрениями, а девчушка в светлом платье с оборками так и сияла. А теперь, через годы, этот свет погас. Девочка, которая, казалось, и ходить-то умела только вприпрыжку, превратилась в женщину, еле волочащую ноги. Не было больше ни блеска в глазах, ни ясной улыбки – из нее словно вытянули все жизненные силы.

Была середина августа, самый жаркий день за все лето. В спокойном серебристом море отражалось бесцветное, затянутое дымкой небо. Впустив Катерину в дом, Павлина налила ей на кухне прохладительного.

– Ты хорошо себя чувствуешь? Что-то ты какая-то молчаливая.

– Все хорошо, Павлина. Просто очень уж душно сегодня.

– И больше ничего, правда? Я уж думала, с тобой что-то случилось. У кириоса Гургуриса все в порядке?

– Да, – неловко ответила Катерина. Она не хотела нарушать данное себе обещание: терпеть и не жаловаться. – Все хорошо.

Молодая женщина встала, ей хотелось поскорее сбежать от расспросов

Павлины.

– Можно, я пойду к кирии Комнинос?

Она пошла наверх с двумя платьями в руках и увидела, что Ольга стоит на верхней площадке.

– Здравствуйте, кирия Комнинос, – сказала Катерина, стараясь изобразить веселость.

– Доброе утро. Пойдем в гардеробную?

Катерина пошла за ней и вскоре уже намечала булавками швы и замеряла длину рукавов и подола. Обычно они непринужденно болтали во время этих примерок, но, видя, как нахмурены у Катерины брови, Ольга не решалась начать разговор.

Ей не хотелось совать нос в чужие личные дела, однако без слов ясно было: что-то не так, Катерина несчастлива. Инстинкт подсказывал Ольге, что это как-то связано с Григорисом Гургурисом. Этот надменный, самоуверенный человек, который не раз сидел за ее обеденным столом и хохотал над своими же глупейшими шутками, наверняка повинен в том, что грусть заволокла Катерино лицо, словно облако. Ольга знала, что такое несчастливый брак, и ей было знакомо это выражение молчаливого отчаяния. Втайне она чувствовала, что у нее много общего с этой молодой женщиной. Обе совершили одну и ту же ошибку, и для обеих она обернулась пожизненным приговором.

Катерина подняла глаза от своей работы и заметила на тумбочке фотографию Димитрия в рамке. В точности такая же, как та, что Павлина дала ей, – единственная его фотография во всем доме на улице Ники.

Ольга заметила, куда смотрит Катерина.

– Он был очень красивый, правда?

– Да, – нерешительно ответила Катерина. – Очень. И храбрый.

В глазах у нее блестели слезы. Сейчас она смотрит на лицо человека, который отважно сражался против немцев, а ночью будет спать в одной постели с тем, кто охотно жил бы при немцах и дальше. С коллаборационистом. Ее душил стыд.

В следующие недели Катерина еще несколько раз приходила к Комниносам. Павлина каждый раз пыталась добиться от нее, отчего она так несчастна, но модистра отмалчивалась.

Прошло уже больше двух лет со дня гибели Димитрия, и Ольга перестала носить траур. Однажды Катерина была у нее и разглаживала новую юбку, светло-голубую в горошек.

– Правда, приятно надеть что-нибудь цветное? – спросила Катерина.

– Не знаю даже, – ответила Ольга. – Непривычно как-то.



Тут в дверях спальни возникла Павлина, вся красная. Она бежала по лестнице бегом и теперь задыхалась от быстрого подъема и от избытка чувств.

– Кирия Комнинос... Мне нужно вам что-то сказать. Кое-что случилось.

– Павлина! Что такое? В чем дело?

– Ничего страшного. Но это невероятно. Просто невероятно.

– Павлина, да говори же! – В голосе хозяйки звучало нарастающее недовольство.

Катерина застыла, слегка смущенная, с юбкой в руках. Служанка стояла в дверях, так что незаметно выйти было нельзя.

– Не знаю, как вам и сказать... н-но это...

– Павлина, в чем дело?! – Ольга начала уже выходить из себя.

Служанка и в самом деле вела себя чрезвычайно странно, а теперь залилась неудержимыми слезами. Трудно было понять, от радости или от горя.

– Я знаю, что он умер. Но...

Катерина увидела, что за спиной Павлины стоит кто-то еще. Какой-то мужчина.

Ольга лишилась чувств. Катерина первой выговорила это имя.

– Димитрий? – произнесла она, чувствуя, как слезы текут по лицу.

– Да, это я.

Когда мать пришла в себя, сын сидел рядом с ней на кровати.

– Прости, что я так неожиданно, – сказал он. – Хотел сначала написать, но решил, что это слишком опасно. Вот и пришел так...

Мать и сын долго не разжимали объятий. Потом Димитрий повернулся к Катерине, поднес ее руки к губам и поцеловал.

– Моя Катерина, – сказал он.

– Ну и напугал же ты нас, – откликнулась она. – Но я так рада тебя видеть.

Павлина пошла вниз, чтобы принести Ольге воды, и вернулась с четырьмя стаканами.

Кирия Комнинос полулежала, откинувшись на подушки, а остальные расселись вокруг кровати на низеньких стульях с мягкой обивкой.

– Но мы же получили письмо... от коммунистического руководства, – сказала Ольга. – Как они могли так ошибиться?

– Может, это и не они, мама, – осторожно произнес Димитрий. После секундного молчания он спросил, когда придет отец.

– Он в отъезде. Собирается покупать шелковую фабрику в Турции, –

ответила Ольга.

Несколько часов Димитрий рассказывал матери о последних событиях – так, как он их видел. Как ни хрупко было ее здоровье, он не мог скрывать от нее правду.

Он рассказал, где был с тех пор, как сформировалась Демократическая армия, и том, о чем не упоминали газеты в репортажах о все не стихающей гражданской войне. Много он все же опускал, однако признался, что видел достаточно ненужной жестокости и что ему часто приходилось лечить жертв с обеих сторон. Когда речь шла о больных или умирающих, он старался не делать различия. Боль есть боль, от нее все страдают одинаково.

– Не знаю, что будет дальше, – говорил он. – Сейчас-то для нас дела складываются неплохо. Я стараюсь делать все, что в моих силах. Люди гибнут, это отвратительно и бессмысленно – но я не могу сейчас все бросить. Я все-таки считаю, что правые должны уступить часть власти левым.

– А что там с этими детьми? – спросила Павлина. – Мы читали, будто бы их отобрали у родителей и отправили в коммунистические страны. Это правда?

– В основном пропаганда, но частично правда, – ответил Димитрий. – Однако это делалось, чтобы спасти детям жизнь, а не навязать им какие-то взгляды.

– Твой отец был уверен, что ты коммунист, – сказала Ольга. – А для него коммунисты – это самое страшное зло, которое пытается захватить страну.

– Там много убежденных коммунистов, мама, но я к ним не принадлежу, – мягко сказал Димитрий. – И я не собираюсь уезжать ни в какую коммунистическую страну. Греция – моя родина, я за нее сражался все это время.

День клонился к вечеру, а они вчетвером так и сидели в спальне. Павлина исчезала и появлялась с полными тарелками еды, и всем казалось совершенно естественным, что Катерина тоже здесь, с ними. Ольга невольно заметила, что к модистре вернулась забытая улыбка. Когда она смотрела на Димитрия, ее глаза сияли.

Боя часов было не слышно за разговором, но вот Павлина опять пошла вниз и оставила дверь открытой. Катерина сосчитала удары.

– Мне надо идти, – охнула она.

– Зачем же так сразу? – спросил Димитрий. – Я тоже скоро пойду.

– Нужно успеть приготовить ужин, – сказала молодая женщина. – А я

еще и мяса не купила.

– Евгения ведь, я думаю, не рассердится?

– Я не про Евгению, – еле слышно проговорила Катерина. – Я теперь замужем.

– Замужем! – воскликнул Димитрий, и это слово на миг словно повисло в воздухе; в голосе мужчины явно послышалась нотка растерянности.

Катерина заметила, как он бросил быстрый взгляд на ее руки (на правой, на безымянном пальце, блестело обручальное кольцо), словно хотел убедиться, что она говорит правду. Если бы можно было сорвать это кольцо и выбросить в открытое окно, она бы так и сделала. Но теперь поздно.

– Ну, в общем, – неловко пробормотала она, – мне надо идти. Надеюсь, ты вскоре приедешь еще.

Женщина тихо вышла и почти побежала домой, задержавшись на минуту только в лавке мясника. В душе ее боролись противоречивые чувства.

Гургурис был уже дома.

– Вижу, милая моя, – проговорил он с тихим сарказмом в голосе, – кирия Комнинос попросила тебя заодно и шторы сшить?

– Извини, – сказала Катерина. – Мы заговорились. Время как-то незаметно пролетело.

– А ужин?! Об ужине ты подумала?! – закричал он. – Я прихожу с работы усталый, а дома пусто! И ужина нет!

– Я же сказала, извини, – кротко повторила Катерина.

– Надеюсь, ваш разговор того стоил, – прошипел он, – потому что Григорис не очень-то любит чистить картошку и резать салаты.

Гургурис часто хватал ртом воздух – гнев давался ему нелегко. Легкие у него были не те, чтобы на одном дыхании осилить такие тирады, и он запыхался.

– Мне нехорошо, – бросила через плечо Катерина, положила пакет с мясом на приставной столик, выбежала из комнаты и бросилась наверх, в ванную. Она знала, что гнаться за ней по лестнице он не станет. Такому жирному это не под силу.

Вскоре она услышала, как сердито хлопнула входная дверь – муж ушел из дому. Пойдет в какой-нибудь городской ресторан, напишет в себя столько еды, что хватило бы на целую семью, и вернется. Но к тому времени она уже будет спать.

Она вдруг осознала весь ужас своего положения. Она замужем за человеком, которого ненавидит, а тот, кого она любит, воскрес

из мертвых.

Но эти две катастрофы – только полбеды. Главная пытка – делать вид, будто ничего не случилось. Однако иначе ей не выжить.

– Так это правда? – спросила Ольга Павлину вечером. – Он правда был здесь?

До возвращения Константиноса Комниноса из поездки оставалось еще два дня, и можно было спокойно поговорить о Димитрии, не боясь, что их подслушают.

– Да, это точно был он. Как мы только не померли на месте. И о чем он думал – появиться вот так, когда мы уверены, что его уже и в живых нет?

– Кажется, я и правда умерла на месте, на секунду, во всяком случае, – улыбнулась Ольга. – У меня определенно сердце остановилось.

– Ну, так вы же больше пятнадцати минут без чувств пробыли. Я бы за доктором побежала, да не знала, как ему все это объяснить.

– А ты заметила, какая Катерина была счастливая? – спросила Ольга. – Просто вне себя от радости.

– Так они же на одной улице росли, – сказала Павлина. – Он ей все равно что брат.

– Она любит Димитрия, Павлина, – возразила Ольга. – Я только сегодня это поняла.

Павлина, против обыкновения, ничего не сказала. Слова тут были ни к чему.

С точки зрения Гургуриса, опоздание Катерины в тот день доказывало, что она неспособна совмещать работу в мастерской с домашним хозяйством.

– Это вообще была глупая мысль – снова идти шить, – заявил он на следующий вечер. – Тем более в мастерской, а не дома. Тут и без этого дел хватает.

Катерина кивнула. Спорить было бесполезно. Она налила мужу суп и размешала в нем ложку сметаны. Занятый едой, он не замечал, что она почти не разговаривает с ним, а в промежутках между блюдами старается подольше задержаться на кухне.

Каждый день, когда не ходила за покупками и не была занята приготовлением гигантских порций еды по требованию мужа, Катерина старалась забыть за вышиванием.

Изредка она бывала в гостях у Евгении, но всегда возвращалась вовремя, чтобы успеть приготовить очередной ужин. По пути домой

заходила в церковь Святого Николая Орфаноса и ставила свечки за семью Морено.

Молиться Катерина не могла. Каждый раз, когда просила Бога об избавлении, она представляла себе мертвого Гургуриса. Картины того, что открылось в польских лагерях смерти, вставали перед ней, стоило только закрыть глаза, и, зная, что некоторые из этих смертей – на совести ее мужа, она ощущала непреодолимую жажду мести.

Желать кому-то смерти казалось ей равнозначным убийству, и, понимая, что снова пожелает этого в следующий раз, когда будет стоять на коленях в одиночестве, Катерина чувствовала себя преступницей. Просить у Бога прощения в тот самый миг, когда совершалось это прегрешение, было бессмысленно.

Понять, о чем следует молиться, а о чем нет, было так же трудно, как решить, кто прав, а кто виноват в этой непрекращающейся войне. Ходили рассказы – иногда просто слухи, иногда свидетельства очевидцев – о том, какие зверства творятся с обеих сторон. Катерина думала о Димитрии.

Она не очень верила, что Бог прислушается к ее молитвам теперь, когда в сердце у нее кипит такая ненависть, и все же молилась за тех, кому грозила опасность. А затем спешила домой и старательно готовила ужин. С каждым днем ее блюда становились все изысканнее – всю свою артистическую натуру, которую когда-то проявляла в работе, она теперь вкладывала в готовку и делала свое дело безукоризненно.

## Глава 27

Не одной Катерине приходилось притворяться, чтобы защитить себя. Ольга Комнинос вынуждена была делать то же самое. За последние десять лет у нее не было недостатка в практике. С самых первых дней работы манекенщицей, когда ее учили принимать вид то скромный, то надменный, то робкий, то царственный в зависимости от представляемого стиля одежды, она привыкла изображать из себя кого-то. Когда же они переехали на улицу Ники и у Ольги началась агорафобия, ей пришлось играть новую роль – идеальной хозяйки дома.

Если бы ее муж узнал, что Димитрий вернулся и рассказал матери о его письме, гнев Комниноса был страшен для обоих. С Константиноса стало бы выследить сына, и Ольга не позволяла себе даже думать, какая ярость обрушилась бы на нее за то, что она впустила его в дом. Все это было для женщины достаточным стимулом, чтобы стараться вести себя, как будто ничего не случилось.

Времени со дня «смерти» сына по всем канонам приличия прошло уже достаточно, чтобы перестать горевать, и Комнинос решил, что пора уже снова давать званые обеды. Помимо всего прочего, ему хотелось продемонстрировать, что его дела идут благополучно, несмотря на все беспорядки в стране. За последние несколько месяцев правительственные войска стали все увереннее одерживать победы над коммунистами, и уже одно это, по мнению Константиноса, было поводом для праздника.

– Я пригласил кириоса и кирию Гургурис, – сказал он Ольге.

Бедная Катерина, подумала Ольга. Она, должно быть, ждет этого с ужасом.

Пожалуй, Катерине может показаться странной роль гостыи в этом доме, куда она всегда приходила как модистра. Ольга вспомнила, как не по себе было ей самой, когда она превратилась из манекенщицы в хозяйку. С другой стороны, в списке гостей самоуверенных людей было столько, что смущение Катерины могло пройти и незамеченным.

Вечером в субботу, когда за столом снова собралось десять человек, придерживавшихся в целом одних и тех же политических взглядов, разговор вращался в основном вокруг новостей о гражданской войне. Она сейчас входила в новую стадию – бои шли в горах Граммос, отделявших Эпир от Македонии. Весь прошлый год коммунистам

удавалось удерживать за собой эту территорию, но теперь правительственные войска перешли в наступление. Бои гремели уже несколько дней, и гости, читавшие правые городские газеты, оживленно обсуждали ежедневные сводки новостей. Только об одном в этих сводках говорилось непредвзято – о массовой поддержке американцев, которой пользовалось теперь правительство и которая давала ему огромное преимущество над коммунистами – и в артиллерии, и в бронетехнике, и в авиации.

Пока Комнинос, Гургурис и прочие гости желали победы Правительственной армии и поражения Демократической, Катерина с Ольгой представляли себе Дмитрия, рискующего жизнью под перекрестным огнем.

Катерина была в новом оранжевом вечернем платье из блестящей ткани. Этот цвет ей совсем не шел, но таково было распоряжение Гургуриса. Она ковыряла вилкой еду, скрывая отсутствие аппетита, и иногда механически подносила к губам бокал. Горло у нее так сжималось от волнения, что она не могла ни говорить, ни глотать. Ольга сидела напротив, разделяла все ее страхи и сомнения, и это было большим утешением, а Павлина, приносящая новые блюда, старалась положить Катерине поменьше. Она понимала, что ей не хочется есть.

Под конец все гости поднялись наверх, в гостиную и на балкон. Облака дымаплыли в ночном воздухе, звенели бокалы с бренди в честь грядущей победы правительственных сил над коммунистами.

Ольга с Катериной наконец решились посмотреть друг другу в глаза. Никто из гостей не заметил этого молчаливого знака понимания и сочувствия. Им было не до того – они произносили тосты, снова и снова наполняли бокалы и прикуривали друг у друга сигареты.

Внизу люди гуляли по набережной, многие – под руку. Поднимали головы, слыша наверху шум и восклицания, и разглядывали их – состоятельных граждан Салоников.

Над головами висела тоненькая дужка серебристого света. На таком непроглядно-черном небе, при молодом месяце, без облаков, звезды казались огромными. Ольга с Катериной стояли рядом, и можно было потихоньку переброситься несколькими словами, пока их никто не слышит.

– Видишь Орион? – спросила Ольга, глядя вверх. – Ты же знаешь, что он рядом с созвездием Гончих Псов? Дмитрий любил его показывать.

Она ободряюще сжала руку Катерины и отошла, чтобы поговорить с другой женщиной, одиноко стоявшей поодаль.

За несколько сотен километров от них, в горах Граммос, такая темная, почти безлунная ночь была на руку Димитрию. Вместе со своей бригадой он решился сделать невозможное: незаметно уйти, пока их не окружили. В полной темноте трудно было разглядеть дорогу в этой непроходимой местности, но она же помогала им самим остаться незамеченными.

Димитрий устал до смерти. Пять суток он работал день и ночь, без сна, помогая раненым. Любой, кто не в силах был уйти с ними, оказался бы в ловушке. Это было рискованное путешествие, но оставаться было не менее опасно – их бы схватили и пристрелили на месте.

До конца августа и Ольга, и Катерина жили в постоянной тревоге, читали новости, слушали радио с надеждой и страхом. Говорили о крупном сражении в горах Граммос, где все еще скрывалось двадцать тысяч бойцов Демократической армии. Правительственная армия поставила себе целью полное уничтожение оппозиции, и, когда стало ясно, что поражение неизбежно, руководство коммунистической партии отдало приказ бойцам отходить в Албанию по единственной еще не перекрытой дороге.

Через четыре дня после начала решающего сражения газеты сообщили, что Правительственная армия полностью контролирует Грецию. Гражданская война пришла к концу, и многие, включая и Константиноса Комниноса, ликовали. В октябре было подписано официальное соглашение о прекращении военных действий.

Три женщины, которые любили Димитрия, вскоре после этого встретились на кухне в доме на улице Ники.

– Может, хоть теперь узнаем, что с ним, – сказала Павлина.

– Но мы всегда будем знать, что он сражался за свои убеждения, – отозвалась Катерина.

Если Димитрий в Албании, возможно, в один прекрасный день они получат от него весточку. Если нет, то, возможно, он в розыске. Если он погиб, придется с этим смириться. Узнать что-либо было неоткуда.

Они видели, как город постепенно возвращается к нормальной жизни, и сами тоже продолжали жить по-прежнему – во всяком случае, внешне.

Катерина почти не выходила из дома и изобретала при помощи кулинарной книги все более жирные и все более роскошные блюда для своего мужа. Ингредиенты теперь стало легче доставать, мясо и молочные продукты каждый день появлялись на рынке.

В свободное время она вышивала одеяло для одной из гостевых комнат.



Гости у них останавливались редко, и было вероятнее всего, что это одеяло, кроме нее, ни одна живая душа не увидит, но ей хватало удовольствия от самой работы.

Инициалы Саула, Исаака, Элиаса, Розы и Эстер Морено, а также две буквы П (Польша и Палестина) образовывали круг, а в центре был вышит голубь. Катерина с удовлетворением перечитывала единственное вышитое ею слово: «Siempre».

Она почти не знала ладино, но помнила, что это слово означает «всегда» или «навсегда», и теперь, вышитое, оно хранило память о Морено.

В узор из чередующихся гранатов и виноградных кистей Катерина вплела несколько самых важных иудейских символов – это был ее личный памятник друзьям. Каждый день после полудня она посвящала этой работе около часа и была нельзя сказать чтобы счастлива, но все же в ней оживала надежда. Включенное радио спасало от одиночества, и когда женщине нравилась какая-нибудь песня, она старалась запомнить слова. Ее любимой была «Печальная мелодия рассвета». Чистота и щемящая грусть этой песни глубоко трогали ее.

Проснись, малыш, уже поет рассвет  
Печальную мелодию в тиши...

Однажды декабрьским утром Катерина, как это часто бывало, зашла в гости к Евгении на улицу Ирины. За день до этого у нее побывал почтальон.

– Тебе письмо, – сказала Евгения, улыбаясь. – От кого-то, кто еще не знает, что ты вышла замуж. И фамилию твою правильно писать не умеет!

– Тут ничего необычного нет, – сказала Катерина и взяла конверт. – Сарафоглу еще никто правильно не написал! – Она посмотрела на конверт: «Кирии К. Сарафольгау». Явно не от матери, которая уже давно перестала писать. Что-то показалось Катерине необычным в этой ошибке в фамилии. Она распечатала письмо, дрожа от волнения и нетерпения. – Я так и думала! – торжествующе вскричала она, доставая листок из конверта. – Это от Димитрия! Он вставил Ольгино имя в мою фамилию!

Катерина тут же сунула письмо обратно в конверт, почти приплясывая от радости, и расцеловала Евгению.

– Надо бежать, – сказал она. – Ольга должна получить его немедленно.

Катерина распахнула дверь и бегом пустилась по улице. За месяцы, когда раскармливала мужа, она и сама прибавила пару сантиметров в талии и, пока добежала, вся покраснелась.

Молодая женщина обняла изумленную Павлину и поведала ей новость хриплым шепотом. Была вероятность, хоть и небольшая, что Константинос дома.

– Павлина! Он жив. Димитрий жив. Где Ольга? Вот письмо!

Павлина в слезах показала рукой вверх. Ольга была в спальне, когда туда ворвалась Катерина.

– Смотрите! – крикнула она. – Откройте конверт!

Две женщины сели рядом на кровать, и Ольга открыла письмо. Руки у нее так дрожали, что лист бумаги в них ходил ходуном.

*Дорогая мама,*

*в отличие от многих моих товарищей, я не стал переходить границу Албании. Не для того я сражался все это время, чтобы стать изгнанником. Я сражался, потому что люблю свою страну. Сейчас я понятия не имею, что меня ждет в будущем, но хочу сообщить тебе, что я жив. Сотни моих храбрых товарищей пали здесь, в горах. Как и я, они верили, что воюют за правое дело. Я оказался среди тех, кому повезло.*

*Теперь я в розыске, так что мне придется быть очень осторожным, когда приеду повидаться. Это опасно как для меня, так и для тебя. В любом случае дам тебе знать заранее. Не хочу рисковать твоим сердцем, как в прошлый раз!*

– За сердце мое боится! – воскликнула Ольга. – Да оно сейчас вот-вот разорвется от радости!

– Это тоже опасно! – улыбаясь, сказала Катерина.

Письмо заканчивалось словами: «Пожалуйста, передай привет нашей служанке и модистре. Вы все очень дороги мне».

Подписи не было. Только слова «ваш друг» и поцелуй. То, что письмо от него, ясно было только по почерку. Ни одного имени не названо, чтобы никто не мог попасть под подозрение.

Димитрий сдержал слово. Через пару недель на улицу Ирины пришло еще одно письмо. На конверте стоял обратный адрес больницы, а адресовано оно было опять «кирии К. Сарафольгау».

*Следующий врачебный прием – в среду, 25 января, в 10 часов.*

В назначенный день Ольга, Павлина и Катерина сидели, взволнованные, на кухне, когда раздался звонок. Часы на лестничной площадке как раз отбивали время, когда Павлина открывала дверь.

Димитрий был совсем не похож на того, каким они его видели в прошлый раз. Правда, он был все такой же худой, но на этот раз чисто выбрит, в пальто и темной шляпе.

Димитрий обнял сначала мать, затем Павлину. Катерина стояла чуть позади, и сердце у нее колотилось.

– Катерина, – произнес Димитрий, беря обе ее ладони в свои. – Я скучал по тебе.

Ее широкая улыбка сказала ему все, что он хотел знать.

Они прошли следом за Ольгой вверх, в гостиную, расселись и сразу же начали разговор, понимая, что Димитрий, должно быть, пришел ненадолго. Павлина вышла и принесла кофе и только что испеченное печенье курабье. Это было любимое печенье Димитрия.

– Ты такой нарядный! – сказала Ольга.

– Это просто маскировка, – откликнулся Димитрий. – У меня фальшивые документы, в них сказано, что я адвокат. Должен же я и выглядеть соответственно!

– Твоему отцу понравилось бы! – пошутила Павлина.

– Да уж, наверняка понравилось бы! Ну, это самое большее, на что я способен в этом смысле. Как он?

Упоминание о Константиносе Комниносе сразу изменило настроение в комнате, напомнив всем, что Димитрий официально мертв.

– Как всегда, – коротко ответила мать.

Повисло неловкое молчание.

– Да, Катерина, скажи мне, – начал Димитрий, желая сменить тему, – ты все так же делаешь богинь из женщин Салоников?

– Увы, нет, – ответила Катерина, стараясь, чтобы это прозвучало весело. – Муж хочет, чтобы я сидела дома.

– Вот как, – отозвался Димитрий. – Это большая потеря. Мама говорит, ты была лучшей в городе!

– Да, – сказала Ольга. – Очень жаль. Все Катеринины таланты теперь пропадают даром.

– А там, в горах, женщины сражались вместе с мужчинами! Как равные! Уж они-то наверняка не станут после этого слушаться мужей...

Катерина улыбнулась Димитрию:

– Ну, по-моему, большинство мужей и сейчас считают, что жены должны делать, как им велят.

Димитрий повернулся к матери:

– Ты сама понимаешь, что я не могу остаться в Салониках. Сейчас это

опасно, и, думаю, будет лучше, если я тебе не скажу, куда еду, – сказал он.

– Тебе лучше знать, Димитрий, – согласилась Ольга. – Только присылай весточки иногда. Я должна знать, что с тобой ничего не случилось.

– Я хотел бы взять кое-какие вещи, – добавил Димитрий. – Несколько книг по медицине. Хочу снова учиться. Там, в горах, мне многое пригодилось бы из того, что я не успел узнать. Когда-нибудь и диплом получу. – Он встал. – Катерина, пойдем со мной, поговорим, пока я буду собираться.

Она пошла за ним.

Комната Димитрия осталась совершенно такой же, какой была почти десять лет назад. Все книги так и лежали там, где он их бросил: какие-то свалены в беспорядке, какие-то лежат открытыми на столе и их подпирают стопки других. Ольга велела Павлине ничего не трогать. Пыль везде была вытерта, но очень осторожно, чтобы все осталось на своих местах. Тут был медицинский словарь, человеческий череп, которым Димитрий когда-то так гордился, на стенах висели техничные, но странно красивые рисунки по анатомии, а на листке, вырванном из блокнота, лежал карандаш. Как ни странно, сохранились тут и детские вещи – на соседней полке лежали маленькие счеты и рогатка, а у стены стоял старый обруч.

Димитрий подошел к столу и начал рыться в нем, а Катерина стояла рядом, чувствуя себя немного неловко.

Димитрий вдруг обернулся, держа в руке какую-то игрушку:

– А помнишь, как мы играли на улице много лет назад? Мы с тобой, Элиас, Исаак и близнецы?

Он смотрел ей прямо в глаза – взглядом, полным страсти и гнева.

– Конечно помню, – ответила Катерина.

– Что же изменилось, Катерина? Где эти годы? Где эти люди?

Жестокое время – вот что все изменило, могла бы сказать она, но понимала, что одно осталось неизменным. Она любила Димитрия тогда и любит его сейчас.

Ласково взяв ее за плечи, он тоже это понял.

Димитрий видел столько разбитых жизней, столько жестокости, страха и насилия. Он испытал на себе ненависть отца и видел, как брат восстает против брата. Он видел, как страна ведет войну сама с собой, и все это было бессмысленно в сравнении с этими объятиями.

Катерина тоже пережила свою внутреннюю гражданскую войну. С той минуты, как на глаза ей попался список невинных людей, преданных Гургурисом, она жила в постоянном смятении. Почувствовав, как нежно коснулся Димитрий ее изуродованной руки, она отчетливо поняла,

что любима. Ее переполнило неведомое доселе ощущение покоя.

То же было и с Димитрием. Он почувствовал касание ее ласковых губ, и вся горечь прошедших лет словно растаяла.

Оба они так долго ждали этой минуты и теперь без слов решили, что не могут ее упустить. Да и зачем было противиться такому желанию?

Через час двумя этажами ниже, на кухне, Павлина укладывала Димитрию еду в дорогу.

Ольга знала о чувствах Катерины к ее сыну и теперь, увидев их вместе, уверилась, что Димитрий отвечает молодой женщине полной взаимностью. Понимая, что в ближайшем будущем сын вряд ли здесь появится, она хотела дать им с Катериной побыть наедине.

– Худой он какой, – сказала Павлина. – Надеюсь, там, куда он едет, его хоть кормить нормально будут!

– Не думаю, Павлина, что он хорошо питался эти годы, – сказала Ольга. – Но так можно сказать о половине Греции, правда?

Она смотрела, как Павлина доверху набивает коробку свертками с сыром, долмадакией (фаршированными виноградными листьями), тиропитами (сырными пирогами) и сушеными фруктами.

– А ты уверена, что он все это донесет? – рассмеялась Ольга.

Наконец Димитрий сошел вниз, за ним следовала Катерина. Стройный, легкий, со старой школьной сумкой через плечо, Димитрий казался по меньшей мере лет на десять моложе своих тридцати двух лет. Словно на занятия в университет собрался.

– Димитрий, – начала Ольга, чувствуя, как сжимается горло, – ты уже уходишь?

Сколько у них ни было прощаний, легче они от этого не становились.

– Да, мне пора. Всем, кто сражался в Демократической армии, сейчас опасно ходить по улицам, но я обещаю, что буду писать. Я так хочу вернуться в этот город, что сильнее и хотеть невозможно...

– Не знаю, что делать с твоим отцом, – сказала Ольга.

– И я не знаю, – поддержал Димитрий. – И я.

Оба понимали, что главный враг Димитрия – здесь, в его собственном доме.

Павлина с Катериной отошли в сторону, пока мать с сыном обнимались. Потом Димитрий взял коробку, которую Павлина старательно перевязала веревочкой, по очереди поцеловал всех трех женщин в лоб и вышел в прихожую. Тянуть с уходом было больше нельзя.

Павлина открыла дверь и огляделась по сторонам.

– Все в порядке, – доложила она. – Никого нет.

Димитрий ушел, не оглянувшись. Через две минуты Катерина направилась в другую сторону. Пора было идти за продуктами для ужина.

Сегодня она собиралась приготовить яичный суп с лимоном, жареные баклажаны с брынзой, бараньи ноги с белой фасолью и ореховый торт с патокой. А за этим последует лукум, греческое лакомство, приготовленное еще вчера.

Она уже много месяцев наблюдала за тем, как муж все раздается вширь. Не считая вышивания, которым она занималась тайком, пока его не было дома, единственной работой для нее как для швеи, было расставлять пояса на его брюках.

Она готовила с радостью в сердце. Мясо уже мариновалось в собственном соку, в точности как любил Гургурис, и она с удовольствием принялась за остальные блюда. Яйца с сыром, сахар, масло и свиной жир в малых количествах были довольно безобидны, но в таких дозах неминуемо вели к острой сердечной недостаточности. Пока что единственным заметным следствием этой жирной пищи было то, что после нее Гургурис почти сразу засыпал, но понемногу, закупоривая сосуды, она достигала и другой цели. Катерина же говорила себе, что всего лишь исполняет желания мужа.

– Мне надо прилечь перед ужином, – отрывисто сказал Гургурис. – Только накрывай поскорее, ладно, милая?

Он медленно втащил свою тушу по темной лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке. Через час ужин был готов, и он спустился. Жевал Гургурис тоже медленно, с перерывами – даже поднести вилку ко рту, кажется, уже не мог без одышки.

Тайное ощущение счастья не покидало Катерину. Даже если она заходила к Евгении, а письма от Димитрия не было, не огорчалась. Можно и потерпеть какое-то время, если знаешь, что когда-нибудь он вернется – а он вернется, вне всяких сомнений.

Месяца через полтора после приезда Димитрия Катерина заметила, что и сама тоже, как и муж, пугающе раздалась в талии. И грудь тоже увеличилась в размере.

– Ты наверняка беременна, – сказала Евгения. – Я даже не сомневаюсь.

– Но Григорис же догадается, что это не его ребенок! – воскликнула Катерина. – У нас уже столько месяцев ничего не было! Он всегда уже спит, когда я ложусь в постель...

– Что-нибудь придумаем, – успокоила Евгения улыбаясь. – Но я бы на твоём месте не говорила об этом ни одной живой душе. По крайней

мере, пока.

Через несколько дней Катеринин желудок стал все хуже реагировать на ее собственные блюда, и она не могла без тошноты съесть ничего, кроме хлеба с оливковым маслом. Несмотря на это, она продолжала готовить еще старательнее. Пирог со шпинатом из слоеного теста, говядина с сыром халуми, бугаца (пирожные с жирным заварным кремом) – все это были любимые блюда ее мужа, и она хотела удовлетворить его аппетиты.

Однажды Катерина приготовила ужин полегче обычного. В качестве основного блюда подала рыбу без картофельного гарнира. Даже десерт был легкий: клубника, чуть присыпанная сахаром, и тонкие вафли.

– Ты что, на диету Григориса посадила? – спросил муж, помахивая вафлей в воздухе. – Считаешь, кириос Гургурис немного раздобрел?

С этими словами он потерял свой необъятный живот. Но Катерина только мило улыбнулась и сказала:

– Я подумала, пусть будет что-то новенькое для разнообразия.

В эту ночь, когда они легли в постель, Гургурис не заснул сразу же по своей привычке, и Катерина, раздеваясь в гардеробной, не услышала храпа. Она надела ночную рубашку, которую вышивала когда-то специально для брачной ночи, вошла в спальню и, не выключая ночника, чтобы муж разглядел в темноте белую ткань, улеглась в кровать рядом с ним.

Она почувствовала, как его руки задирают на ней шелковую рубашку, и тут же, без разговоров, он взгромоздился на нее. Почти задохаясь, она не смогла даже вскрикнуть – воздуха не хватало. И тут же, в самый миг коитуса, тяжеленная туша обмякла.

Поняв, что ее придавило огромное мертвое тело, которое после смерти стало еще тяжелее, Катерина пришла в ужас. Но властное чувство, говорившее, что ей теперь есть для чего жить, придало ей почти сверхъестественную силу, и она сумела столкнуть с себя Гургуриса одним отчаянным рывком. Кое-как выбралась из-под него.

Первой мыслью было: не пострадал ли ребенок? Второй – как теперь скрыть радость оттого, что муж наконец мертв?

Одевшись и взяв себя в руки, она пошла в соседний дом звать на помощь. Через час прибыл врач и засвидетельствовал смерть Григориса Гургуриса. Причиной была острая сердечная недостаточность – довольно распространенный случай, учитывая его возраст и лишний вес. Его сердце давно уже было бомбой с часовым механизмом.

Остаток ночи Катерина проспала в гостевой комнате, под красивым одеялом, которое вышивала в память друзей, а утром тело ее покойного

мужа увезли.

Катерина сделала все, что от нее требовалось. Ходила в черном с ног до головы и отвечала на письма с соболезнованиями. На похороны пришли десятки работников мастерской и многие клиенты Константиноса Комниноса. Все восхищались ее стойкостью. Чем же еще можно было объяснить то, что вдова не плачет?

Через несколько дней зачитали завещание. Катерина узнала, что предприятия в Салониках отходят племяннику Гургуриса, который управлял мастерской в Ларисе. Ему же достался и дом на улице Сократус.

Адвокат посмотрел на Катерину поверх очков, ожидая реакции. Так нередко случалось, что человек завещал всю собственность родственнику-мужчине, если у него не было сына или другого прямого наследника, но адвокату казалось, что это довольно жестоко – выгонять молодую женщину из дома.

Она держалась с совершенным спокойствием, что адвокат счел весьма достойным.

– Ах да, – сказал он. – Тут еще кое-что.

Он улыбнулся ей, стараясь подбодрить ее, как маленькую.

– Он отдельно указал, что его племянник должен выплачивать вам ежегодное содержание в сумме половинного жалованья модистры.

Катерина почувствовала неодолимое желание расхохотаться над такой мелочной гадостью, но нельзя было показывать этого важному адвокату, глядящему на нее из-за стола.

– Спасибо, – сказала она. – Но я без этого обойдусь. Когда я должна освободить дом?

– Через месяц после смерти вашего мужа, – ответил адвокат, заглянув в документ.

– Отлично, – сказала Катерина. – Я съеду к концу недели.

Адвоката даже заинтриговала эта женщина – с ней ведь обошлись так низко, а ей, судя по всему, и горя мало.

– Видимо, я была очень плохой женой, – сказала она, почувствовав его удивление. – Но и он был очень плохим мужем.

С этими словами Катерина встала и вышла из комнаты. К вечеру ее чемоданы были собраны и дом на улице Сократус заперт. Вместе с несколькими платьями она взяла с собой только вышитое одеяло и свою машинку зингер. Больше ей ничего было не нужно. Легкой походкой она вышла на главную улицу и взяла такси до улицы Ирины. Евгения ждала ее.

Беременность была уже заметна, но тошнота прошла, и Катерина чувствовала себя счастливой и полной жизни, как никогда.



– Жаль, что нельзя надеть что-нибудь поярче, – сказала она Евгении; вдовьи наряды казались ей грубыми и безжизненными.

– Думаю, лучше еще немного в черном походить, – посоветовала Евгения. – Иначе выйдет легкомысленно.

Совет был здравым. В таком консервативном городе Катерине было необходимо, чтобы в ней сразу опознавали вдову. Тогда не будет вопросов о том, чей ребенок.

Последние месяцы перед рождением малыша Катерина посвятила шитью для него разных одежек: чепчиков, слюнявчиков, распашонок, платьиц, курточек, одеял.

Оставаясь одна, Катерина напевала своему еще не рожденному ребенку. Наверное, тысячу раз строки ее любимой песни звучали из окна, придавая новый смысл ее положению.

Проснись, малыш, уже поет рассвет  
Печальную мелодию в тиши,  
Лишь для тебя рождается она  
Из чьих-то слез и из тепла души...

Как только люди стали замечать изменения в ее фигуре, сочувствия и участия к ней стало еще больше.

– Какая трагедия, – говорили они, – остаться беременной вдовой.

В последние недели перед родами Катерина часами сидела с Евгенией на крыльце, наслаждаясь ласковым теплом ранней осени на тихой мощеной улице. У ног их стояла корзинка с разноцветными лоскутками хлопка, иглоками, ленточками и тесьмой. Обоим хотелось успеть закончить все к сроку.

Евгения соткала одеяльце из светлых ниток и теперь обвязывала края крючком.

– Вот и готово, – сказала она. – Теперь ему тепло будет. Ты же знаешь, какая сырость бывает у нас зимой.

Молодая женщина отложила свое вышивание, закрыла глаза и повернула лицо к солнцу.

При гладкой, без единой морщинки, коже у Катерины были тени под глазами, черные, как вдовый траур, покрывавший ее с головы до ног. Она снова взяла маленькое платьице, лежавшее у нее на коленях, и принялась за работу. Голубой ниткой вышила еще одно украшение у ворота. Это была маленькая бабочка, которой оставалось только приделать усики. И тогда все будет превосходно.

– Ну вот, – сказала Катерина, словно подводя итог. – Теперь пойду

в дом отдохну.

Она улыбнулась Евгению понимающей улыбкой, полной радостного ожидания.

– Что-то мне подсказывает, что уже недолго, – прибавила она.

На следующий день, 5 сентября 1950 года, у Катерины родился сын. Она назвала его Теодорис – Божий дар.

## Глава 28

Катерина радовалась, зная, что этот чудесный мальчик с шелковистыми волосами – сын человека, которого она любит. Павлина так и ахнула, увидев его в первый раз.

– Вылитый отец, – сказала она. – В точности таким Димитрий и был, когда родился!

В установленные традицией сорок дней, что она провела дома с младенцем, некоторые модистры из мастерской Гургуриса заходили на улицу Ирины, чтобы полюбоваться на малыша и принести собственноручно сшитые подарки.

– Как жаль, – говорили они, – что отец его не видит.

– Да, – отвечала Катерина с улыбкой, загадочной, как у Моны Лизы.

Павлина тоже приходила и приносила подарки от Ольги.

– Неужели и рождение внука не заставит ее выйти из дома? – спросила Евгения.

– Жаль, но не заставит, – сурово отвечала Павлина. – Я так думаю, этот дом она покинет только в собственном гробу. Но хозяйка передала приветы вместе с подарками. И я знаю, она надеется, что вы сами зайдете к ней, как только сможете.

Катерина наслаждалась каждой минутой этих дней, почти целиком занятых уходом за новорожденным. Она ничего не делала, только кормила и качала его, а пока он спал, шила ему одежду и вышивала на каждой вещичке его имя. Евгения, которая все еще ткала дома на своем станке, всегда была рядом, готовая помочь и поддержать.

Они обе были дома, на улице Ирины, когда пришло письмо от Димитрия. Оно было написано уже давно и, как и прежде, адресовано Катерине, но на этот раз ее фамилия была написана правильно. Когда она увидела адрес на конверте, сердце у нее упало. Макронисос.

Это был пустынный остров неподалеку от берегов Аттики, где правительство устроило гигантский лагерь для заключенных-коммунистов. Он был печально известен творящимися там жестокостями, и давно уже ходили слухи о том, какому зверскому обращению подвергаются там люди.

*Дорогая Катерина!*

*Прости, что не написал тебе раньше и не рассказал, где я. Как ты*

*уже поняла по адресу на конверте, месяц назад меня арестовали. Мне больше нечего сказать, кроме того, что я люблю тебя, скучаю по тебе, твой образ живет в моей памяти, и только это придает мне сил.*

*Пожалуйста, сообщи эту новость моей маме как-нибудь деликатно и поцелуй от меня Павлину.*

*Димитрий*

В тоне письма ощущалась грусть и надломленность. Все знали, что такое Макронисос и в каких условиях там содержат заключенных. Правительство не делало секрета из того, что происходит на острове: оно хотело, чтобы участь «предателей», отправленных туда, послужила предупреждением остальным. Однако никто не распространялся о том, к каким мерам там прибегали, чтобы вырвать из заключенных признания. Такие подробности можно было услышать только от тех, кто согласился отречься от своих коммунистических убеждений и был отпущен.

Когда парочки ходили любоваться закатом на мыс Сунион, к самому живописному и величественному храму в этих краях, они невольно смотрели на серый скалистый остров за полоской воды, где все казалось безжизненным и неподвижным. Это и был остров Макронисос.

Одного его вида было достаточно, чтобы сломить любого из тех, кого присылали сюда. Среди них было много учителей, адвокатов и журналистов, непривычных к таким условиям. Власти утверждали, что это исправительный лагерь для тех, кого нужно вернуть на истинный путь, но он стал символом насилия и пыток. Помимо тяжелой работы (арестованных заставляли заниматься бессмысленным и изнурительным трудом, например строить дороги, которыми никто не пользовался), здесь применялись постоянные физические и психологические пытки – от избиений металлическими прутьями и лишения сна до одиночного заключения.

Целью всего этого было заставить их подписать отречение от своих убеждений, и, чтобы добиться желаемого, власти прибегали к всевозможным методам идеологической обработки и пыток. Не было секретом, что остров превратили в огромный «центр социальной реабилитации», где содержалось до десяти тысяч бывших бойцов Сопротивления.

Случалось, что люди умирали, не успев «раскаяться». Тысячи их жили в самодельных палатках, голодали до помутнения рассудка, а при отсутствии чистой воды их нередко убивали болезни.

По осторожному тону письма Дмитрия можно было догадаться, что оно подверглось цензуре, но Катерина и так поняла достаточно.

– Я должна сходить к Ольге, – сказала она. Пора было Теодорису выйти в свет, а к кому же первому зайти в гости, как не к бабушке. – Пойдем со мной, Евгения? Мне будет легче рассказать эту новость, если кто-то будет рядом.

– Конечно, дорогая. Пойдем после обеда?

В три часа они отправились на улицу Ники.

Павлина ужасно обрадовалась им и ворковала и суетилась над младенцем, словно видела его впервые. Неуклюжую коляску оставили в прихожей и понесли Теодориса наверх, для торжественной церемонии знакомства с бабушкой.

Ольга всплеснула руками от радости и целый час носила спящего малыша на руках, вглядываясь в его лицо и оживленными восклицаниями отмечая черты фамильного сходства.

– Павлина, принеси сюда детские фотографии Дмитрия!

Хотя это были сделанные в ателье портреты, где Дмитрию было не меньше года и он был снят сидя, все равно можно было разглядеть, как они похожи с малышом, спящим у Ольги на руках.

– Какой красавчик, – сказала Ольга, улыбаясь Катерине. – Если бы знать, где сейчас Дмитрий. Вот было бы замечательно, если бы можно было ему рассказать.

Катерина переглянулась с Евгенией, которая, чувствуя себя немного скованно, сидела напротив, на стуле с высокой спинкой. Дальше тянуть было нельзя.

– Я получила письмо, – сказала молодая мать, доставая из кармана конверт. – К несчастью, он арестован.

– Арестован! – воскликнула Ольга. – И куда же его отправили?

Катерина протянула ей письмо.

– Ты ведь знаешь, что там творится? – проговорила Ольга слабым голосом. – Их стараются сломить и заставить отречься от своих убеждений.

– Знаю. Но теперь нам, по крайней мере, известно, что он жив.

– Им ни за что не заставить Дмитрия подписать отречение, – твердо сказала Ольга. – Даже если его там продержат до конца жизни, он не согласится. Он самый упрямый человек на свете. И для него это будет означать, что его отец победил.

– Он должен поступить так, как считает правильным, – сказала Катерина.

Павлина вошла в комнату, принесла им чая с мятой и стала в ужасе

прислушиваться к разговору.

– Но есть кое-что, что могло бы заставить его передумать, – вставила она.

Три женщины посмотрели на нее, а сама Павлина – на младенца.

– Нет, – сказала Катерина. – Я не хочу, чтобы он знал про Теодориса.

– Я согласна, – сказала Ольга. – Представь, какая перед ним встанет дилемма. Сердце надвое разорвется.

– Все эти люди, которые отреклись от того, во что верили, и вернулись домой, – они опустошены. Муж одной женщины, с которой я когда-то работала вместе на фабрике, подписал, и его отпустили, – сказала Евгения. – Но его жена говорит, он стал другим человеком. Ни работы найти не может, ничего – сидит дома и злится на то, что его вынудили сделать.

– Я даже думать не хочу, что такое может быть и с Дмитрием, – отрезала Катерина.

– Кем станет Дмитрий, если отнять у него его убеждения? Пожалуй, он и жить-то после такого не сможет, – задумчиво проговорила Павлина.

– Ты должна написать ему, что Гургурис умер, – сказала Ольга. – Это, по крайней мере, даст ему какую-то надежду на будущее.

– Да, я сейчас же напишу, – согласилась Катерина.

Через месяц Дмитрий получил Катеринино письмо и написал ответ, где открыто признался в любви к ней. Цензоры пропускали такие письма – им казалось, что, если человека кто-то ждет за стенами тюрьмы, он скорее подпишет отречение.

Дмитрий описывал также свою работу над уменьшенной копией Парфенона на Макронисосе. «Это символ радости и любви к родине, которую мы все здесь ощущаем с такой силой», – писал он.

Катерина всегда показывала письма Евгении, и они обе вздрогнули, прочитав эти саркастические строчки. Они знали, что заключенным на острове приходится строить такие макеты классических памятников – это считалось частью социальной реабилитации. Обе понимали, что Дмитрия это может заставить только презирать власти еще больше.

Переписка шла медленно, но, так как оба не могли сказать правду, писать все равно было почти не о чем. Через несколько месяцев письма от Дмитрия стали приходить уже не с Макронисоса.

*Нас перевели на Йиарос, остров поменьше, в нескольких километрах от Макронисоса. Больше никаких новостей нет. Условия здесь такие же. Заключенные и охранники – единственные его обитатели.*

Когда Теодорису было уже почти два года, Катерина снова начала шить и стала ходить к заказчикам по вечерам, пока Евгения сидела с малышом. Одного короткого рекламного объявления оказалось достаточно, чтобы вернуть прежних клиентов, и о ней вновь разнеслась слава как о лучшей швее в городе.

– А почему бы тебе не занять мой старый дом под мастерскую? – предложила Ольга – ее дом на улице Ирины уже много лет пустовал. – У тебя ведь там и кроить-то негде.

Ольга была права. В маленьком домике, где теперь бегал Теодорис и стоял ткацкий станок, стало очень тесно. Даже Катеринина швейная машинка зингер еле-еле помещалась на столе.

В теплый летний вечер 1952 года Павлина пришла на улицу Ирины и принесла ключ от дома номер три. Вместе они там все вымыли, вытерли пыль и сдвинули мебель, чтобы организовать для Катерины рабочее место.

– Как поживает кирия Комнинос? – спросила Катерина за работой.

– Хорошо, спасибо, – ответила Павлина. – А вот кириосу Комниносу нездоровится.

Катерина не смогла изобразить огорчение. Ей не хотелось лицемерить.

– Кирия Комнинос говорит: немислимо в его возрасте столько работать. Я слышала, как она выговаривала ему на прошлой неделе. Ему же восемьдесят лет, а выглядит на сто! «Ну, не я же виноват, что меня некому заменить, правда?» – это кириос Комнинос так говорит. Меня так и подмывало сказать: «Вы, конечно, кто же еще! Это из-за вас так вышло с Димитрием». Но нет. Не сказала. Промолчала. Однако что ни говори, этот человек чересчур много работает, надсадится так. И вид у него ужасный. Бледный-бледный, тощий как щепка. Ты бы его и не узнала теперь.

Катерина ничего не сказала.

## Глава 29

Через две недели Константиноса Комниноса, работавшего за столом, разбил паралич, и он скоростигжно скончался.

Похороны были пышные, в соответствии с оставленным завещанием. Пятьдесят гигантских венков из белых гвоздик с выражениями соболезнования от мэра, от высших членов городского совета, крупнейших салоникских бизнесменов и других важных людей стояло вокруг церкви Святого Димитрия. После отпевания, проведенного со всей пышностью и церемониями, Комниноса похоронили на городском кладбище, между отцом и братом.

– Я-то думала, кирия Комнинос покинет этот дом, только когда ее саму хоронить будут, а гляди-ка! Пришла на похороны мужа. Тут столько всего произошло, что я думала, она раньше его умрет, – трещала Павлина, – но, видно, что-то придает ей сил держаться. И знаешь что, по-моему?

Катерина кивнула. Она отлично знала, как сильно Ольга любит сына, а теперь и внука.

На Йиаросе Димитрий получил письмо от матери, в котором говорилось, что отец умер. Какое-то время мужчина молча сидел и смотрел на лист бумаги. Покинуть этот Богом забытый остров было бы, конечно, освобождением, но сейчас он почувствовал, что освободился от чего-то куда более тяжкого. Ненависть к отцу была страшным бременем, и вот теперь оно снято.

Решение подписать отречение далось Димитрию нелегко. Он знал, что всегда будет верить в правое дело, за которое сражалась Демократическая армия, но горячее желание увидеть своих любимых было сейчас сильнее всего остального.

Тысячи людей уже подписали эту бумагу, и все же охранники удивились, когда Димитрий выразил такое намерение. От него отречения не ждали, тем более добровольного.

Он смотрел на собственную руку, берущую ручку, чтобы подписать документ, так, словно она была чужой, и это чувство отстраненности еще усилилось, когда перо коснулось бумаги.

*Я был введен в заблуждение коммунистами и обманут. Я отрекаюсь от этой организации, потому что к ней принадлежат враги родины,*



*а значит и мои.*

Он боялся одного: что это отречение опубликуют в салоникских газетах. Это была обычная практика: отречения публиковали в прессе того города, где жил подписавший. Димитрия уже считали умершим, и он тревожился о том, как такое его возвращение отразится на матери и на женщине, с которой он был намерен прожить остаток своих лет. Пока чернила сохли, он поднял глаза и встретился взглядом с офицером. Димитрий помнил, как этот человек заболел во время эпидемии тифа на Макронисосе, а он тогда предложил свои медицинские услуги.

Хотя офицер много дней провел в бреду, он все же запомнил лицо Димитрия и не забыл его, когда снова пришел в себя.

– Ну что ж, теперь вас скоро выпустят, – проворчал он. – Пора вам уже употребить свои медицинские познания с толком.

– Но я ведь не смогу работать, если вы опубликуете мое заявление?

– Не сможете, это верно. Тут уж любой карьере конец, ничего не скажешь. Для коммуниста-то.

– И даже для бывшего коммуниста, – поправил Димитрий.

Он видел, что офицер смягчился.

– Так откуда вы, говорите?

Адрес нужен был для того, чтобы заявление попало в местные газеты.

– Из Каламаты. Улица Адриану, восемьдесят два.

Это было первое, что пришло ему в голову.

– А тут не так написано, – сказал офицер.

– Моя семья переехала, – твердо ответил Димитрий.

Офицер поднял на него глаза и подмигнул. Зачеркнул адрес в его деле, нацарапал сверху «новый» и подписал бумагу, которую протянул Димитрию.

Едва оказавшись на материке, Димитрий отправил письма матери и Катерине. Ему хотелось заранее предупредить их о своем возвращении.

Через несколько дней он уже снова шел по улицам родного города. С тех пор как он был здесь в последний раз, в Салониках появилось новое ощущение благополучия. Кондитерские были завалены треугольными пирожными – тригонами, в уличных кафе было полно людей, потягивавших чай с мятой и кофе. Запах страха сменился запахами свежего хлеба из булочных и цветов с рынка.

Димитрий направился напрямик на улицу Ники и громко позвонил. Теперь ему нечего было опасаться. Ольга была вне себя от радости. Они проговорили целый час, сидя рядом на диване.

– А не будет сложностей из-за того, что отец всем рассказал, будто меня убили? – спросил Димитрий.

– Так ведь свидетельства о смерти не было. А если нужно будет, мы всегда докажем, что то извещение было поддельным.

– Я не хочу, чтобы на меня до конца дней смотрели как на привидение!

– Мы объясним, что это была ошибка, – успокоила Ольга. – А теперь, думаю, тебя ждет Катерина. Тебе надо идти.

Все еще слабый после недоедания на Йиаросе, Димитрий не мог бежать на улицу Ирины, как ему хотелось. Самое большее, на что он был способен, – это быстрый шаг.

Стояла весна, месяц, когда цветет миндаль, и, подходя к дому, он отломал несколько веточек. Дверь была открыта, и оттуда доносились голоса.

Войдя, он увидел нечто неожиданное: Катерина сидела за столом рядом с маленьким темноволосым мальчиком, которого собиралась кормить.

Едва увидев Димитрия, она бросила вилку и встала. Мальчик обернулся посмотреть, куда это она.

– Здравствуй, Катерина, – сказал Димитрий, протягивая ей цветы.

– Димитрий...

Они говорили так, словно мужчина вернулся после пары дней отсутствия, а когда обнялись, мальчик вылез из-за стола и стал дергать Катерину за юбку.

– Мама!

– Ты мне не писала, что у тебя малыш... – сказал Димитрий.

– Это Теодорис, – сказала Катерина улыбаясь. – Поздоровайся, любовь моя.

Димитрий привыкал к виду Катерины в роли матери. Так странно, что она ни разу не упомянула об этом в письмах.

– Он, должно быть, был совсем маленьким, когда умер твой муж.

– Он тогда еще и не родился.

Катерина помолчала немного и взяла ребенка на руки. Они с Димитрием заглянули друг другу в глаза, а потом малыш вдруг застеснялся и уткнулся лицом в мамино плечо.

– Теодорис твой сын, Димитрий.

– Мой? – ошеломленно переспросил он.

– Да, – подтвердила Катерина. – Это твой ребенок.

– Но?..

– Никаких сомнений. Ничьим больше он быть не может.

Наконец Димитрий до конца осознал эту новость, и его изумление

сменилось радостью.

На кухне, когда Теодорис уже сидел у Катерины на коленях, Дмитрий взял ее за руку, и они начали разговор.

– Но ты ничего мне про это не писала. Ни слова!

– Я боялась. Думала, вдруг это заставит тебя вернуться домой, когда ты будешь еще не готов. Вот и решила, что лучше промолчать, – объяснила Катерина.

– Моя Катерина. Спасибо тебе. Мне пришлось ждать, когда умрет отец, но если бы я знал о Теодорисе, мне было бы гораздо труднее. Ты правильно поступила.

Его переполняла любовь к этой женщине, и это чувство стало еще глубже, когда он подумал, чего ей стоила такая сдержанность.

Дмитрий держал Катерину за руки, но не мог отвести глаз от сына, беззаботно игравшего рядом на полу. Сходство между ними было такое, что не заметить невозможно.

– Именем отца я его назвать не могла. А Теодорис ему подходит, – сказала Катерина, улыбаясь Дмитрию, а он в это время улыбался малышу.

– Божий дар, – сказал Дмитрий. – Самое лучшее имя.

Потом они еще час сидели и говорили о будущем.

Дмитрий знал, что не скоро удастся смыть с себя клеймо соратника коммунистов, и ему не хотелось, чтобы то же самое коснулось и Катерины, и их сына.

– Что бы ты ни говорил, это меня не остановит. Я выйду за тебя замуж, – заверила его Катерина.

– Мне не дадут сертификата благонадежности, ты же понимаешь?

Сертификаты благонадежности были обязательными для государственных служащих, без него Дмитрий не мог ни продолжать учебу, ни работать в больнице. Правительство, состоящее из правых, не хотело облегчать возвращение к мирной жизни тем, кто сражался за коммунистов.

– Справимся, – сказала Катерина. – Да и твоя мать поможет, я знаю.

– Я не могу взять ничего из состояния отца, – сказал Дмитрий. – Ни драхмы.

– Ну, тогда я на всех заработаю, – успокоила Катерина. – У меня работы столько, что мы отлично проживем.

Через два месяца, когда документы Дмитрия снова были в порядке (единственный случай, когда ему пришлось все-таки принять помощь матери, настолько непомерную сумму за них запросили), они поженились.

Второй раз Евгения с Павлиной были гостями на Катерининой

свадьбе, но на этот раз и Ольга пришла. Шафером был Лефтерис, университетский друг Димитрия. Посылали приглашения Софии с Марией, но они только что родили и не смогли приехать. Написала Ольга и Зении в Афины, спрашивала, не приедет ли она, но ответа не получила.

Катерина сшила себе великолепное платье из крепдешина и вуаль, отделанную жемчугом, а Теодорису – белый костюмчик с матросским воротником. Димитрию был все еще впору костюм, который сшили, когда ему было восемнадцать лет, хотя Катерине и пришлось подогнать немного, чтобы лучше сидел. Маленькая семья пешком дошла до церкви Святого Николая Орфаноса, где Катерина столько раз молилась. Не на все молитвы Господь откликнулся, но, стоя в церкви в этот день, она чувствовала, что свершилось чудо.

Священник в камилавке удивился, что все семеро пришли разом, и терпеливо смотрел, как каждый берет по свечке и зажигает.

Имена Морено – Саула, Розы, Исаака и Эстер – повторяли шепотом снова и снова, и все молились за Элиаса, надеясь, что, где бы он ни был, он, по крайней мере, жив и род Морено не прервался.

Катерина помолилась еще за здоровье матери и сестры. Когда-нибудь она постарается съездить в Афины повидать их.

Пять минут прошли в молчании. Им необходимо было это время, чтобы вспомнить все, что они пережили. Когда все были готовы, священник начал читать молитву:

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...

Впервые за десять лет в стране формально установился мир. Наверное, не меньше миллиона человек погибли за эти годы, во время оккупации и гражданской войны. Сотни деревень были сожжены, тысячи людей остались без крова, но для Катерины и Димитрия началась в этот день новая жизнь.

## Глава 30

Антикоммунистические настроения в правительстве не слабели, но, по крайней мере, Катерина, Дмитрий и маленький Теодорис могли жить относительно нормальной жизнью. Все популярнее становилась массовая одежда фабричного производства, и Катерина, хотя еще шила иногда свадебные платья, без сожаления рассталась с миром моды и решила попробовать что-то новое. Они с Дмитрием открыли новый бизнес и назвали его «Обивочные материалы и мебель нового века». Наняли столяра и стали делать кресла и кушетки, которые Катерина обтягивала новыми моющимися синтетическими тканями.

В следующем году Катерина опять забеременела, и, когда у нее родилась девочка, ее назвали в честь матери Дмитрия. Через полгода обоих детей крестили. Им предстояло расти среди людей, которые души в них не чаяли.

Смерть мужа стала для Ольги освобождением. Много лет после рождения Дмитрия врач ставил ей диагноз «послеродовая депрессия», и хотя полностью излечиться от агорафобии не удалось, теперь она, по крайней мере, могла изредка заглядывать на улицу Ирины. На детей она изливала даже больше заботы, чем другие бабушки. Теодорис с Ольгой забегали на улицу Ники каждый день по пути из школы, и там их всегда баловали Павлиными свежее испеченными тортами и печеньями. Старая служанка была уже слаба и не могла приходить на улицу Ирины, но стряпала для детей угощения до последнего дня, пока не умерла в возрасте девяноста пяти лет. На ее похоронах Теодорис и Ольга в первый раз увидели, как взрослые плачут. Павлина для всех была большой частью жизни.

Дети были близки и с другой бабушкой, Евгенией, и все как-то не представлялся подходящий случай рассказать, что она им не родная. Так как родители их целыми днями работали, старушка вела хозяйство и следила за порядком. Иногда она уезжала на недельку к Софии или Марии (у тех было уже девять детей на двоих), но всегда с радостью возвращалась в дом на улицу Ирины, который после этого казался относительно спокойным.

Иногда по воскресеньям вся семья, включая обеих бабушек, ходила

в их любимое кафе «Ассос» у моря. Дети лакомились мороженым, которое им позволялось только раз в неделю, а женщины съедали по маленькой бугаце.

Бизнес Дмитрия и Катерины начал процветать. По всему городу росли многоэтажные дома, тысячи семей переезжали в лучшие квартиры. У многих впервые появились ванны с водопроводом и кухни с современным оборудованием. Новый стиль жизни требовал нового интерьера и дизайна, и Дмитрий с Катериной едва поспевали за спросом.

В 1962 году, перед самой Пасхой, Катерина получила письмо из Афин. Почерк был незнакомый. Оно оказалось от Артемиды, и в нем сообщалось о смерти их матери. Чуть ли не самым страшным для Катерины было то, что она не могла плакать. О Зении у нее остались смутные, едва уловимые воспоминания, а сестра была и вовсе чужим человеком. Разумеется, она выразила соболезнования и написала, что приедет на поминальную службу, которая должна была состояться через сорок дней после смерти Зении.

К сожалению, она не смогла выполнить свое обещание. Через две недели у Евгении началась инфекция дыхательных путей, и еще через неделю пневмония свела ее в могилу. Вся семья никак не могла примириться с этой неожиданной утратой, а Катерина и вовсе горевала безмерно. Это был куда более страшный удар, чем смерть ее родной матери.

– Но ей же было всего шестьдесят девять, – безутешно плакала маленькая Ольга.

Это была средняя продолжительность жизни для женщин в то время, но дети считали, что Евгения должна была прожить так же долго, как Павлина. Маленький домик без нее опустел, и ткацкий станок с неоконченным ковром сиротливо стоял в углу. Много месяцев Катерина с Дмитрием не могли заставить себя от него избавиться, хоть он и занимал половину комнаты.

Если бы они ждали подходящего момента для переезда, то можно было считать, что он наступил. Дети давно мечтали перебраться с улицы Ирины в какой-нибудь более современный дом, попросторнее. И их родителям жилось бы гораздо легче в новом многоквартирном доме, рядом с работой. Но их сентиментальная привязанность к этой старой мощеной улочке была слишком сильна. И для Катерины, и для Дмитрия с улицей Ирины было связано столько, что их дети и представить себе не могли.

Теперь они арендовали поблизости магазин, где выставляли готовый товар, но жили по-прежнему в доме номер пять, а соседний дом

использовали в качестве мастерской. Им нравилось, что детям можно спокойно играть на улице, как играли они сами несколько десятков лет назад, не опасаясь попасть под машину. Автомобили в городе стали делом обычным, но Димитрий с Катериной выходили из себя уже оттого, что какой-то молодой человек с их улицы взял моду носиться по ней взад-вперед на мотоцикле.

В стране начался экономический бум. Греция стала наконец восстанавливаться, и таким предприятиям, как у Катерины с Димитрием, это пошло на пользу. «Обивочные материалы и мебель нового века» процветали.

Однако политическая ситуация оставалась неустойчивой. Правоориентированное правительство все еще придерживалось мнения, что коммунисты представляют серьезную угрозу, и в начале 1967 года несколько лидеров социалистов было арестовано по обвинению в антиправительственном заговоре. Никаких доказательств их вины не было. Димитрий каждый день читал об этих событиях с нарастающим беспокойством, и его снова начали мучить кошмары о Макронисосе. Иногда Катерина просыпалась ночью и видела, что он сидит на кровати и дрожит от страха.

– Они говорят, что мы на пороге новой гражданской войны, – сказала как-то Катерина, которая на работе весь день слушала радио.

– Ложь, – презрительно отозвался Димитрий. – Пустые выдумки.

Вечером в дом ворвался Теодорис. В этом году он должен был сдавать выпускной экзамен в школе и задержался на дополнительном уроке.

– Папа! Мама! – Голос у него был встревоженный. – Вы видели, сколько там солдат? Целые сотни, на улице Эгнатия. Что случилось?

Под предлогом спасения страны от коммунистов армия устроила государственный переворот. Теперь страной правили полковники.

Это был не первый военный переворот, который видели в жизни Катерина с Димитрием, и они понимали, как ужасно это может отразиться на жизни обычных людей.

Их дети любили учиться и всегда получали хорошие отметки. Вдохновившись советами учителей, которым редко встречались такие одаренные ученики, Теодорис мечтал изучать право. Тут было бы куда приложить его литературные способности, а также умение отстаивать свою точку зрения и держать в памяти большие объемы информации. Димитрий свое мнение по поводу выбора сына держал при себе. Должно быть, думал, что в сыне-подростке все-таки неизбежно должны были проявиться какие-то черточки деда.

В июле, когда в школе объявляли результаты экзаменов, Теодориса постигло величайшее в жизни разочарование. Его оценки оказались даже хуже, чем в среднем по классу. Он прибежал домой и сразу же заперся в своей комнате.

С заднего двора, куда родители вышли подышать воздухом, они слышали рыдания. И сразу догадались, в чем дело.

– Он же такой умный мальчик и так старательно занимался, – потрясенно сказала Катерина. – Как они могли с ним так поступить?

– Боюсь, теперь они могут делать все, что захотят, – ответил Димитрий; он был бледен от тоски и гнева.

Оба понимали, что результаты экзаменов Теодориса подделали и что причина тому – прошлое его отца. Это было обычным делом. Пятно, оставшееся на имени Димитрия после лагеря, теперь лежало и на детях. Димитрий понимал, что связь с левыми ему не забудут, и после возвращения с Йиароса смирился с тем, что доктором ему уже не бывать. Долгое время ему казалось, что на этом его наказание и закончится.

– Думаешь, и с Ольгой будет то же? – испуганно спросила Катерина.

Димитрий не знал, что ответить. Он чувствовал, как в груди поднимается негодование на тех, кто правит его страной.

Все знали, что при новом режиме полиция часто подправляет результаты экзаменов перед оглашением: детям «смутьянов» снижают баллы, а тем, у кого родители «благонамеренные», – завышают. Димитрий старался держаться по возможности в тени и с самого своего возвращения с острова не бывал ни на одном политическом собрании, но понимал, что его прошлое считается преступным и что это всегда будет отражаться на детях. Такой же дискриминации подвергались и сами университетские профессора – тех, кто был известен своими левыми взглядами, увольняли. Посты на кафедрах занимали те, кто готов был читать лекции о патриотизме и Национальной Революции.

– Если даже его и примут, – говорила Катерина, – какое он там получит образование? Всех толковых профессоров права уже уволили за их взгляды.

Они оба знали, что выход есть. Ольга предлагала оплатить его детям обучение в университете и легко могла себе позволить отправить их за границу. Это было предметом бесконечных дискуссий, и не раз у матери с сыном едва не доходило до ссоры.

– Я понимаю, почему ты не хочешь брать отцовские деньги, Димитрий, – говорила Ольга. – Но твоим детям нет никакого резона от них отказываться.



Ольга-младшая тем временем принесла из школы новые учебники, одобренные хунтой.

– Смотри, папа, – сказала она, показывая ему страничку введения. – «21 апреля офицеры перехватили инициативу и спасли страну от коммунистов, вновь пытавшихся ее погубить».

– Чепуха, – сказал Димитрий. – Полная чепуха.

Вечером, когда Димитрий с Катериной остались одни, Катерина поставила вопрос прямо:

– Какой смысл в таком образовании, когда им вдалбливают в голову всю эту ложь?

Димитрий понимал, к чему она ведет, и слушал ее в смущении.

– Ты сам не смог доучиться, но почему же не дать нашим детям лучшее, что в наших силах...

Он все молчал.

– А знаешь, что случилось у Ольги в классе на прошлой неделе?

Одна из Ольгиных подруг, Антула, рассказала в школе анекдот о полковниках. Другая девочка пересказала его своему отцу, как на грех государственному чиновнику, и на следующий же день Антулу исключили из школы.

– Да, знаю, – сказал Димитрий. – Возмутительно.

– Мы должны дать им шанс, даже если нам придется тяжело...

Катерина заметила грусть в глазах мужа. Как и она сама, Димитрий любил детей всем сердцем, но это только укрепляло Катерину убежденность, что им нужно уехать из Салоников.

– Я знаю, что ты права, – сказал Димитрий, глядя на жену, – но все бы на свете отдал, чтобы они остались здесь.

Через несколько дней премьер-министр Георгиос Пападопулос приехал в их город и произнес речь в университете. У Димитрия с Катериной в магазине было радио, и они включили его, чтобы послушать новости.

«Университет должен стать церковью, направляющей духовный рост нации. Преподаватели обязаны вести нацию за собой, и моральное состояние снова должно стать главной заботой, основой человеческой жизни. Нам необходимо вернуться к менталитету, не допускающему нарушения моральных и социальных норм».

– Не могу слушать! – крикнул Димитрий. – Невыносимая пропагандистская чушь!

– Тсс, Димитрий!

Катерина покрутила ручку настройки радиоприемника, чтобы переключиться на другую частоту. Кто знает, каких взглядов

придерживаются посетители, – высказываться против режима просто опасно.

Теперь из динамиков гремели бесконечные военные марши.

– Может, совсем выключить, Катерина? По мне, тишина и то лучше.

Иногда Димитрий вспоминал их вечера с Элиасом, когда они вместе слушали ребетику, и его охватывала ностальгия. Его огорчало, что столько песен теперь запрещено. Его дети не могут слушать певцов, каких хотят, читать новости, какие им следовало бы читать. Пьесы, стихи, проза – все это подвергалось цензуре, а теперь, по словам Пападопулоса, еще и мысли будут контролировать. Деспотический режим.

В половине десятого, закрыв магазин, они молча вернулись на улицу Ирины. Теодорис с Ольгой сидели у себя в комнатах, а Катерина пошла в кухню готовить ужин для всех. Димитрий вошел следом и сел за стол. Стал смотреть, как она в глубокой задумчивости режет хлеб.

– Катерина, – сказал он наконец. – Я знаю, ты права. Мы еще можем вытерпеть такое ограничение свободы, но для детей здесь нет будущего. Мы должны их отпустить.

– Ты серьезно, Димитрий?

– Да. Это было эгоистично с моей стороны. У мамы много денег, так почему бы детям и не поехать в университеты за границу. И она права: моя ненависть к отцу не должна их касаться.

Он поднял голову, и Катерина увидела, что в глазах у него блестят слезы.

В тот же год Теодорис уехал учиться в Лондон, а вскоре и Ольга выдержала экзамен в Бостонский университет.

Ни разу Димитрий и Катерина не пожалели о своем решении. Атмосфера репрессий сгущалась, хунта ссылала тысячи инакомыслящих.

– Я слышал, они снова отправляют людей на Макронисос, – сказала однажды Катерина. – Но этого же не может быть, правда?

– Увы, боюсь, что может, – ответил Димитрий.

Жесточайшие физические и психологические пытки снова стали нормой, и с этим ничего нельзя было поделать. Свободной прессы не было, демонстрации запретили, не осталось никаких способов выразить протест.

Каждое воскресенье по вечерам Димитрий с Катериной писали детям письма. Иногда мать шила или вышивала что-нибудь для них – блузку или платок для Ольги, рубашку или наволочку для Теодориса. Писать они старались весело, легко, боясь, что если будут упоминать о политике или критиковать режим, то письмо не дойдет.

Катерина с радостью послала бы детям и чего-нибудь съестного,

но Дмитрий уверял ее, что в Америке и Британии они и так не голодают, да к тому же соус долмадики наверняка протечет сквозь коробку.

В ноябре 1973 года, когда уже три дня продолжалась студенческая забастовка, студенты Афин подняли восстание. По любительскому радио они передали обращение к народу Греции, призывая сражаться за демократию. Студенты вышли на демонстрацию и в Салониках, чтобы выразить поддержку, но вскоре она была подавлена полицией и армией.

– Как ты думаешь, Теодорис тоже был бы там? – задумчиво спросила Катерина.

– Скорее всего, – ответил Дмитрий.

В Афинах массовые демонстрации против режима вылились на улицы, и через три дня после начала студенческой забастовки ворота Афинского политехнического университета, где забаррикадировались студенты, пробил танк. В завязавшейся схватке погибло двенадцать человек, сотни были ранены.

Это было начало конца. В результате Пападопулоса свергли, а через год диктатуре пришел конец и в страну вернулось демократическое правительство. Коммунистическая партия стала легальной впервые с 1947 года и приняла участие в выборах, состоявшихся в середине ноября. Дмитрий ликовал, когда она заняла несколько мест в парламенте.

Летом Теодорис с Ольгой приехали на каникулы. Они учились хорошо и оба уже строили планы, что будут делать после университета. О деньгах они могли не беспокоиться. Теодорис перевелся в Оксфорд и начал писать докторскую диссертацию по философии, а Ольга осталась в Бостоне.

В Салониках жизнь, судя по всему, налаживалась, и Дмитрий с Катериной, хотя и очень гордились тем, что их дети добились успехов за границей, втайне надеялись, что, завершив образование, они вернуться в Грецию. Когда дети приезжали домой, родители то показывали им строящееся новое здание, которое должно было изменить облик города, то водили посмотреть на улучшения в городской инфраструктуре.

Вскоре Теодорису предложили место в крупной юридической конторе в Лондоне, а Ольга стала врачом в больнице в богатом пригороде Бостона, и каждый шаг их блестящей карьеры уводил их все дальше от родного дома. Летом 1978 года впервые ни один из них не смог приехать в гости. Может быть, это вышло случайно.

Вечером 20 июня, во вторник, на небо вошла полная луна, и закат над Олимпом обещал быть очень красивым. Над заливом встало золотое зарево, которое скоро потемнело и стало огненно-красным. Море переливалось сразу и серебристым светом луны, и огненным светом

солнца.

В эту чудесную ночь люди прогуливались рука об руку вдоль набережной или сидели за столиками в кафе и смотрели на море, опьяненные великолепным световым шоу, которое устроила сама природа. Не нужно было ни музыки, ни разговоров: зрелища солнца и луны было более чем достаточно.

В десять часов земля задрожала. Салоники давно привыкли к таким напоминаниям о том, что земля под ними не так уж устойчива, но на этот раз дрожь не прекращалась.

Димитрий с Катериной допоздна работали в своей мастерской на улице Ирины, когда все вокруг загрохотало. Ножницы скатились со стола и с громким стуком упали на пол, Катерина швейная машинка затряслась на подставке. Ставни захлопали, стулья попадали, рулоны ткани, сложенные у стены, раскатились, как кегли. Казалось, земля под ними вот-вот провалится.

– Любовь моя, – сказал Димитрий, хватая Катерину за руку, – мне это не нравится. Давай-ка выбираться отсюда.

Они выскочили из дома и выбежали на широкую улицу, идущую с востока на запад. Под открытым небом они чувствовали себя увереннее, но тут подстерегали новые опасности: они с ужасом увидели, как дом перед ними зашатался и рухнул. В глаза и в легкие набилась пыль.

Толчки длились недолго, однако разрушения произвели катастрофические. Несколько минут фундаменты каждого здания в городе яростно трясло, а многие из них просто не были на это рассчитаны. Вскоре наступила тишина, а затем – несмолкающий вой сирен.

Переступая через обломки рухнувшей каменной кладки, Катерина с Димитрием поспешили вниз, к площади Аристотелус. Открытое пространство казалось относительно безопасным, и там собрались сотни людей. Так они и стояли – некоторые плакали, а многие от потрясения даже плакать не могли. Вчера уже были предварительные толчки, но землетрясения такой силы не ожидал никто.

Димитрий с Катериной не остались на площади. Кое-что заботило их больше, чем собственная безопасность.

На набережной они свернули налево и побежали вдоль улицы Ники.

– Ей, наверное, так страшно в доме одной, – тревожилась Катерина.

– Надо было все же настоять, чтобы она взяла новую домработницу, – сказал Димитрий, пока они бежали по центру дороги, чтобы их не задело каким-нибудь камнем от рушащихся зданий. – Но она и слышать об этом не хотела. Ты же знаешь, сколько раз я ей предлагал...

После смерти Павлины пятнадцать лет назад Ольга жила в доме на улице Ники одна. Она ни за что не хотела расставаться с привычным видом на залив, которым могла любоваться часами. Зрелище постоянно меняющейся воды и таинственного Олимпа никогда не переставало ее завораживать. Внуки, пока не уехали, забегали к ней каждый день, и у обоих было по отдельной комнате, где они иногда учили уроки. В доме на улице Ирины было слишком тесно для двух взрослеющих детей.

Димитрий с Катериной торопливо шли по набережной, и полная луна озаряла картину разрушения. Какие-то дома пострадали сильно, какие-то остались почти невредимыми. Димитрий с Катериной взялись за руки и ускорили шаг.

Убегая с улицы Ирины, Катерина успела схватить ключ от Ольгиного дома и теперь нервно сжимала его в кармане. Когда дом показался впереди, метрах в пятидесяти, они с облегчением увидели, что он, кажется, цел.

Только подойдя ближе, они поняли, что от постройки остался только фасад. Все остальное лежало в руинах. Крыша, потолки и оставшиеся три стены рухнули.

– О господи! – прошептал Димитрий. – Бедная мама.

Не было ни малейшей надежды, что кто-то мог уцелеть под этой грудой камня, кирпича, бетона и металлических балок.

Катерина стояла рядом, онемев от потрясения. Она схватилась за руку Димитрия, чтобы не упасть, и бесполезный ключ выпал из ее руки в пыль.

– Может, все-таки есть надежда? – выговорила она наконец, когда рыдания стихли.

– Пойду поищу кого-нибудь, но к нему даже подходить опасно.

Дом был огромный, и искать под его развалинами выживших было почти невыполнимой задачей, но Димитрий все же сумел найти людей из службы спасения, и ему пообещали, что спасательные работы начнутся, как только рассветет.

Катерина с Димитрием не спали всю ночь. Они не могли бросить Ольгу, живую или мертвую. На рассвете явилась команда мужчин с лопатами и пилами и подступила к развалинам. Димитрий пошел с ними.

Катерине показалось, что прошла целая вечность, пока муж не вернулся. На самом деле он пробыл там меньше получаса. Когда он появился, волосы у него были белые от пыли, лицо бледное и грустное.

– Мы нашли ее... – сказал он.

Катерина обняла Димитрия, и он заплакал. Все его тело содрогалось от горестных рыданий.

Балка упала на Ольгу, придавив ее наискосок, от груди до бедра. Теперь

ждали технику, чтобы поднять балку и освободить ее.

– Она, видимо, лежала на кушетке, – сказал Димитрий. – Мне показалось, я видел кусок обивки. Я понимаю, это звучит странно, да и лица толком было не разглядеть, но по-моему, оно было очень спокойное, почти безмятежное.

Катерина заставила себя улыбнуться.

Она была рада, что в памяти Димитрия лицо матери останется прекрасным.

Они увидели, как осторожно выносят Ольгино тело, и постояли рядом несколько минут. Катерина молилась. Димитрию сказали, что в течение дня ему нужно будет прийти в городской морг, чтобы произвести официальное опознание, а потом, как они оба понимали, рано или поздно придется вернуться на улицу Ирины.

Когда они уже собирались уходить, к ним подошел один из спасателей. Протянул что-то Димитрию.

– Вот что мы нашли, – сказал он. – Они, должно быть, лежали у вашей матери на груди, когда балка рухнула, вот и оказались прямо под ней. Мы подумали, может, вы захотите забрать. Вряд ли что-то еще удастся спасти. Там все в кашу.

Бестактность этого человека никак не задела Димитрия. Он взял пачку писем, кивнул в знак благодарности и, бегло глянув на них, сунул в карман. Бесполезно было объяснять, как мало его волнует гибель отцовской бесценной коллекции *objets d'art*, часов, картин и статуэток, превратившихся в труху.

Когда они с Катериной шли прочь, Димитрий в последний раз оглянулся на одиноко стоящий фасад особняка. Вот и все, что осталось от богатства Константиноса Комниноса.

Путь к дому преграждали обломки рухнувших зданий, и часто пройти по улице оказывалось невозможно. Наконец они добрались до старого города и кружным путем вышли к улице Ирины.

Когда они свернули за угол, им открылось зрелище полной катастрофы.

Ни один дом не уцелел. От всех остались только камни да куски дерева и штукатурки. Улица Ирины убереглась от пожара шестьдесят лет назад, но перед сейсмической силой природы устоять не смогла.

Они молча смотрели на это. Димитрий был почти готов к подобному. По тому, что осталось от соседних улиц, можно было понять, чего ждать, да и вчера, когда они выбегали из мастерской, он успел увидеть, как трещина прошла по стене от пола до потолка. Но говорить об этом Катерине тогда было ни к чему. Дом был словно раздавлен в лепешку –

будто на него нечаянно наступил великан.

Какое-то время оба молчали. Смерть Ольги тяжело подействовала на них, и они еще не отошли от этого потрясения. Где-то вдалеке слышался вой сирены «скорой помощи», вызвав у обоих одну и ту же мысль: «Слава богу, наши дети далеко».

Утро только что сменилось днем, становилось жарко. Легкий бриз развеивал огромную гору пыли, в которую превратился их дом.

Другие жители улицы раскапывали руины.

– Бесплезно, – сказал один из соседей. – У меня точно спасты нечего. Ни ножа не осталось, ни вилки.

Люди стояли вокруг. Многие, кажется, тоже думали, что не стоит рисковать подступаться к тому, что было когда-то их домами. Жизнь дороже вещей.

Катерина была взволнована. Она не разделяла общего безнадежного настроения.

– Димитрий, – сказала она, – мы должны войти. Кое-что нужно спасти.

– А это стоит того, чтобы рисковать жизнью? – спросил муж.

– Может быть, – ответила жена.

Еще не дождавшись ответа, Димитрий уже открывал дверь. Она с грохотом рухнула внутрь вместе с дверной коробкой. Катерина охнула и бросилась к дому.

Она услышала голос мужа:

– Не волнуйся. Все в порядке. Я нашел его, любимая.

Через несколько секунд он появился, с трудом перебравшись через порог с небольшим дорожным сундуком в руках.

– Давай, я за одну ручку понесу, – с облегчением сказала Катерина.

Отойдя от дома на несколько ярдов, они поставили сундук на мостовую. Металлический каркас выдержал вес рухнувшего потолка, и, подняв крышку, Катерина увидела, что внутри все цело.

Вопрос, где теперь ночевать, решился быстро. Старые друзья уговорили их занять свободную комнату у них в квартире, и там им пришлось остаться на много недель. В комнате не было ничего, кроме одолженной на время одежды, висевшей на двери, да сундука в углу.

Прежде всего нужно было организовать Ольгины похороны. Ее смерть была страшным ударом для всей семьи, но Димитрий чувствовал утрату особенно остро. Никогда еще он не испытывал такого горя. Тихая Ольга была для него нерушимой скалой: даже в те годы, когда был вдали от дома, он знал, что она его любит и понимает, за что он сражается, и это придавало ему сил.

Во время похорон Дмитрий не видел ничего вокруг, кроме длинного, узкого гроба, опускающегося в темноту. За пеленой слез мир казался сплошным туманом, сквозь который жена терпеливо вела его.

Священник прочитал «Господи, помилуй», и каждый из четверых близких уронил в гроб по цветку, прежде чем на него легла мраморная крышка. Резчики по камню уже сделали свое дело.

Ольга Комнинос,  
любимая мать Дмитрия,  
дорогая подруга Катерины,  
обожаемая бабушка Теодориса и Ольги.  
Мы будем вечно помнить тебя.

На кладбище были сотни склепов, по большей части ухоженных, из такого же светлого мрамора с прожилками. Величина склепа должна была отражать семейный статус, и Комниносы занимали огромный участок, где покоилось уже пять поколений. Под свод вела лестница.

В этот день Катерина заметила кое-что. На могиле Леонидаса Комниноса стояла его фотография в офицерском мундире, увешанном медалями. Это был парадный портрет, и ему полагалось быть серьезным, однако глаза Леонидаса улыбались. Но внимание Катерины привлекло не фото, а букет увядших роз рядом с ним. Это было странно. Рядом, на могиле отца Дмитрия, никаких роз не было.

Через неделю, когда зачитали Ольгино завещание, кое-что разъяснилось.

Внукам досталось щедрое наследство, а Катерине – несколько драгоценностей, которые уже много лет лежали в банке. Ольге-младшей бабушка оставила ожерелье из таких крупных рубинов, что никто из Ольгиных подруг в Америке не верил, что они настоящие. Нежелание Дмитрия брать ни драхмы из отцовских денег было учтено. Предприятия продали, а деньги пошли на строительство корпуса новой больницы – в память о его несостоявшейся мечте стать врачом.

К завещанию прилагалось дополнительное распоряжение: каждую пятницу, по утрам, приносить свежие цветы на могилу Леонидаса Комниноса. Объяснений никаких не было. Дмитрий знал, что мать всегда восхищалась мужеством своего деверя, и сам Дмитрий с детства знал, что он был честным и храбрым человеком – полной противоположностью брата во всех отношениях.

Завещание зачитывал все тот же адвокат, к которому Катерина ходила



после смерти Гургуриса, и миг, когда они узнали друг друга, был единственным забавным моментом в этой церемонии. Его умение выживать и извлекать выгоду из несчастий показалось Катерине почти невероятным.

Первые десять дней после землетрясения супруги были совсем без сил. Они уже ходили по городу, присматривая новое жилье и помещение для магазина, а в тот вечер, когда зачитывали завещание, вернулись домой раньше обычного. Жена сидела на их временной кровати в кримпленовой ночной рубашке, одолженной у подруги. Муж читал газету.

– Димитрий, а многие знали о том, какие чувства были у твоей мамы к твоему дяде? – спросила Катерина.

– Вряд ли, – ответил муж. – Но мне кажется, им все восхищались. Кроме отца, пожалуй.

– А ты его помнишь?

– У меня остались кое-какие смутные воспоминания, я ведь был тогда еще совсем маленьким, – сказал Димитрий. – Помню только, что он был очень высокий и что, когда он был рядом, все всегда смеялись.

Он вдруг вспомнил о пачке писем, которую ему отдали, когда вынесли тело матери из развалин. Он тогда сунул их в сундук. Катерина увидела, что он поднимает крышку.

– Помнишь письма, что мама читала перед землетрясением? Они были от дяди. Я видел имя на конверте. – Он протянул пачку жене.

– Как-то неудобно, – неуверенно протянула та.

– По-моему, теперь уже можно, когда и автор, и адресат умерли, – успокоил ее Димитрий.

С таким чувством, будто подглядывает в замочную скважину, Катерина вытащила первое письмо из пачки, перевязанной лентой, и начала читать. Их там было еще около дюжины, все с разными марками, написаны с 1915 по 1922 год. В них не было и тени чего-то непристойного, но все они хранили отпечаток явной теплоты и близости. Многие кончались словами: «Передай, пожалуйста, поклон моему брату».

Катерина читала около часа, пока наконец не открыла последнее письмо. Оно было из Смирны и датировалось сентябрем 1922 года.

*Дорогая Ольга!*

*В эту минуту мне стыдно за то, что я грек. Многие из моих людей вели себя не лучше, чем турки, и я насмотрелся такого, чего мне уже никогда не стереть из памяти. За все последние месяцы в моей жизни был лишь один осмысленный момент. Только благодаря ему я знаю,*

*что во мне еще осталось что-то человеческое. Я спас ребенка, девочку. Ее чуть было не затоптали, но я взял ее на руки и поднял над толпой. Рука у нее была так сильно обожжена, что кожа слезала клочьями, но я оторвал свой рукав, перевязал рану и посадил ее в лодку. Кажется, это единственное доброе дело, какое мне удалось совершить.*

*При мысли о других моих поступках я чувствую отвращение. Бог свидетель, я раскаялся, но, сколько бы ни благословлял меня священник, память остается со мной. Я часто думаю об этой девочке и о том, жива ли она. Как знать? Но я сделал все, что мог.*

*Пожалуйста, поцелуй за меня маленького Димитрия. Надеюсь, он никогда не увидит того, что видел я. Скажи, что дядя скучает по нему и что, когда я вернусь, отдам ему свои пуговицы. Они все в крови, Ольга, их придется чистить. Ты, как и прежде, всегда со мной в моих мыслях. С самыми теплыми пожеланиями,*

*Леонидас.*

Димитрий уже раздевался и, ничего не замечая, продолжал разговор с женой.

– Жаль, что его уже нет, – сказал он. – Жаль, что ты его никогда не видела.

Катерина перечитала письмо еще раз и подняла глаза на мужа.

– Мне кажется, я видела его, Димитрий, – прошептала она. – Видела.

## Эпилог

Много часов прошло с тех пор, как Митсос вошел в квартиру бабушки с дедушкой.

Катерина взяла внука за руку и ласково ее погладила.

– Каждый день я просыпаюсь и чувствую себя счастливой, потому что приехала в этот город, Митсос. Жизнь могла сложиться совсем иначе – я легко могла погибнуть в Смирне, или на Митилини, или попасть в Афины и умереть там от голода. Но вышло по-другому. Назови это как хочешь, но я скажу так: это судьба привела меня сюда.

– Теперь я понимаю, почему ты настолько привязана к этому городу, – отозвался юноша. – Я правда не знал...

– Если бы дядя Леонидас не спас меня, я бы никогда не попала в Салоники, так ведь? – улыбнулась ему бабушка.

– Единственные по-настоящему несчастливые годы в моей жизни, – сказал Димитрий, – те, когда я был далеко отсюда. Все это время я не мог дожидаться, когда этот кошмар закончится и я вернусь в этот город и женюсь на твоей бабушке.

Митсос сидел молча и слушал внимательно и восхищенно, с какой любовью и страстью оба говорят о своем доме.

– В общем, как видишь, Митсос, вся наша жизнь связана с этим городом. Мы могли бы уехать куда угодно, и все воспоминания остались бы с нами, но они гораздо ярче здесь, где все это происходило.

– Мы могли бы зажигать свечи в память тех, кого любили, хоть в Лондоне, хоть в Бостоне, – прибавил дедушка, – но это было бы уже не то.

Каждый раз, когда Митсос приезжал к бабушке с дедушкой, они водили его на кладбище, и он смотрел, как бабушка убирает семейный склеп. Он знал, что она каждую неделю приходит подметать вокруг могил, следит, чтобы горели масляные лампы, и приносит свежие цветы. На все это смотрела сверху статуя Ольги. Через год после ее смерти бабушка с дедушкой заказали памятник лучшему скульптору в городе, и он придал сидящей фигуре изумительное сходство с покойной – длинные изящные руки и ноги, терпеливое выражение лица.

Митсос сидел, задумавшись, вспоминая те слова, что сказал ему слепой утром. Он вдруг с удивительной ясностью ощутил, что все эти люди,

жившие когда-то в Салониках, действительно оставили здесь частичку себя.

– Есть и еще кое-что, помимо памяти, что мы храним для наших друзей. Они оставили здесь свои сокровища.

В углу гостиной, под белой накидкой с кружевной каймой, стоял деревянный сундук. Катерина осторожно убрала с него вазу с искусственными цветами и фотографии детей и внуков, сняла и сложила накидку. А затем подняла крышку.

– Вот и еще одна причина, почему мы не можем уехать, – сказала она. – Эти вещи нам не принадлежат, и хотя их владельцы, может быть, уже никогда не вернуться, все равно было бы нехорошо куда-то это увозить. Нам их доверили лишь на хранение.

Она вытащила богато украшенное вышивкой красное шелковое одеяло, в которое был зашит древний талит, несколько маленьких подушечек и две книги. Там же была и икона Андрея Первозванного, которую везли сюда с Черного моря. После смерти Евгении Катерина завернула икону в шелковую материю и убрала в сундук, чтобы лучше сохранилась.

– Одеяло мы отдадим в Еврейский музей на улице Святого Минаса, – сказал Димитрий. – Там, кажется, очень обрадовались, когда мы к ним пришли и рассказали, что у нас есть.

– А вот подушки я хочу сохранить, – сказала Катерина. – Вдруг кто-нибудь из той семьи еще вернется. Может быть, даже Элиас приедет когда-нибудь. А вот письмо, которое оставила нам мусульманская семья, и две книги.

– Тут, внизу, еще что-то есть, – сказал Митсос, сунул руку в сундук и достал какой-то рваный клочок сукна, весь в пятнах. – Это как-то не похоже на сокровище... разве что пуговица серебряная?

– Что ж, может быть, и серебряная, – кивнула Катерина. – Но для меня ценность не в этом. Этот оторванный рукав когда-то спас меня, и он напоминает мне о том, кто сделал мне добро, может быть самое большое в жизни.

Почти бессознательно она тронула свою руку. Митсос часто забывал о том, что бабушкина рука вся в шрамах, – она обычно носила кофты с длинным рукавом, чтобы скрыть их, но сейчас, в жаркой комнате, рубцы были немного видны из-под платья.

– А главное, я обещала его не терять и при случае вернуть тому солдату, что меня спас.

Все улыбнулись.

Было примерно половина двенадцатого ночи, но в квартире по-

прежнему стояла жара. Милая бабушка налила Митсосу стакан воды, а он смотрел на нее и представлял маленькой девочкой, какой она была, когда отправилась в долгий путь из Смирны. Теперь его желание узнать, почему они с дедушкой не захотели уезжать из этого города, было полностью удовлетворено. Но остался еще один вопрос. Митсос посмотрел на коллекцию сокровищ на столе, а затем – на дряхлых стариков. Кто позаботится об этих ценностях, когда обоих не станет? Что, если вернуться владельцы?

– Пойдем пройдемся, Митсос, – предложил дедушка.

Больше всего на свете он любил вечером сходить с внуком в какой-нибудь бар на берегу, выпить кружку пива – надеялся, что там их увидят какие-нибудь его друзья и можно будет похвастаться потомком.

Сам юноша тоже любил ходить куда-нибудь в это время. На улицах еще людно. Воздух теплый. Он вспомнил те места, где он вырос, в Хайгейте дома жмутся друг другу, как спички в коробке, вокруг аккуратно подстриженные живые изгороди и на всю округу единственный паб, откуда всех выставляют в одиннадцать часов.

Они нашли столик у самого моря, официант поприветствовал их и принес холодное пиво. Прогулочные суда увозили туристов в ночные круизы, и их белые огни скользили по черной воде. Эта чернота казалась бездонной, а звезды – громадными. Каждые несколько минут какая-нибудь падала.

В этой неподвижной черноте была красота, какой Митсос никогда раньше не видел, и она потрясла его своим величием. Впервые в жизни он начал понимать, что скрывается под этой мостовой и за фасадами этих домов.

Он поднял глаза на дедушку, которого так любил, и с болезненной ясностью осознал, что он не вечно будет рядом.

Что, если Салоники станут для него настоящим домом? Этот город, где люди толпятся на улицах от зари до зари, где каждый камень в мостовой – древний ли, новый ли, отполированный или расколовшийся надвое – дышит историей, где люди приветствуют друг друга с такой теплотой. Он догадывался, что этому городу будут вечно грозить какие-нибудь несчастья, но был уверен и в другом: тут никогда не иссякнут ни музыка, ни истории.

И вдруг понял, что останется здесь. Чтобы слушать и чувствовать.

# Сноски

## 1

Шафер на свадьбе (*греч.*). – Здесь и далее прим. перев.

## 2

Одежда, обувь, чулки (*фр.*).

## 3

*Ладино* – язык сефардских евреев.

## 4

Мать Израиля (*исп.*).

## 5

*Ребетика* – стиль городской авторской песни, популярный в Греции в 1920–1930-е годы.

## 6

Благодарю и всего хорошего (*нем.*).

## 7

«Так говорил Заратустра» *(нем.)*.

## 8

«Григорису Гургурису. С огромной благодарностью, Ганс Шмидт.  
14.06.1943» *(нем.)*.